ИСТОРИЯ РОССИИ В РОМАНАХ

ФАДДЕЙ БУЛГАРИН

ИВАН ИВАНОВИЧ ВЫЖИГИН

Фаддей Булгарин «Иван Иванович Выжигин» //Комсомольская правда, Директ-Медиа, Москва, 2016
ISBN: 978-5-4470-0179-7, 978-5-4475-8338-5
FB2: Starkosta, 20 June 2019, version 1.0
UUID: 7D8F4750-8156-463F-AEDC-27052711270D
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Фаддей Венедиктович Булгарин

Иван Иванович Выжигин

Вниманию читателя предлагается роман Фаддея Булгарина «Иван Иванович Выжигин», имевший в свое время огромную популярность. Это авантюрное повествование о человеке, испытавшем «многое в жизни, быв слугою и господином, подчиненным и начальником, киргизским наездником и русским воином, ленивцем и дельцом, мотом, игроком...».

Жизнь бросала героя из стороны в сторону, но все-таки он обрел долгожданное семейное счастье и благополучие.

Содержание

Предисловие Письмо к его сиятельству Арсению Андреевичу Закревскому 0008
Глава I Сиротка, или Картина человечества, во вкусе фламандской школы 0020
Глава II Г-н. Гологордовский и его семейство 0033
Глава III Любовь 0049
Глава IV Сватовство 0058
Глава V Бал и похищение 0068
Глава VI Брак, разлука с новобрачными 0083
Глава VII Богатый жид. Источники его богатства 0092
Глава VIII Встреча чиновника, возвращающегося с места, с чиновником, едущим на место Я оставляю жида 0114
Глава IX Нечаянная встреча. Превращение Тетушка. Мое воспитание 0130
Глава X Экзамен в пансионе. Искуситель. Новый приятель тетушкин Что-то похожее на первую любовь. Отъезд из москвы 0155
Глава XI Я узнаю короче Вороватина. Подслушанный разговор Предчувствия. Капитан-исправник 0182
Глава XII Вльноотпущенный. Лунатик. Обманутая любовь 0212

Глава XIII Плен у киргизцев . Киргизский философ Арсалан-султан Я сделался наездником 0229
Глава XIV Рассказ Арсалан-султана о пребывании его в России 0246
Глава XV Следствия жестокой зимы в степи. Набег Радостная встреча с первым моим благодетелем 0269
Глава XVI Рассказ Миловидина. Нравственный автомат и его домоправительница Семья старой девы. Панорама московского общества. Дружеский кадриль Русская чужеземка. Общество на теплых водах. Взгляд на Венецию . . . 0286
Глава XVII Решение старейшин киргизских относительно моего вознаграждения Продолжение рассказа Миловидина Дуэль. Бегство. Жид-ренегат. Прибытие в Константинополь Что такое пера? Измена. Рабство. Освобождение 0310
Глава XVIII Выезд из степи. Опять капитан-исправник! Мытари. Пир приказных 0342
Глава XIX Деловая беседа у русского купца. Беспокойный человек. Кончина злодея 0376
Глава XX Помещик, Каких дай Бог Более на Руси. Каков поп, таков и приход 0400
Глава XXI Удалой помещик Сила Минич Глаздурин 0428

Глава XXII Рассказ отставного солдата. Прибытие в москву. История тетушки Я нахожу свою мать. Обольститель. Убийцы 0449
Глава XXIII Окончание истории Аделаиды Петровны. Замужство. Перевоспитание Вольная жизнь. Пагубные следствия легкомыслия. Я вступаю в свет. Визиты 0474
Глава XXIV Картина большого света. Встреча с милым врагом О, слабость человеческая! . . .0506
Глава XXV История Груни. Дружба с умною актрисою, или Самый легкий, самый верный и самый приятный способ к разорению 0530
Глава XXVI Избави нас от лукавого! Урок дневного разбоя Советы отставного солдата. Я опять с деньгами 0554
Глава XXVII Ложные игроки. Письмо от Миловидина. Он нашел жену свою. Раскаянье Петронеллы Эксдивизия в польских губерниях. или Шах и мат заимодавцам Кончина г-на Гологордовского. Г-н. Почтивский, другой зять его 0578
Глава XXVIII Молодой барич. Глупашкин. Любитель драматического искусства Расстройство в разбойничьем вертепе. Беда. Бегство Груни. Честность в волчьей шкуре, или Не должно встречать по платью. Эгоист 0601
Глава XXIX Намерение жениться. Подьяческая арифметика. Знакомство с богатым откупщиком

Пирушка в доме купца Мошнина. Его семейство. Домашний театр 0628
Глава XXX Неудача в сватовстве. Письма из киргизской степи и из Парижа. Отъезд в армию Война. Отличие. Возвращение в Москву 0654
Глава XXXI Отставка. Отъезд в Петербург. Разница между петербургским и московским обществом Злодейский умысел. Несчастная Олинька. Я заключен в тюрьму Можно быть счастливым и в бедствии 0690
Глава XXXII Избавитель. Не место, а преступление бесчестит человека. Праведное наказание злодея. Тайна открывается. Духовное завещание. Любовь и дружба. Процесс. Ходатаи. Секретари. Посещение судей. Везде есть добрые люди 0726
Глава XXXIII Ростовщики. Окончание тяжбы. Дополнение к рассказу Петра Петровича. Участь литераторов. Беда от ханжей. Выслужники. Брак. Милость вельможи. Ход дела. Набег родственников. Отставка. Хороший конец всему делу венец 0763
Заключение 0800
Коментарии 0804

Фаддей Венедиктович Булгарин
Иван Иванович Выжигин

Предисловие
Письмо к его сиятельству Арсению Андреевичу Закревскому

Прошло двадцать его лет с тех пор (писано в 1829 году), как я первый раз Вас увидел на поле сражения, в Финляндии, когда незабвенный граф Николай Михайлович Каменский вел нас к победам и вместе с нами преодолевал труды неимоверные, противопоставляемые климатом, местоположением и храбрым неприятелем. Двадцать лет — много времени: пятая часть целого столетия! С тех пор многое переменилось в свете. Смотря философским оком на мир, я утешаюсь в моем ничтожестве тем только, что, при переворотах счастья, некоторые достойные люди, которых знал я прежде, достигли высоких степеней заслугами и постоянным стремлением к общему благу. Радость моя — бескорыстная. Я ничего не ищу, ничего не желаю, кроме уважения почтенных людей и благосклонности публики, которые стараюсь снискать моими

трудами и тихою моею жизнию. Избрав Ваше Сиятельство из числа особ, коим посвящено сие сочинение, для объяснения пред ними намерений моих при издании его в свет, я пишу не к Министру, которого уважаю, но к человеку, которого люблю душевно. Вы не переменились сердцем в течение двадцати лет и в Министерском Кабинете Вы так же добродушны с людьми, ищущими правды, каковы были на поле брани с военными товарищами. Надеюсь, что Вы благосклонно примете сие письмо старого солдата, который променял саблю на перо, чтоб подвизаться за правду — по крайнему своему разумению!

Любить отечество, значит — желать ему блага. Желать блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не могут иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира споспешествует усовершенствованию нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с ка-

кою целию сочинен роман: *«Иван Выжигин»*. В нем читатели увидят, что все дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны Вере и просвещению.

Цель благонамеренной сатиры понимали все великие Законодатели России и часто сами прибегали к ее помощи для истребления пороков и предрассудков. Великий Петр повелел переводить с иностранных языков на русский многие полезные книги. Переводчик *Пуффендорфовых сочинений* выпустил все колкое на счет тогдашних нравов и обычаев Русского народа и заменил сии места ласкательствами. Мудрый преобразователь России прогневался за это искажение подлинника, велел перевести книгу в настоящем смысле и посвятить Своему имени. «Не в поношение русским приказал Я напечатать сатиру на наши нравы, — сказал Государь, — но к исправлению. Пусть знают, чем мы были, чем мы теперь и чем быть должны. Если все, что в книге написано, неправда, то ложь нас не обесславит; а если сочинитель говорит правду, постараемся сделаться такими, чтоб слова его

показались ложью». (См. Штелина, Голикова: Деяния *Петра* Великаго, часть IV, и рукописные анекдоты о *Петре* Великом, Нартова.)

Петр Великий, при неусыпном попечении о гражданском благоустройстве России и о защите ее от завистливых соседей, не мог водворить литературы, которая требует для созрения много времени, и бросил только первыя семена. Они принесли питательные плоды не прежде царствования императрицы *Екатерины* Великой. В промежутки между сими двумя славными царствованиями начала расцветать Русская Словесность, и первым ея цветом были: *«Сатиры Князя Кантемира[1]»*, которого по справедливости должно почитать первым из светских Российских писателей.

Великая *Екатерина* дала жизнь и опору возрождавшейся Словесности и употребляла ее на очищение нравов. Рука, начертавшая Наказ и упрочившая благоденствие России мудрыми законами и великими политическими планами, в то же время умела владеть орудием благонамеренной сатиры. По повелению и под особым покровительством мудрой

монархини издавался, в 1783 году, журнал, под заглавием: *«Собеседник любителей Российского Слова»*, в котором помещаемы были весьма резкия статьи о нравах. В этом журнале беспощадно разили пороки, предрассудки и причуды того времени, особенно между знатными. Императрица Сама благоволила помещать статьи Своего сочинения в этом издании, и как по малой начитанности в тогдашнее время и по незнанию литературных приличий многие из русских читателей не понимали истинной цели сих сатирических статей, то мудрая монархиня повелела напечатать в журнале объяснение, которое я привожу, как любопытный памятник образа мыслей *Екатерины* Великой, насчет сатирических сочинений вообще, а также в улику тем, которые и поныне не понимают, какая может быть польза от сатиры нравственной.

«Когда я писал, я ни о ком не думал. Если не писать о слабостях, человеку сродных, то других и описывать нечего. Когда слабости и пороки не будут порицаемы, тогда и добродетель похвалена быть не может: чрез познание первых, последняя познается. Если же

кто себя в книжке моей узнает в порочном или непохвальном изображении, он сам подвергнул себя или подобрел под оное, и здравый рассудок повелевает ему исправиться, а не сердиться. Требуется ли от кого, чтобы в украшенных убранством комнатах зеркала были разбиты для того, чтоб дурные лицом себя в них не узрели? Не сердись, но исправься, читатель; тогда, будучи в мире со мною, я тебя забавлять стану, а ты исправлением своих слабостей заслужишь общее с моим почтение»[2].

Вот что я буду отвечать тем, которые захотят перетолковать цель моего романа!

Знаю, что искренность моего *Выжигина* не понравится людям, которые всякую правду, громко сказанную, почитают своевольством, всякое обличение злоупотребления приписывают дурному намерению; которые просвещение, единственное средство к благоденствию народов, почитают злом, и, подобно татям, желают водворения общего мрака, усыпления умов, глубокого молчания, чтоб поступки их были сокрыты. Им-то можно приписать то, что сказал бессмертный творец комедии

«Горе от ума»:

> «…Уж коли зло пресечь,
> Забрать все книги бы — да сжечь!»

Но, нет! Наше мудрое Правительство печется о просвещении, о водворении нравственности, и, вопреки толкам закоренелых староверов, поборников невежества, дает уму простор. Благонамеренные люди всех сословий чувствуют в полной мере великодушные намерения мудрых наших государей и готовы всеми силами споспешествовать общему благу. Цензурный Устав, высочайше конфирмованный Апреля 22-го 1828 года, есть самый прочный памятник любви к просвещению и к истине обожаемаго нами, правосуднаго монарха, — памятник, достойный нашего века и могущественной России! Нам остается только молить Всевышнего, чтоб исполнители великодушных намерений нашего государя постигали Его великие предначертания: тогда счастие наше будет совершенным, и для словесности российской вновь наступит золотое время Державиных, Фонвизиных…

Наша знать не читает по-русски, чужда русской словесности; наши дамы даже редко говорят отечественным языком, и многие думают, что это важная преграда к возвышению словесности. Нет, это не преграда, но препятствие, которое, однако ж, не в состоянии удержать ее стремления. *«Недоросль»* и *«Бригадир»* Фонвизина, *«Ябеда»* Капниста, *«Рекрутский набор, Неслыханное диво»* представлены были на театре, по воле мудрых венценосцев России. *«Вельможа»* Державина[3] напечатан с соизволения *Екатерины* Великой. Итак, могут ли быть преграды там, где самодержцы действуют в духе своего времени, ко благу, то есть к просвещению своих подданных? Благодаря Бога, у нас есть еще истинные русские вельможи, заслугами приобретшие право приближаться к священным ступеням трона: они очистят туда же путь истине. Такие мысли утешают сердце и окрыляют ум.

Долгом поставляю сказать несколько слов о моем романе, в отношении литературном. Школяры и педанты, желая непременно держать умы в тисках вымышленных ими правил для каждого рода словесности, сколотили

особые тесные рамочки и требуют, чтоб каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы. Но школяры, скованные в уме своем цепью предрассудков, непременно требуют, чтоб во все времена, у всех народов поэмы писаны были как во времена Гомера и Виргилия, оды по правилам Пиндара и Горация, трагедии по-расиновски, комедии мольеровским покроем, нравственные романы в виде задач. По правилам надобно: чтоб герой романа действовал как Баярд, говорил сентенциями, как оратор, и представлял собою образец человеческого совершенства — и скуки. Когда сочинение мое было почти готово, я получил книжку прекрасного французского журнала, Revue Britannique (Ќ 29, 1887) и, к удовольствию моему, нашел статью, под заглавием: «*От чего герои романов так приторны?*». В ответ на этот вопрос автор гово-

рит: «От совершенства, в котором их представляют. Это ангелы, а не люди». Далее говорит автор: «Нам представляют героев романа какими-то театральными божествами, и от того они также холодны. Многие думают, что представить их слабыми, нерешительными, подвластными обстоятельствам значит унизить их. Но мы люди, мы имеем слабости, и потому самые недостатки человечества занимают и трогают нас более». Таков был и есть мой образ мыслей на счет героев романа. Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам — одним словом: человек, каких мы видим в свете много и часто. Таким хотел я изобразить его. Происшествия его жизни такого рода, что могли бы случиться со всяким, без прибавлений вымысла. Понравится ли читателям моим эта простота в происшествиях и рассказе — не знаю. Пусть простят недостатки ради благой цели и потому, что это первый оригинальный русский роман в этом роде. Смело утверждаю, что я никому не подражал, ни с кого не списывал, а писал то, что рождалось в собственной моей

голове. Пусть литературные мои противники бранят *Выжигина*: они будут иметь сугубое удовольствие — бранить и не получать ответа.

Я даже не касался нашей словесности орудием моей сатиры, потому что она требует еще— помощи, а не сопротивления; она еще не состарилась и не обременена болезнями, вредными нравственности. Литераторов же у нас так не много, что они в обществе не составляют особого сословия, как в других странах. Вредного у нас не пишут, а кривые толки о словесности и оскорбление достойных писателей не имеют никакого весу в публике и служат только к стыду самих пристрастных и незрелых критиков. Я оставил их в покое: лежачего не бьют!

Что же касается до нравственных портретов в моем романе, то их можно было бы умножить и представить многие вещи гораздо сильнее. Но я почел за благо следовать правилу нашего неподражаемого баснописца И. А. Крылова:

> Баснь эту можно бы и боле пояснить:

Да чтоб гусей не раздразнить.

Вот побуждения и правила, которыми я руководствовался при сочинении *Выжигина*. Одобрение вашего сиятельства будет мне ручательством в добром мнении людей благонамеренных и самым сладостным утешением в кривом толке других.

Фаддей Булгарин
С.-Петербург
Февраля 6 дня, 1829 года

Глава I
Сиротка, или Картина человечества, во вкусе фламандской школы

До десятилетнего возраста я рос в доме белорусского помещика Гологордовского, подобно доморощенному волчонку, и был известен под именем сиротки. Никто не заботился обо мне, а я еще менее заботился о других. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой, заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание.

Для меня не было назначено угла в доме для жительства, не отпускалось ни пищи, ни одежды и не было определено никакого постоянного занятия. Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе. Зимою я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе. Летом я ходил в одной длинной рубахе, подпоясавшись

веревкою; зимою прикрывал наготу свою чем попало: старою женскою кофтой или полуразрушившимся армяком; этим убранством снабжали меня сострадательные люди, не зная, куда девать старые тряпки. Я вовсе не носил обуви и так закалил мои ноги, что ни мягкая трава, ни грязь, ни лед не производили в них никакого ощущения. Головы я также никогда не прикрывал: дождь смывал с нее пыль, снег очищал золу. Питался я остатками от трапезы дворовых людей, в разных отделениях дома, и лакомился яйцами, которые подбирал в окрестностях курятника и под хлебным анбаром; остатками в молочных горшках, которые я вылизывал с необыкновенным искусством, и овощами, краденными по ночам в огороде. У меня не было никакого непосредственного начальника, а всякий помыкал мною по произволу. Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или на берегу пруда стеречь утят и цыплят от собак и коршунов. Зимою меня употребляли вместо машины для оборачивания вертела на кухне, и это было для меня самое приятное занятие. Всякий раз, что повар или поваренки отворачива-

лись от очага, я проворно дотрагивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигованья и похищал котлеты из кастрюль. Главная моя обязанность состояла в том, чтоб быть на посылках у всех лакеев, служанок и даже мальчиков. Меня посылали в корчму за водкою, ставили на часы в разных местах, неизвестно для какой причины приказывая свистеть или бить в ладоши при появлении господина, приказчика, а иногда даже других лакеев и служанок. По первому слову: «Сиротка! сбегай туда-то; кликни того-то», — я пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью, потому что малейшее упущение влекло за собою неминуемые побои. Когда меня ставили на часы и не велели оглядываться (что особенно случалось в саду), я стоял как вкопанный в землю, не смел даже шевелить глазами и тогда только двигался, когда меня сталкивали с места. Иногда, хотя очень редко, меня награждали за мою усердную службу куском черного хлеба, старой ветчины или сыру; и я, как ни бывал голоден,

всегда, однако ж, делился этим с моею любимою собакой, *кудлашкою*.

Видя, как других детей ласкают и целуют, я горько плакал, не знаю, по какому-то чувству зависти и досады; ласки и лизанье *кудлашки* облегчали грусть мою и делали сноснее мое одиночество. Смотря, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей *кудлашке* и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Мне хотелось любить людей, особенно женщин; но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. Меня все били и толкали: с досады, для забавы и от скуки. Когда я попадался навстречу лакею или служанке, получившим гонку или побои от господ, они вымещали на мне свою досаду, сгоняя с дороги пощечиною или щелчком, с приговоркою: «Пошел прочь, *сиротка*!» Если я из любопытства хотел иногда посмотреть, как запрягают цугом лошадей, — кучера, чтобы возбудить смех в других зрителях, хлопали бичом над моею головою или стегали по ногам и заставляли меня с воплем прыгать под ударами. К псарям я

не смел приближаться на расстояние длины арапника. Даже пастухи издевались надо мною: они, для шутки, вгоняли меня плетью в стадо и утешались, смотря, как я в страхе увертывался между коровами и овцами. Два господские сынка забавлялись, стреляя в меня из лука и травя малыми комнатными собачками, от которых, однако ж, защищала меня всегда моя *кудлашка*.

Самого барина я редко видал: встретив меня однажды на дворе, он запретил мне приближаться даже к окнам господского дома, и так страшно стукнул ногою, примолвив: «Прочь, зверенок!», что я не смел более показываться ему на глаза и прятался в собачью конурку, лишь только, бывало, завижу его издали. Барыню и двух барышень я видал не иначе как чрез забор в саду или в коляске и знал их только по нарядам. Приказчика и его жены я боялся, как смерти, потому что они несколько раз секли меня, в пример милому их сынку, который не хотел учиться азбуке, но любил разорять птичьи гнезда и швырять камнями в господских утят и цыплят: истребление домашних птиц этим негодяем припи-

сывалось коршунам и моему несмотрению. В наказание за проказы этого шалуна, его заставляли смотреть, как меня секут, и слушать нравоучение, которое заключалось в сих словах: «Смотри, Игнашка, если ты будешь долее шалить и не станешь учиться, то и тебя будут так же больно сечь, как этого *сиротку*. Слышишь ли, как он визжит? Вот и ты запоешь этим же голосом!» В награждение за драматическое представление этого опыта нравоучения, жена приказчика давала мне кусок хлеба с сыром или крынку молока, которое я глотал пополам со слезами, не постигая ни причины наказания, ни милости.

Вот все, что я помню из первого моего детства, которое врезалось в моей памяти одними горестями и страданиями. Наконец судьбе угодно было облегчить тяжкую мою долю и, по крайней мере, включить меня в число словесных тварей. Эта перемена случилась со мною таким образом:

Одна из служанок, Маша, веселая и миловидная девушка, которая ставила меня на часы в саду чаще, нежели другие горничные, однажды встретив меня на дворе в сумерки, в

осеннюю пору, подозвала к себе, погладила по головке и сказала:

— Возьми эту бумажку, *сиротка*; сожми крепко в руке и ступай в деревню. Там, в доме старосты, спроси, где живет офицер, отдай ему бумажку и воротись назад. Только никому не говори, что ты послан от меня, и если б кто хотел у тебя отнять бумажку, съешь ее, а не отдавай. Понял ли ты, *сиротка*?

— Понял.

— Ну, перескажи ж мне все, что я тебе сказала.

Я пересказал ей слово в слово, и она так была довольна этим, что чуть меня не поцеловала, и удержалась потому только, что я был слишком замаран.

— А знаешь ли ты дом старосты?

— Как не знать: третий от корчмы.

— Хорошо. А знаешь ли, что такое офицер?

— Ну, тот барин, что красные заплаты на кафтане, что ездит верхом и что ходит вечером…

— Довольно; вижу, что ты умен и расторопен; когда хорошо справишься, получишь много хлеба, мяса и всего: слышишь ли?

— Слышу, — отвечал я. С сим словом свистнул я на *кудлашку* и побежал в голоп за ворота.

По большой дороге до деревни было три версты, а по известному одному мне пути, через плетни и огороды, не было и половины этого. Прибежав в дом старосты, я встретил в сенях офицера, которого знал в лицо, поклонился ему и отдал записку. Он осмотрел меня с головы до ног, улыбнулся и велел следовать за собою в избу. Там, посмотрев на бумажку, он казался очень довольным ею и в награждение за добрую, по-видимому, весть дал мне кусок сладкого пирога. Это было в первый раз в жизни, что я отведал этой лакомой пищи; я не мог удержать моего восторга, почувствовав во рту неизвестное мне дотоле, приятное ощущение; в глазах офицера начал я пожирать пирог, изъявляя мою радость громким смехом и прыжками. В это время вошел другой офицер, и они оба весьма забавлялись дикою моею простотой, при отведывании сахару, вина и разных сластей.

— Кто ты таков? — спросил меня тот офицер, к которому я был послан.

— *Сиротка*, — отвечал я.

— Кто твои родители?

— Не знаю.

— Как тебя зовут?

— *Сиротка*.

— Бедное твореньице! — сказал добрый офицер, погладив меня по лицу. — Я позабочусь о тебе. Не правда ли, что этот мальчик красавец? — примолвил офицер, обращаясь к своему товарищу.

— Правда, — отвечал другой. — Жаль только, что его держат как поросенка.

Ласки этих добрых офицеров до такой степени растрогали меня, что я, вспомнив о других детях, которых в моих глазах ежедневно ласкали отцы и матери, принялся горько плакать и бросился обнимать ноги людей, которые, в первый раз в жизни моей, обошлись со мною по-человечески. До сих пор рука человека поднималась на меня не иначе, как для побоев и толчков, и потому я живо ощущал ласки, которым сперва завидовал издали, никогда не испытав их на себе. Мои слезы и благодарность произвели, как теперь постигаю, сильное впечатление в офицерах. Они удвои-

ли свое нежное обхождение со мною и дали разных сластей на дорогу.

— Теперь ступай домой, *сиротка*, — сказал мне офицер, — и скажи тому, кто послал тебя: хорошо; но только так, чтоб тебя другие не слышали. Понимаешь ли?

— Понимаю: я дерну Машу за полу, отзову ее на сторону и скажу, что добрый барин сказал: *хорошо*!

— Прекрасно, бесподобно! Этот мальчик расторопен не по летам, — сказал офицер, — я из него сделаю человека. Прощай, *сиротка*!

Вообще все секретные поручения, близкие к сердцу поручающих, бывают источником счастья выполнителей, когда исполняются расторопно. То же случилось и со мною. Пришедши в господский двор, я тихонько пробрался в кухню и, заметив, что Маша с беспокойством на меня поглядывала и озиралась на все стороны, я не подал вида, что хочу говорить с нею, и вышел из кухни. Маша последовала за мною, и, когда я отдал ей отчет в моем посольстве, она тоже погладила меня, похвалила за расторопность, велела никому не сказывать о происшедшем и обещалась на

другой день наградить меня. Я провел приятнейшую ночь в жизни, под навесом, на соломе, с моею *кудлашкою*, которая согревала меня своею теплотою; мне всю ночь снились офицеры, с их пирогами и сахаром!

Утром, бродя, по обыкновению, возле кухни, чтоб поживиться чем-нибудь, я увидел Машу, которая подозвала меня к себе и велела за собою следовать к приказчику. Думая, что меня снова станут сечь розгами, для примера негодному его сынку, я горько заплакал и собирался бежать в деревню к офицерам. Но Маша уверила меня, что со мною не сделают ничего дурного, и я последовал за нею, дрожа, однако ж, от страха. Меня умыли, причесали, или, лучше сказать, выскребли, надели чистое белье, прикрыли каким-то кафтанишком и повели в господские комнаты. Я был в таком точно положении, как овца в руках у пастуха, которая трепещет от боязни, не зная, стричь ли ее станут или резать. Меня поставили в сенях и велели дожидаться. Я крайне удивлялся, что лакеи и мальчики, проходя через сени, не били меня и не насмехались надо мною, по обыкновению. Это при-

дало мне смелости; но когда дверь из комнаты вдруг отворилась, и я увидел господина, госпожу, барышень и господских сыновей, которые все шли прямо ко мне, бодрость меня оставила, и воспоминание о запрещении господина приближаться к окнам дома отозвалось в моей памяти. Мороз пробежал по всем моим жилам; я затрепетал, вскрикнул от ужаса и хотел было опрометью бежать из сеней; но меня остановили. По счастью, я приметил в числе зрителей офицера; бросился ему в ноги, охватил их ручонками и жалостно возопил:

— Не давай меня сечь, добрый барин; я, право, ничем не виноват!

— Бедный сиротка! — сказал офицер. — Как он загнан и напуган! Встань, дружок, — примолвил он. — Тебя не станут сечь, а будут кормить пирогами.

Слово «пироги» произвело во мне магическое действие. Я встал, обтер рукавом слезы и, осмотревшись кругом, приметил, что барин морщился и поглаживал усы, барышни держали платки возле глаз, барыня отворотилась от меня, а господские сынки из-за ма-

меньки высовывали мне языки и делали гримасы.

— Господин *Канчуковский*! — сказал барин, обратившись к приказчику. — Этого мальчика я беру в комнаты и определяю, по просьбе старшей моей дочери, в *английские жокеи*, на ее половину. Пошлите за жидом, портным, в местечко, и велите его одеть по рисунку, который вам сообщит моя дочь.

— Слушаю-с, — сказал приказчик с низким поклоном.

— Мальчик мне нравится, — продолжал важно господин *Гологордовский*. — Удивительно, что я прежде не заметил его в доме.

Женщины начали меня ласкать и гладить.

— Как его зовут? — спросил барин у приказчика; но он, подобно мне, не мог отвечать на этот вопрос. Послали спрашивать у целой дворни, и по справкам оказалось, что меня доставили во двор под именем Ивана. С этих пор меня перестали называть *сироткою*, и я сделался известен в доме под именем *Ваньки Англичанина*, от одежды жокея. Не я первый, не я последний в свете заимствовал названье и достоинство от платья!

Глава II
Г-н. Гологордовский и его семейство

Когда Белоруссия принадлежала Польше[4], г. Гологордовский изъявлял большую привязанность к России и даже доказывал, что он происходит от древней русской фамилии, поселившейся в сем краю во время Мстислава Удалого. По присоединении сей страны к России, г. Гологордовский вдруг сделался приверженцем древнего польского правления и начал выводить род свой от камергера польского короля Попеля, съеденного мышами на озере Гопле, разумеется, по писаниям. Г. Гологордовский весьма сожалел о тех блаженных временах, когда сильный барин мог безнаказанно угнетать бедных шляхтичей и, называя их братьями своими, равными, бить батогами на подостланном ковре, в знак отличия от мужиков; сажать их в домашнюю тюрьму и отнимать именье по выдуманным притязаниям. Он особенно жалел о перемене обычаев на сеймиках, то есть на выборах дворянских.

В старину богатый помещик привозил с собою, на нескольких телегах, бедных, но буйных и вооруженных шляхтичей, заставлял их выбирать себя и своих приятелей в разные звания, бить и рубить своих противников. Это называлось *золотою вольностью*.

Потеряв столь важные преимущества извне, г. Гологордовский ограничился внутренним управлением своего имения, на старый лад. Кроме многолюдной дворни из крепостных его людей у него находилось в услужении множество шляхтичей, которые думали облагородить свое низкое звание слуг почетными титулами. Двор г. Гологордовского составлен был точно так, как некогда у древних феодальных баронов и у старинных польских панов. Главные служители двора были: поверенный, или пленипотент по тяжебным делам, которых по разным судам всегда было налицо две или три дюжины; комиссар, или главноуправляющий над всем имением; эконом, или приказчик; маршалек, заведывавший столом и комнатными служителями; конюший, управлявший конюхами и конюшнею; кухмистер, разумеется, начальствовав-

ший над кастрюлями, поварами и поваренками; охмистрыня, ключница или кастелянша, управлявшая служанками, бельем и кладовою, которая в польских домах называется *аптечкою* и вмещает в себе все сладкое: варенье, конфеты, сахар, кофе и многочисленный разряд водок и наливок. Кроме этих почетных служителей в доме жил, на всем готовом, капельмейстер, обучавший барышень и молодых господ музыке, и заведывавший оркестром, состоявшим из двенадцати человек, которые зимою исправляли лакейскую должность, а летом гребли сено и работали в саду. Капеллян, или домашний священник, монах Иезуитского ордена, имел у себя в ведении трех учителей и надзирал над воспитанием детей г-на Го-логордовского; сверх того, при них были француз, гувернер, и мадам, француженка, при барышнях. Садовник, немец, в то же время был советником по части земледелия. При самом барине был вольный камердинер, шляхтич, любимец и поверенный его в тайных делах, а при госпоже, для такого же употребления, находилась служанка, также из шляхетского рода, которая хотя ис-

правляла всю службу горничной девушки, но по своему происхождению и заслугам пользовалась уважением в доме и называлась *панною*, то есть мамзелью. Барышни имели также по одной такой *панне*, из шляхтянок, которые заведывали их гардеробом и крепостными служанками, из коих одна при каждой даме носила звание *гардеробной*. Псовая охота составляла особое отделение и отчасти состояла в ведении конюшего, а отчасти и самого барина, большого охотника. В числе охотников также было несколько шляхтичей, называвшихся почетным именем *стрельцов*, то есть егерей. Главные из этих почетных служителей, как-то: поверенный, или пленипотент, комиссар, маршалек, конюший, эконом, капельмейстер и гувернер, жили в доме со своими женами и детьми; сверх жалованья получали они на стол съестные припасы, или ординарию, имели господскую услугу и держали своих собственных лошадей на господском корме. Все прочие вольные служители получали также ординарию, а крепостные люди отчасти живились с господского стола и, кроме того, имели свой особенный общий

стол. Но как вольные слуги пропивали часть своей ординарии, а крепостные никогда не наедались досыта, то всякий рвал и крал, что мог и где случалось.

Сверх всей этой феодальной прислуги в доме жило, для компании и забав хозяев, несколько дворян и дворянок, забавников, приятелей, дальних родственников и родственниц, которые назывались резидентами и резидентками, — звание, соответствующее нашим компаньонам, компаньонкам и пожи-вальницам. Они не получали жалованья, но пользовались столом, кормили своих собственных слуг, а некоторые из них имели право держать и лошадей. В числе этих резидентов и резиденток было несколько холостых кредиторов г-на Гологордовского, несколько вдов старых служителей, которым он лет за двадцать службы не заплатил жалованья, и несколько сирот с капиталами, находившимися в распоряжении хозяина. Одним словом, в доме г-на Гологордовского было почти столько же ртов и желудков, сколько в целом имении рабочих рук; а от того рабочие руки весьма были истощены и весьма слабо

двигались для наполнения желудков множества празднолюбцев. Правда, что сам г. Гологордовский, его семейство и званые гости ели и пили хорошо, но за его огромным столом был так называемый *серый конец*, куда никогда не доходили лакомые блюда и вкусные вина и где в полной мере чувствовали неудобство от несоразмерности расходов с приходами.

Г. Гологордовский, в знак польского своего происхождения, носил длинные усы, которые он часто поглаживал, особенно когда разговаривал о важных предметах, то есть о дворянских выборах, процессах и ссорах со своими соседями. Всех их он почитал гораздо ниже себя, невзирая на то что многие из них были богаче его и полезнее для отечества своими заслугами и поступками. Гордость свою г. Гологордовский основывал на древности своего рода, которую он доказывал не историческими доводами о знаменитых подвигах, но судебными протоколами, в которых записаны были, в течение четырехсот лет, жалобы на разбои его предков и решения, осуждающие их на виселицу. Двухсотлетние и столетние

фамилии он называл *новичками* и не признавал достойными родниться с ним и обходиться на дружеской ноге. Особенное презрение и ненависть оказывал он к тем, которые сами составили себе имение честным образом, а не получили от предков. Он принимал у себя в доме всех без разбора, но угощал торжественно только *нужных* ему людей, чиновников, капиталистов и заимодавцев, а был благосклонен особенно к тем дворянам, которые, имея в нем *нужду*, соглашались оказывать ему явное предпочтение, слушать без возражения его рассказы и брань против его врагов. Утро, когда нельзя было охотиться, г. Гологордовский проводил за процессными бумагами: их составлял поверенный, а он только, для забавы, прибавлял в бумагах ябеднические крючки, личности и выдуманные притязания. После того он обходил весь двор, чтобы насладиться поклонами многочисленных своих слуг. Позабавившись, за обедом, различными (не весьма тонкими) шутками насчет собеседников и собеседниц, он ложился спать, чтобы дать испариться винным парам, сгустившимся в голове от завтрака и обеда.

Время до вечера посвящаемо было различным забавам, изобретаемым дамами; в этих увеселениях г. Гологордовский участвовал только как зритель. Вечером являлся Иосель, жид, арендатор мельниц и корчем во всем имении. Этот Иосель был всеобщим стряпчим целого дома, тайным поверенным господ и слуг, олицетворенною газетою или источником всех политических сношений, соблазнительных анекдотов, в окружности двадцати миль, и пересказчиком всего доброго и худого. Жид имел два могущественные талисмана для заведывания сердцами: деньги и водку. Он был нужен всем, начиная от господина до последнего пастуха в деревне; все были ему должны, и все имели более охоты занимать, нежели платить. С этим жидом г. Гологордовский проводил большую часть вечеров за чашею пуншу, почерпая от жида различные известия о столице и о губернском городе, где он имел своих корреспондентов. Он вместе с жидом составлял проекты на продажу хлеба, вина, леса, на занятие денег, на неуплату старых долгов. С жидом он совещался о начатии новых процессов, о продолже-

нии уже начатых и о бесконечном течении давно продолжающихся. Жид предлагал различные меры к умножению доходов, без всяких предварительных издержек; например, он подряжался перевозить тяжести на крестьянских лошадях, копать каналы в чужом имении, рубить леса, жечь уголья поселянами г-на Гологордовского и т. п. Одним словом, жид-арендатор почитался после господина первым лицом в имении и для самого г-на Гологордовского был необходимее, чем голова на плечах, если б только рот можно было переместить на другую часть тела. Невзирая на такую тесную связь, жид, зная характер г-на Гологордовского, изгибался перед ним, льстил его гордости, присягою утверждая, что он одного только г-на Гологордовского почитает истинным барином и вельможею в губернии. Таким образом, пользуясь его доверенностью, жид, как истинный вампир, сосал кровь усыпленного человечества в имении Гологордовского, богател и, подобно болоту, принимая в себя всю живительную влагу, иссушал окружные источники богатства и порождал повсюду нищету и бесплодие.

Госпожа Гологордовская почитала себя гораздо выше своего мужа по происхождению. Говорила, что она никогда бы не вышла за него замуж, если б не была принуждена к тому каким-то особенным обстоятельством, в котором русский гусарский полковник играл важную роль. Впрочем, она жила со своим мужем весьма миролюбно, и он старался во всем угождать ей. Она сама избирала свое общество, вымышляла забавы и увеселения, и муж только из чести был приглашаем разделять их со своим семейством. Г-жа Гологордовская никогда ни о чем не просила своего мужа: она забирала в лавках все, что ей было надобно или что нравилось, хотя вовсе не было надобно, и отсылала купцов к мужу, который должен был платить долги женины, несмотря на то что весьма неохотно уплачивать свои собственные. Впрочем, г-жа Гологордовская была очень добрая барыня, хотя и вовсе не занималась хозяйством; с слугами и служанками она обходилась вежливо, не заботясь, впрочем, об их нуждах и не выслушивая никогда до конца их справедливых требований. Она верила, от всего сердца, что ее лас-

ковое слово и улыбка дороже всякому, нежели хорошая пища, одежда и жалованье. Она очень любила читать нежные романы, еще более любила рассуждать с мужчинами о любви, а всего более любила наряжаться. Несколько крепостных швей, обученных в Варшаве и в Петербурге, беспрестанно занимались шитьем и выкройками; почти всякую неделю приходили ящики и пакеты из Петербурга с чепчиками, шляпками, косынками, выкройками и разными тряпками. Всякий день она разряжена была куколкою, хотя бы вовсе не было гостей; а г. Гологордовский, который, при всей своей феодальной гордости, ходил дома в засаленном капоте, полупольского покроя, казался при жене своей первым из покорнейших слуг.

Дочери гг. Гологордовских, Петронелла и Цецилия, были прекрасны собою, ловки в обращении с мужчинами, смелы как драгуны, резвы и веселы. Они были отличные танцовщицы и музыкантши. Говорили очень хорошо по-французски, пели прелестно, одевались с большим вкусом и изысканностью, по примеру матери, и вместе с нею читали неж-

ные романы. Обе они имели очень доброе сердце и даже не любили на прогулках проезжать через деревню, чтобы не видеть нищеты. Старшей, Петронелле, было 18, а младшей, Цецилии, 16 лет от роду.

Два сына, один по 12-му, другой по 14-му году, были настоящие обезьяны по хитростям, уловкам, злости, обжорству и скрытности. Они беспрестанно делали проказы то своим учителям, то сестрам, то слугам. Величайшие шалости приписываемы были родителями отличным способностям и изобретательному уму их деток, на которых они полагали всю надежду своей фамилии и обходились с ними как с наследниками Монгольской империи. Имя *инфанта*, данное старшему сыну, в шутку, одним проезжим офицером, осталось при нем навсегда. Слуги, не понимая настоящего значения сего титула, иначе не называли маленького сумасброда, и это чрезвычайно утешало родителей, которые предвещали своим сыновьям генеральские чины, миллионы и невест-принцесс именно за те качества, с которыми в свете все теряют и ничего не приобретают.

Что же касается до прочих жителей дома, то их было так много, что я теперь не могу даже всех вспомнить, а когда я был впоследствии в доме г-на Гологордовского, многих уже там не застал. Отец иезуит, как иезуит, был загадкою для всех исключая барыни, при которой он исправлял звание духовника. Приказчик был олицетворенная плеть или машина для понуждения: все перед ним трепетало, исключая жида и любимых собак барина, до которых он не смел прикасаться. Маршалек и конюший бессловесные твари, род кастрюль для варения съестных припасов. Вся их должность состояла в том, чтобы смотреть, выпуча глаза, на толпу суетящихся слуг, изгибаться перед господами, всегда говорить *да*, есть за четверых и упиваться каждый вечер варенухою. Поверенный принадлежал к числу тех людей, которых можно, без зазрения совести, сперва повесить, а после судить, зная наверное, что, разобрав каждую неделю их жизни, найдешь двадцать к тому причин. Душа его, так сказать, сотворена была из одних крючков и петелек, чтобы цепляться за все, на что ни взглянут его ястреби-

ные глаза. У него не было ни правого, ни виновного, ни белого, ни черного. Законы он почитал словами, которых сила зависит от истолкования их в левую или в правую сторону. Одним словом, этот поверенный был профессор ябеды и после жида — первый советник г-на Гологордовского. Комиссар... бедный комиссар! Его должность состояла в смотрении за порядком по всему имению, в поверке счетов и собирании доходов; но как порядку не бывало, а доходы выбирались прежде времени и когда только было возможно, без всякого предусмотрения, то он с горя пил одиннадцать месяцев в году, а в двенадцатый месяц составлял отчет наобум, или, лучше сказать, делал смету доходов, переписывал набело и представлял господину вместе с обозрением того, что было предпринято (хотя и не исполнено) в течение года; это весьма радовало г-на Гологордовского, который полагал, что он в самом деле имеет столько доходов, сколько показано в *итоге*. Самая важнейшая особа в доме была *охмистрыня*, или ключница, не потому, что она знала все секреты барыни и пользовалась неограниченною ее доверенно-

стью, но потому, что в ее власти находились все крепительные соки, то есть ром, коньяк, горькие и сладкие водочки. Весь дом ласкался к ней, не исключая даже и барышень, которые от нее получали варенья и конфеты. Почтенная ключница громогласно объявляла ненависть свою к крепким напиткам, и хотя она всякий вечер, не дождавшись ужина, ложилась в постель с багровым лицом и носом, пламенеющим как зажженный огарок, но это происходило от того, что она страдала зубною болью и принуждена была часто брать спирту на зуб. Так, по крайней мере, она сама говорила. Нет сомнения, что г. Гологордовский очень верил этому лекарству: он весьма часто хватался за щеку и так часто посещал кладовую или аптечку, что протоптал к дверям неизгладимый след на полу *кутыми* своими каблуками.

Вот люди, между которыми я был последний, по предназначению судьбы! Во время моего детства все они казались мне необыкновенными, высшими существами, солнцами! Впоследствии я узнал настоящую их цену и для того упомянул о них в этом месте, что-

бы читатель не удивлялся, почему меня держали в доме, как дикого зверя. Впрочем, мы будем иметь случай встречаться впоследствии с некоторыми из упомянутых здесь лиц, и потому преждевременное знакомство с ними не будет излишним.

Глава III
Любовь

Все военные любят стоять на квартирах в Польше, невзирая на бедность крестьян, на неопрятство жидов, на различие в языке и вероисповедании с дворянами. Надобно сказать правду, поляки хлебосольны, любят и рады случаю пожить весело, а польки милы до крайности и привязаны вообще к чужеземцам более, нежели бы хотели того их мужья и братья. Военный постой, особенно артиллерии и кавалерии, весьма приятен помещикам, жидам и женщинам. Первые выгодно сбывают с рук произведения земли, вторые — свои товары, а женщины всегда находят обожателей, а часто и мужей, невзирая на духовные увещания католических ксендзов, национальные диссертации помещиков и беспокойства военной жизни. Каждая долгая стоянка полка в каком-нибудь уезде кончится обыкновенно парою свадеб и парою дюжен анекдотов, рассеваемых устарелыми красавицами на счет молодых женщин. От этих анек-

дотов скромные люди сперва приходят в ужас, потом не верят им, а наконец предают их забвению, до нового случая. Вообще польские женщины любезны, умеют нравиться и любить нежно, со всеми утонченностями романтической страсти, и хотя постоянство не составляет главной черты их характера, но в любви до того ли, чтобы думать о таких отвлеченностях? К тому же нет правила без исключения: возможно ли не любить полек единственно из опасения непостоянства? Польки чувствуют в полной мере, что женщины созданы для любви, и они всю молодость свою проводят в приятных мечтах. На польском языке даже существует особенный глагол, вымышленный для изображения самых милых, впрочем, самых пустых занятий в жизни: *романсовать* (romansowac). Это действие означает нежную, почтительную любовь, взаимные угождения, основанные на нравственности и благопристойности: оно нигде не может существовать, кроме Польши, где свободное обращение обоих полов не только позволительно, но даже почитается необходимостью. Одна только Италия превос-

ходит Польшу свободою женщин. В Польше никому не покажется странным или неприличным, если замужняя женщина или девица говорит наедине с мужчиною, прогуливается с ним, рука об руку в отдалении от других, принимает от него небольшие подарки, угощения, не будучи за него помолвленною, просватанною или его родственницею. Нежные взгляды, сладкие речи, вздохи, посвящаемые стихи, музыка и даже письма не обращают на себя никакого внимания родителей или посторонних. Там явно говорят, что такой-то влюблен в такую-то; что он волочится за нею (umizga sie); что такая-то влюблена в такого-то, и все это не лишает доброй славы. Нежные любовники дают друг другу взаимные клятвы и обещания, строят воздушные замки будущего благополучия и после того расходятся хладнокровно, без всякого соблазна. Вот здесь кстати вспомнить пословицу: что город — то норов, что деревня — то обычай. Между тем я честью могу уверить моих читателей, что, несмотря на самое свободное обращение, нигде, может быть, нет столько добродетельных девиц, как в Польше: вольно

верить, вольно не верить... О замужних женщинах я не упоминаю здесь вовсе, потому... потому, что это не идет теперь к делу.

В деревне г-на Гологородовского стоял на квартирах поручик Миловидин со взводом гусарского полка. Он имел все хорошие и дурные качества молодого кавалериста: был храбр, честен, знал службу, но часто бывал в ней неисправен от ветрености и от излишней страсти к забавам. Не будучи вовсе корыстолюбивым, он пускался в большую игру и часто проигрывался в карты до последней копейки, единственно от скуки или от нечего делать; с природною склонностью к воздержности, из одного молодечества пил венгерское вино, как воду, а шампанское, как квас. Главным его занятием было волокитство. Прекрасный собою, ловкий, остроумный, выросший в кругу лучшего московского общества, отличный танцор, музыкант, живописец, начитанный произведениями французской словесности и одаренный необыкновенною памятью, Миловидин, избалованное дитя счастья, был предметом любви всех женщин, в окружности двадцати пяти миль. Для

него давали праздники, его везде хотели иметь в гостях, и, что всего удивительнее, мужчины, то есть помещики, не только не сердились на него за явное предпочтение, оказываемое ему женщинами, но даже любили его. Миловидищ был, в полном смысле, *добрый малый*: откровенен и, со всем своим остроумием, простодушен. Он не спорил с поляками о политике, пил с ними за здоровье прежних патриотов и бранил от чистого сердца чиновников: за это пользовался доверенностью старых и дружбою молодых помещиков, которые непременно хотели производить род Миловидина из Польши или, по крайней мере, из Лифляндии. Важная почесть, которой немногие дослуживаются в Польше!.. Сердце у него было такое просторное, что он мог любить пятьдесят женщин в одно время, не изнывая от любви и не утомляя себя, вздохами и страданиями. В это время он отдавал преимущество, пред всеми женщинами и девицами, Петронелле Гологордовской, которая, просто сказать, была влюблена в него без памяти. Теперь не нужно тебе догадываться, любезный читатель, от ко-

го и к кому я был послан с письмом в деревню! Теперь ты понимаешь, почему меня прямо произвели в *английские жокеи* и определили для особенных поручений к старшей дочери г-на Гологордовского. Без сомнения, ты, любезный читатель, уже догадался, что я занял звание *любовного почтальона*. Так точно: вся моя должность состояла в том, чтобы во время стола стоять с тарелкою за стулом моей барышни и переносить письма из господского двора и квартиру поручика, что я исполнял с особенною осмотрительностью, точностью и скоростью; за это я был любим; моею барышнею, а вследствие этого и целым семейством г-на Гологордовского. Прозвание *сиротки* уже не было для меня знаком уничижения; напротив того, выражало нежность и сострадание и произносимо было с участием и особенным умилением. Дворня, следующая всегда примеру господ, ласкалась ко мне столько же, сколько прежде меня презирала. Перемена в судьбе моей произвела быструю перемену и в моем рассудке, который от природы был хорошо устроен. Я в полгода понял все, что прежде казалось мне загадкою, пре-

взошел в расторопности всех дворовых мальчиков, воспитанных в господских комнатах, и сделался, как говорится, *плутишкой*, или *вострым мальчиком*. Всею этою счастливою переменою я обязан любви!

После приятных дней любви и наслаждения наступила гроза. Полк получил повеление выступить в другую губернию, и это нечаянное происшествие повергло в отчаяние все женское народонаселение целого уезда. Доктора переезжали из одного дома в другой; аптекарская лаборатория пришла в движение; посланцы скакали во всю прыть по всем дорогам, то в город с рецептами, то с письмами. Казалось, будто чума или какая заразительная болезнь свирепствовала в окрестностях. И в самом деле, спазмы, мигрени, *ваперы*, нервические припадки, *вертижи* одолели прекрасный пол. Особенно моя барышня, Петронелла Гологордовская, пришла в совершенное изнеможение. Она слегла в постель, поклялась умереть от любви и отказывалась принимать лекарство, прописанное доктором от простудной лихорадки. В самом деле, положение ее было опасное. Беспрестан-

ные слезы и рыдания, бессонница и внутреннее волнение могли дать дурное направление небольшой простуде, полученной в саду, во время поздней беседы с милым другом. Она не хотела принимать никаких советов и утешений от родителей, сестры и подруг и тогда только успокоилась несколько, когда Миловидин дал ей честное слово возвратиться как можно скорее и браком увенчать нежную любовь. Самолюбие Миловидина было тронуто таким сильным изъявлением страсти прелестной Петронеллы; он от роду не видал, как хворают и умирают от любви, и, будучи свидетелем и предметом сцены, достойной украсить самый нежный роман рыцарских времен, Миловидин разнежился и решился наградить прелестную страдалицу своею рукою. Но это обещание дано было втайне, без ведома родителей. Они положили переписываться между собою посредством жида-арендатора, которому Миловидин грозил отрубить нос и уши в случае измены, а между тем, во время своего отсутствия, он поручил тетке Петронеллы, со стороны матери, устроить сватовство. Любовники предвидели трудности в по-

лучении согласия отца Петронеллы, который питал себя надеждою, что какой-нибудь путешествующий принц, хотя бы азиятский, или по крайней мере вельможа пожелает облагородить поколение свое союзом с фамилиею Гологордовских. Но как из всех глупостей человечества любовь есть самая сильная, то и наши любовники надеялись превозмочь высокомерие и упрямство г-на Гологордовского или переступить через них насильно.

Глава IV
Сватовство

Зима прошла скучно. Г. Гологордовский должен был выезжать несколько раз в губернский город для своих тяжб, кончившихся не весьма благополучно. Тяжебные расходы принудили его к некоторой бережливости в доме и заставили семейство г-на Гологордовского остаться в деревне во время дворянских выборов, куда на несколько недель стеклось все дворянство. Это обстоятельство повергло в меланхолию г-жу Гологордовскую и младшую дочь; старшая и без того уже страдала сердечным недугом. Тщетно отец иезуит проповедовал о суете мира сего: его слушали со вздохами и перерывали, чтобы начинать разговор о балах и нарядах. Г-жа Гологордовская сожалела только о том, что ее отсутствие во время выборов подаст посетителям из других губерний и военным людям весьма дурное понятие о вкусе женского пола, в отношении к нарядам, и что без ее дочерей нельзя будет танцевать мазурок и французских кадрилей. По-

сле этого предисловия начинался критический разбор всех женщин целой губернии, от тридцатипятилетних до шестнадцатилетних, а в заключение оказывалось, что одна только г-жа Гологордовская и ее дочери не имели никаких нравственных и физических недостатков, а все прочие женщины крайне обижены были природою. Поживальницы, или резидентки, доверенные мамзели — компаньонки, жены поверенного и комиссара и даже отец иезуит подтверждали своим согласием мнение г-жи Гологордовской, и это служило ей некоторым утешением в горе. Если б десятая часть мнений г-жи Гологордовской насчет женщин была справедлива, то мужчинам надлежало бы искать жен не только в другой губернии или в другом царстве, но и на другой планете. По счастию, все матушки точно так же думали о себе и о своих дочерях, как г-жа Гологордовская, и потому всем недостаткам женщин надлежало верить, принимая их только в сложном числе.

Миловидин остался постоянен. Он на всякие десять писем Петронеллы отвечал одним, весьма нежным и притом забавным, писан-

ным на бумаге розового, зеленого или голубого цвета: тогда была еще такая мода в провинциях. Хотя я не мог читать этих писем, но заключал о их содержании по расположению духа моей барышни, которая, перечитывая их стократ, всегда начинала слезами, а оканчивала смехом. Миловидин описывал ей новые свои знакомства, различные приключения, характеры и анекдоты, которые утешали мою барышню в разлуке и веселили обеих сестер. Жид верно исполнял порученную ему должность: он получал с почты и пересылал письма с величайшею точностью. Невзирая на то что я теперь был бесполезен моей барышне, она продолжала любить и ласкать меня: со мною соединены были сладостные воспоминания, и, кроме того, Миловидин особенно рекомендовал меня ее покровительству.

Наступила весна: вся природа ожила, но розы не расцвели на щеках прекрасной Петронеллы. Она день ото дня становилась печальнее и не могла без слез смотреть на птичек, сидевших парами на ветках. Все знали причину ее горести; но, исключая сестры, верной Маши и жида, никто не напоминал ей о

милом и не утешал ее надеждами.

Однажды, в приятный весенний день, на закате солнца, все семейство г-на Гологордовского полдничало в саду. Жареные цыплята с салатом, приправленным сметаною, и бутылка Венгерского, подаренная, как редкость, жидом-арендатором, привели г-на Гологордовского в такое веселое расположение духа, что тетушка вознамерилась воспользоваться этим случаем к исполнению своего поручения. Она дала знак барышням, чтоб они удалились, и завела речь, сперва издалека, о счастии супружества по взаимному выбору сердец, коснулась жалкого состояния Петронеллы, изнывающей от любви, а наконец напрямки объявила, что она уполномочена от Миловидина и своей племянницы просить согласия родителей на брак, и вынула из-за пазухи письмо. Г-жа Гологордовская молчала во время рассказов своей двоюродной сестры, вздыхала, посматривала на небо и покачивала головою. Напротив того, г. Гологордовский при первых словах тетки начал оказывать нетерпение и досаду. Сперва он удвоил глотки вина, потом покраснел, а наконец, когда

осушил бутылку, пришел в бешенство, сильно ударил кулаком по столу, так, что вся посуда запрыгала, и грозно воскликнул:

— Довольно!

Тетушка не испугалась, однако ж, этой бури, и спокойно сказала:

— Я не вижу, что бы могло препятствовать этому браку.

— Многое, очень многое, сударыня, — отвечал г. Гологордовский. — И вы не видите этого потому, что никогда не заглядывали в мой домашний архив и, вероятно, не примечали фамильных портретов в столовой зале.

— Но разве Миловидин не дворянин? — примолвила тетушка. — Его отец и дед были в генеральских чинах.

Г. Гологордовский горько улыбнулся.

— Сударыня, — сказал он, — прежде вас я расспрашивал Миловидина об его роде и от него самого узнал, что его дворянство начинается только от прадеда.

— Неужели этого мало? — спросила тетушка.

— Так мало, что меньше быть нельзя для вступления в союз с фамилиею, которая счи-

тает свое дворянство от пятидесяти генераций. Итак видите, сударыня, что мое дворянство относится к дворянству г-на Миловидина, как пятьдесят к трем, следовательно, между нами есть *маленькая* разница. — При этом он лукаво улыбнулся.

— Но в наше время старые и новые дворяне имеют одно право на почести, и одна только заслуга, или по крайней мере служба, доводит людей до высоких званий, — сказала тетка.

— Это не наше дело, сударыня, — отвечал г. Гологордовский. — Вы знаете старую нашу пословицу: шляхтич на одном огороде равен воеводе.

— Следовательно, Миловидин равен вам, — примолвила тетка.

— Нимало, — возразил г. Гологордовский. — Это значит, что только дворяне, равные родом, равны между собою, невзирая на различие в чинах. Притом же одной древности происхождения недостаточно, чтоб быть моим зятем: надобно богатство — и огромное богатство, для поддержания блеска соединенных фамилий, а Миловидин гол как сокол.

— Правда, что отец Миловидина прожил все свое состояние на службе, — сказала тетка, — но у него есть богатый и бездетный дядя, который не намерен никогда жениться. Он очень любит своего племянника, содержит его в службе и намерен сделать его своим наследником.

— Откуда эти вести? — спросил г. Гологордовский.

— У меня есть собственноручные письма дяди к Миловидину, — отвечала тетка.

— Все это воздушные замки: стыдитесь, сударыня, унижать род свой до такой степени, чтоб осмелиться предлагать мне союз с человеком без имени и без состояния, — сказал г. Гологордовский важно и встал с своего места. — Прошу вас не говорить мне впредь об этом, если хотите сохранить мою дружбу.

— Очень хорошо, — возразила тетка, покраснев с досады, — но позвольте мне сделать одно замечание: неужели вы захотите уморить дочь свою от любви и выдать ее замуж противу склонности сердца?

— Не заботьтесь об этом, сударыня, — сказал г. Гологордовский. — Девицы от любви не

умирают и даже бывают очень счастливы в супружестве противовольном. Доказательством этому служит ваша двоюродная сестра, а моя любезная жена, которая также была влюблена в офицера перед свадьбою, и три раза падала в обморок прежде произнесения рокового *да*, перед брачным алтарем. Все перемоглось наконец, и я надеюсь, что г-жа Гологордовская не жалуется на несчастную свою участь, хотя муж ее не носит шпор и мундира. Не правда ли, душа моя? — примолвил г. Гологордовский, поцеловав нежно жену свою, в первый раз с тех пор, как я находился в комнатах.

— Да... правда... — отвечала жена с глубоким вздохом.

— Велите заложить линейку и оседлать мне верховую лошадь! — сказал г. Гологордовский. — Милостивые государыни! не угодно ли вам прогуляться со мною, версты за три? Я вам покажу нечто новое: корчму, которую строю теперь на самой границе моей и под боком соседа моего Процессовича. Корчму эту я назвал *Рожон*: это будет настоящий рожон в глаза моему любезному соседу. Не

правда ли, г. маршалек?

— Сущая правда, — отвечал маршалек с низким поклоном.

— Я велю в этой корчме продавать водку гораздо дешевле, нежели она продается в корчме Процессовича, и таким образом переманю к себе всех его мужиков. Не правда ли, г. комиссар?

— Точно так, — отвечал комиссар. — Если он вздумает выгонять своих мужиков из моей корчмы, то я позову его в суд, на расправу, за насилие. Не правда ли, г. пленипотент?

— Точно так, сущая правда, — отвечал поверенный. — Мы позовем его в суд уголовный, pro exspulsione et violentia.

Пока г. Гологордовский продолжал разговаривать таким образом со своими служителями, которые во время сватовства стояли в некотором отдалении, г-жа Гологордовская пошла в комнаты одеваться, а тетка соединилась с барышнями и, отведя их в темную аллею, пересказала, по-видимому, о следствии своих переговоров. Не знаю, что происходило между ними, но я, к крайнему моему удивлению, не приметил слез в глазах барышни, ко-

гда она вышла на крыльцо, чтобы садиться в линейку. Напротив того, мне показалось, что она была веселее обыкновенного.

Глава V
Бал и похищение

Г. Гологордовский хотел праздновать рождение своей жены и вместе с тем выигрыш тяжбы о десяти десятинах земли. Тяжба эта продолжалась тридцать лет и каждой стороне стоила в шестьдесят раз более, нежели предмет спора. Но как главное дело состояло в том, чтобы поставить на своем, то публичное изъявление радости служило как бы вознаграждением за все оскорбления и издержки, понесенные во время тяжбы, и вместе уничижением противника. За неделю вперед разосланы были приглашения к родным, соседям и даже далеким знакомым в губернии. Жид-арендатор приставил двух других жидов, подрядчиков, для доставления вин и пряных кореньев к столу. Эти мнимые подрядчики, как я после подслушал у приказчика Канчуковского, продавали товары, принадлежавшие нашему арендатору, который не хотел ставить припасы от своего имени, оттого что опасался уплаты обязательством или вексе-

лем, в чем не смел отказать г-ну Гологордовскому. Но как наличных денег в доме не было, а хлеб еще не поспел, то посев пшеницы и ржи был продан десятинами в поле, или, как говорится, *на корню*. Наш арендатор взял доверенность от мнимых поставщиков для получения хлеба после снятия его и умолота и трех дюжин телят, после рождения, с условием кормить в продолжение восьми месяцев. Таким образом г. Гологордовский, продав хлеб в недрах земли и скот прежде рождения на свет, получил огромный запас вина и столовых припасов, которые долженствовали исчезнуть в одни сутки. Все охотники из деревень разосланы были в леса для припасения дичи: им роздано было по фунту пороху и по три фунта дроби, с условием доставить непременно по шестьдесят штук дичины. На два фунта пороху полагалось три законные промаха, а за остальные надлежало вносить в господскую казну по гривне серебром. Жид-арендатор представил г-ну Гологордовскому список всех крестьян, у которых были куры, цыплята, яйца и масло. К этим хозяевам отряжены были дворовые люди для взятия всего

этого доброю волею или насильно. Тем, которые отдадут по доброй воле, обещано было вознаграждение уступкою, по цене нескольких дней барщины; противящимся велено было напомнить о существовании г-на Канчуковского и погрозить экзекуцией. Экзекуцию в польских губерниях называется откомандировка к мужику несколько дворовых людей, обыкновенно буянов, которые до тех пор бушуют, едят и пьют в доме, пока крестьянин не заплатит должных податей или каких-нибудь господских повинностей. Иногда эти экзекуции посылаются в наказание за неисправность в работе, за грубость противу жида и за другие разные причины. Приготовления к балу, в продолжение семи дней, произвели в господском доме необыкновенную суету и кутерьму. По деревням был совершенный разбой, неприятельское нашествие! Голодная дворня действовала, как настоящие мародеры. Они искали кур в сундуках, масла в белье и яиц за пазухой, похищали что могли и где могли и всеми возможными средствами обижали бедных поселян и баб. Беда, сущая беда, когда людям низкого звания, без

воспитания и нравственности, достанется власть! Они стараются на других вымещать все свое унижение и думают, что возбуждают к себе уважение, когда заставляют других трепетать перед собою. На господский двор беспрестанно прибегали мужики и бабы с жалобами, что от них требуют невозможного; клялись, что жид показал на них ложно; что они не имеют того, что с них взыскивают. Тщетные жалобы! Г. Гологордовский верил жиду более, нежели жене и детям; он отсылал жалующихся к г-ну Канчуковскому, который одним своим видом сгонял их со двора. На кухне производилась работа день и ночь, а чтобы предупредить воровство, к дверям кухни приставлены были, из конюхов, часовые, которые сами крали куски мяса, кур и яйца и ночью относили в корчму. Все служители заняты были чисткою и уборкою комнат. В первый раз, в течение года, потревожены были пауки и согнаны с фамильных портретов. Дубовые и ольховые кресла обтянуты новою холстиной. Мебели красного дерева, украшавшие две комнаты в целом доме, вместо лаку, смазаны были деревянным маслом. Полы вы-

скоблили наново, потому что вымыть их было невозможно. Все зеркала из флигелей, принадлежавшие почетным слугам, резидентам и поживальницам, внесены были в господские комнаты, которые, сверх всех перемен и обновок, убраны были, накануне праздника, фестонами из еловых и сосновых ветвей. Домашние музыканты повторяли и учились беспрестанно на гумне, где отец иезуит, большой химик, по мнению целой губернии, приготовлял фейерверк для сюрприза г-же Гологордовской; два охотника работали под его ведением. Для гостиных лошадей отведена была особенная конюшня и приготовлен запас *гостиного сена*, то есть десятка два возов осоки и болотной травы, которой невозможно было истереть жерновом, а не только конскими зубами; *гостиный* овес перемешан был пополам с резаною соломой, или сечкою, и с мякиною. Законы гостеприимства повелевают, чтоб гости, слуги их и лошади были сыты; но как хозяин должен заботиться об угощении и уподчивании господ, то если слуги и лошади голодны, вся вина сваливается, обыкновенно, на управителя, в таком случае, ко-

гда какой-нибудь гость вздумает о своих лошадях и служителях. Впрочем, с *нужными людьми*, то есть с губернскими и уездными чиновниками, поступают иначе и поручают их слуг и лошадей особенному надзору маршалка и конюшего.

Наконец наступил день торжества. Множество гостей съехалось к обедне. Кареты, коляски, брички и каламажки (род тележек) заняли все пространство между конюшнями и скотным двором. Почти каждое семейство имело с собою по двенадцати лошадей: шестерку в своем экипаже, четверку в бричке, в которой ехали слуги и служанки, с сундуками и картонами, и пару в каламажке, с чемоданами, постелями и кастрюлями, для приготовления обеда в дороге. Холостые приезжали шестериком, а весьма редкие четвериком. Некоторые семейства приехали еще с большим числом лошадей, потому что число лошадей означает важность господ, и я, право, не почитаю дурным, что г. Гологордовский вздумал кормить эти табуны мякиною и болотною травой. Это обыкновение, приезжать в гости с целою своею конюшнею на чужой

корм, есть то же самое для хозяина, что набег татарской орды, и если б помещики для этого не выдумали *гостиного фуража*, который есть не что иное, как декорация настоящего, то два бала в деревне лишили бы помещика годового запасу овса и сена. Но как никакое собрание не может обойтись без скотов, то главное дело в том, чтоб уметь сбывать их с рук, благоразумно.

После обедни наступил завтрак, или, лучше сказать, *водкопой*, потому что дамы очень мало ели, а мужчины более пили. Разноцветные и разновкусные водки беспрестанно переходили, для пробы, из рук в руки, пока графины не опустели. Тогда гости пошли в сад, к дамам. Между тем в комнатах начали накрывать обеденный стол, а как гости беспрестанно съезжались, то четыре лакея продолжали разносить в саду водки и закуски.

В два часа пополудни, когда кушанье поставлено было на стол, музыканты, под предводительством капельмейстера, построились на крыльце, ведущем в сад, и заиграли Польский. Это было сигналом к обеду, и все гости собрались в большой аллее. Г. Гологордов-

ский предложил руку почетнейшей гостье, жене губернского маршала; маршал повел г-жу Гологордовскую, и таким образом в две пары рядом пошли в столовую залу. Прочие гости также попарно следовали за хозяевами, и все поместились за столом, как шли, то есть женщины рядом с мужчинами. Правда, что г. Гологордовский почетнейших гостей умел посадить выше, невзирая на то что они позже пришли в залу. Прежде, нежели уселись, он вызывал их по чинам из толпы и просил занять место поближе к хозяйке, приправляя эти вызовы разными шутками и прибаутками. Обед был великолепный, и хотя за столом сидело более ста человек собеседников, кушанья было довольно. В рассуждении вина соблюдаем был следующий порядок. Обыкновенное столовое вино, францвейн, поставлено было в графинах перед гостями; лучшие вина различных доброт разносимы и разливаемы были лакеями, под начальством маршалка и конюшего. Первый, с тремя лакеями, был на правой стороне стола, а другой, с таким же числом лакеев, на левой. На каждой стороне первый лакей заведовал бутылками с

самым лучшим вином, второй с посредственным, а третий с самым обыкновенным, принадлежавшим к разряду лучших вин по одному тольку названию. Маршалек и конюший, по предварительному условию, понимали из слов г-на Гологордовского, какому гостю надлежало наливать какого вина, из трех сортов; например, когда г. Гологордовский говорил гостю:

— Прошу вас откушать, милостивый государь, сделайте честь моему вину; уверяю, что оно того стоит, — тогда наливали вино первого разбора.

— Откушайте винца, оно, право, не дурно, — означало второй разбор.

— Вы ничего не пьете; гей, наливайте вина господину! — означало третий разбор.

Кажется, г. Гологордовский совершенно знал вкус своих гостей, потому что все они пили вино добрым порядком и даже предупреждали желания и понуждения хозяина. Впрочем, я почитаю поведение г-на Гологордовского весьма благоразумным: зачем потчивать гостя тем, чего он не понимает и когда он столь же доволен названием, как и добро-

тою вина? Одни пьют шампанское и венгерское оттого, что находят в них приятный вкус; а другие для того только, чтобы сказать: мы пили шампанское и венгерское! Кто не знает правила: «Не мечите бисеру, да не попрут его ногами». В конце обеда принесли огромный бокал с вензелями и надписями. Г. Гологордовский налил в него вина, провозгласил здоровье своей супруги и, при громогласных восклицаниях: виват! при громе музыки и литавров, выпил до дна, поклонившись прежде своему соседу и примолвив: «В ваши руки». Точно таким порядком круговая чаша пошла из рук в руки. Наконец, когда все собеседники отказались пить под важным предлогом, *что еще день не кончился*, хозяин встал, все гости за ним, и каждый, взяв под руку одну или двух дам, пошел, покачиваясь, в сад, где в беседке ожидали их кофе и закуски. Лишь только господа оставили столовую залу, лакеи, свои и приезжие, музыканты и даже служанки, бросились, как ястребы, на остатки пиршества и, не слушая грозного голоса маршалка и конюшего, растаскали все по кускам и выпили все початые бутылки. В

кухне происходил еще больший беспорядок, при раздаче кушанья слугам. Приезжие, без дальних формальностей, распорядились сами, овладели кастрюлями и удовлетворили дорожному своему аппетиту. Припоминая теперь все обстоятельства этого пиршества, я уверен, что половиною всех издержанных припасов можно было бы вполне удовлетворить и господ и слуг; но для этого надобен порядок, а он был в разладе с домом г-на Гологордовского.

После обеда некоторые старики пошли отдыхать; большая часть гостей обсела и обступила игорные столики, где некоторые записные промышленники, или, просто, охотники, метали банк и штос. Все эти господа, которые за столом громко жаловались на дурные времена, на упадок торговли хлебом, на безденежье, сыпали на карты золото, серебро и пучки ассигнаций. Некоторые из них, проигравшись до копейки, тут же, сгоряча, продавали своих лошадей, экипажи, скот домашний и медную посуду из своих винокуренных заводов и, в надежде отыграться, еще более проигрывали. Молодые люди и старые волокиты

беседовали с дамами и, разогретые вином, объяснялись в любви или занимали женщин своим балагурством и веселыми рассказами. Наконец, когда на дворе сделалось сыровато, дамы пошли в комнаты переодеваться и приготовляться к танцам. В восемь часов осветили комнаты, музыка заиграла, и г. Гологордовский открыл бал полонезом со своею женою. Танцы продолжались до 12 часов; в эту пору все гости пошли к ужину.

Ужин был столь же изобилен и роскошен, как и обед, только попойка приняла другой оборот. Почти все гости перепились до последней степени. Музыкантов прогнали в другую комнату, и начались объяснения в дружбе между мужчинами, обниманья, целованья и обещания забыть все ссоры и взаимные неудовольствия. Дамы призываемы были в свидетельницы этих примирений и долженствовали ручаться в исполнении обещаний двух сторон. При знаменитом тосте: возлюбим друг друга (Kochaymy sie) — гости пили полную чашу, стоя один перед другим на коленях или обнявшись. Наконец обратились к дамам и начали пить за здоровье каждой из

них, из их собственных башмаков. Мужчина, став на колени перед дамою, снимал башмак с ее ноги, после того целовал почтительно ее в ногу и в руки, ставил рюмку в башмак, а иногда и наливал в него вина, выпивал и передавал другому. Вдруг залп из двадцати четырех ружей и из нескольких фалконетов потревожил веселящихся гостей. Все бросились к окнам и увидели среди двора горящий вензель виновницы празднества. Радостное *виват* снова раздалось в зале; заиграли *туш*, и огромный бокал снова явился на сцену. Несколько десятков ракет и бураков взлетели на воздух, к удовольствию зрителей. Но от неумения ли или от оплошности, несколько ракет лопнуло в соломенной крыше гумна, и как ветер был довольно сильный, то в несколько минут кровля вспыхнула и все хозяйственное строение загорелось. Трудно вообразить себе смятение, возбужденное этим нечаянным случаем. Пьяные господа суетились; слуги не знали, что делать. Все приказывали; никто не хотел исполнять. Пожарных труб вовсе даже и не знали, и потому каждый бежал на пожар с ведром, с топором,

с рогатиною, и никто не смел приступиться к пламени. Ударили в набат, послали за людьми в деревню; но они, как казалось, не очень охотно поспешали на помощь своему господину. Гости приказывали наскоро запрягать своих лошадей и укладывать вещи. Домашние слуги заботились о сохранении серебра и столового белья от расхищения. Сумятоха, беспорядок, крик, шум, беготня свели бы с ума самых хладнокровных людей: все перевернулось вверх дном в доме.

Я в испуге не знал, что делать; стоял на крыльце, смотрел на огонь и собирался плакать. Вдруг явилась Маша:

— Ванька! Я тебя ищу, ступай за мною.

Мы побежали опрометью через все комнаты в спальню моей барышни. Маша надела мне на голову мой картуз с галуном, который хранился в гардеробе барышни, дала мне узелок и коробочку, накинула на себя капот и велела мне за собою следовать. Мы пробежали чрез сад, перелезли чрез разобранный забор и очутились в поле, возле рощи. Там стояла коляска, запряженная четверкою лошадей. В темноте я не мог распознать, кто сидел в ко-

ляске. Маша села напереди; большой усатый лакей посадил меня на чемодан сзади коляски, а сам сел на козлы, рядом с кучером. Поворотили лошадей, шагом доехали до большой дороги, лежавшей от этого места в полуверсте, и помчались во всю прыть. Как ни был я измучен суетою и беготнёю того дня, но не мог сомкнуть глаз. Пожар беспрестанно представлялся моему воображению, и я трепетал о судьбе моей барышни, полагая, по тогдашнему моему суждению, что, вероятно, все должно сгореть в доме, и что потому именно Маша спасается бегством вместе со мною. Я думал, что этот экипаж принадлежит кому-нибудь из гостей. В коляске я слышал шепот, но не мог различить слов и узнать говорящих по голосу. Наконец с утреннею зарей мы приехали на первую почтовую станцию.

Глава VI
Брак, разлука с новобрачными

Когда я слез с чемодана и подошел к коляске, то чуть не вскрикнул от удивления, увидев Миловидина и барышню мою, Петронеллу Гологордовскую, которая, завернувшись в салоп, прильнула головою к плечу своего милого друга.

— Узнал ли ты меня, Ванька! — сказал Миловидин, улыбаясь.

— Как не узнать доброго барина!

Между тем Кузьма, усатый лакей, отправившийся на почтовый двор с подорожною, возвратился и объявил ответ станционного смотрителя, что нет лошадей. С этим словом Миловидин выскочил из коляски и побежал опрометью в избу, а я за ним. Смотритель сидел в халате за столом и перевертывал книгу, где записываются подорожные.

— Лошадей! — закричал грозно Миловидин.

— Нет лошадей, все в разгоне, — отвечал

смотритель хладнокровно.

— Если ты мне не дашь сию минуту лошадей, — сказал Миловидин, — то я запрягу тебя самого в коляску, с твоими чадами и домочадцами: слышишь ли?

— Шутить изволите, — возразил с прежним хладнокровием смотритель. — Не угодно ли отдохнуть немного и откушать моего кофе, а между тем лошади прийдут домой.

— Черт тебя побери с твоим кофе! Мне надобно лошадей! — воскликнул с гневом Миловидин.

— Нет лошадей! — отвечал снова смотритель.

— Ты лжешь, по этой дороге никто не ездит, и я никого не встретил, — сказал Миловидин.

— Извольте проверить почтовую книгу.

— Я не хочу напрасно терять времени, и, вместо того чтобы считать страницы, пересчитаю твои ребра, — сказал Миловидин и приступил на шаг ближе к смотрителю.

— Вы напрасно изволите горячиться, — возразил последний, — извольте прочесть на стене почтовые постановления: вы увидите,

что за оскорбление почтового смотрителя, пользующегося чином 14-го класса, положен денежный штраф до ста рублей.

— А, если тебе штрафу хочется, — сказал Миловидин, — то я заплачу втрое и так тебя употчую, что ты в другой раз, верно, не получишь штрафного вознаграждения, в этой жизни. Но, послушай, прежде я хочу поговорить с тобою порядком. Сколько надобно заплатить указных прогонов до первой станции?

— Шестнадцать рублей, — отвечал смотритель.

— Итак, я заплачу тебе вдвое, то есть тридцать два рубля, сверх того дам три рубля тебе, на кофе или на табак: вот тебе тридцать пять рублей; давай лошадей, или, ей-Богу, бить стану!

— Вижу, что с вами делать нечего, — сказал смотритель, — прийдется дать вам своих собственных лошадей. — Смотритель после этого высунул голову в форточку и закричал ямщикам: — Гей, ребята! запрягайте сивых, да поскорее, по-курьерски.

— Ты ужасный плут! — примолвил Мило-

видин, получая сдачу.

— Как же быть, ваше благородие, — отвечал смотритель. — Ведь жить надобно как-нибудь.

— Вот в том-то и вся беда, что у нас почти все делается *как-нибудь*, — сказал Миловидин, выходя из избы. Между тем запрягли лошадей — и мы помчались.

Трое суток мы скакали по большой дороге, без всякого особенного приключения. На всякой станции делали нам некоторые затруднения, потому что в подорожной не было прописано: *по казенной надобности*. Но Миловидны угрозами, бранью, криком и деньгами побеждал закоснелое упрямство станционных смотрителей, которые, по большей части, исполнение своей должности поставляют в том, чтобы скорее отправлять курьеров и задерживать едущих по своей надобности. На четвертые сутки, на самом рассвете, в виду города, мы своротили с большой дороги и, проехав лесом верст пять, остановились в деревне, перед крестьянскою избой. Здесь стоял на квартире приятель Миловидина, поручик Хватомский. Он выбежал из избы, помог Пет-

ронелле выйти из коляски и ввел ее под руку в свою квартиру. Тотчас послали за священниками, русским и католическим, которые здесь нарочно дожидались приезда Миловидина. Он показал им позволение вступить в законный брак и согласие католического епископа, или *индульт*, с так называемым *окошком*, то есть пробелом для вписания имен; чрез два часа оба обряда кончились: по-русски обвенчались в церкви, а по-католически — в доме священника. Отдохнув и пообедав у Хва-томского, новобрачные в сумерки отправились в город, где находилась квартира Миловидина. Для уничтожения различных толков, он не хотел иначе явиться в эскадрон, как с законною женой; эта предусмотрительность, без сомнения, делает честь его характеру.

Миловидин, прежде нежели отправился за своею невестою, убрал по возможности свою квартиру, для принятия жены. Он занимал две комнаты в доме богатого жида. Но как чистота не составляет принадлежности богатства между жидами, то Миловидин отделал квартиру на свой счет. Стены обклеил цвет-

ною бумагой, полы обили клеенкою; в задней комнате сделали из досок альков для спальни и эту перегородку завесили коврами. Окна украсили занавесами розового цвета. Миловидин у одной своей приятельницы, помещицы, жившей по определению консистории в разлуке с мужем, взял на подержание фортепиано, дюжину стульев, пару ломберных столиков и зеркало. Несколько пар пистолетов, турецких сабель и кинжалов, персидский прибор на лошадь и два ружья висели в гостиной вместо картин. Пирамида из чубуков с огромными янтарями и золотошвейными колпаками служила также к украшению комнаты. Словом, смотря по месту и обстоятельствам, комнаты Миловидина убраны были превосходно, и едва ли не с большим блеском и опрятностью, как у самого г-на Гологордовского. Сверх того, на фортепиано лежала большая кипа нот, выписанных нарочно из Петербурга, а в спальне, на полке, уставлено было несколько дюжин новых французских романов, с картинками. Миловидин не забыл ничего, чтобы сделать приятным свое жилище.

Петронелла ахнула от удивления, вошедши первый раз в квартиру. Осмотревшись, она бросилась на шею своему мужу и заплакала от радости и благодарности за такое внимание. На другой день Миловидин с женою своею посетил полковника, казначея, квартермистра и еще пару женатых офицеров, чтоб завести знакомство с их женами. В продолжение целой недели он беспрестанно разъезжал со своею женою по окрестностям с визитами и везде получал поздравления насчет красоты и любезности прелестной Петронеллы. Вскоре начали съезжаться к нему гости, со всех сторон. Миловидин любил жить весело: пошли обеды, вечеринки, ужины, которые обыкновенно кончались попойкою и картами. Время летело, а с ним и деньги. Сперва закупали вино и припасы на наличные деньги, после того брали в долг, а наконец, когда жиды увидели, что долгов не платят, перестали верить; надлежало отдавать в заклад вещи. Родители Петронеллы не хотели даже принимать от нее писем и отсылали их обратно нераспечатанными. Дядя Миловидина также рассердился на него за то, что он об-

манул его, сказав, что женится на богатой невесте, и за то, что женился без позволения родителей; он отказался помогать ему деньгами. Миловидин пустился в игру по расчету: он связался с игроками, которые обманули его, продали и выманили последние деньги. Обстоятельства были критические. В шесть месяцев после свадьбы все, что можно было продать, было продано; заложить уж было нечего, играть не на что, занять не у кого. Миловидин решился на последнее средство: ехать с женою своей к дяде, в надежде, что она своими прелестями смягчит упрямого старика. Получив отпуск, он продал последнюю свою верховую лошадь; на эти деньги выкупил из заклада свою коляску и, собрав свое последнее имущество, белье, седла и оружие, заложил все жиду-хозяину, чтобы достать деньги на дорогу. Г-жа Миловидина не хотела ни за что расстаться со своими нарядами и Машею. Надлежало ей повиноваться; итак, обвязав коляску картонами, взяв с собою Машу, лакея и повара, господа мои отправились в Москву. Меня оставили на квартире при вещах, находившихся в закладе, и

жиду приказано было кормить меня, на счет господ.

Глава VII
Богатый жид. Источники его богатства

Через месяц после отъезда Миловидиных полк выступил на другие квартиры, а я остался у жида, при вещах, потому что никто из офицеров не хотел или не мог выкупить их и взять с собою запечатанных сундуков. Оставшись один, без всякого надзора и покровительства, я, по естественному порядку вещей, сделался слугою того, кто кормил меня, то есть жида Мовши, хозяина дома. Мовша почитался одним из богатейших жителей города. Жена его, Рифка, толстая женщина, низкого роста, вся осыпанная жемчугом и коростою, торговала в лавке шелковыми тканями, сахаром, кофе и сухими плодами, или *бакалиями*. Мовша производил торг в доме виноградными винами, портером и вообще всеми столовыми припасами, пряными кореньями, голландскими сельдями, сырами и всеми принадлежностями гастрономии. Но как жид не может жить без того, чтоб не шинковать

водкою, то, сверх всего этого торга, в его доме был шинок, для мужиков и людей простого звания. Мелочная продажа водки есть первая необходимость жида в польских провинциях. Этим средством он достает, за десятую часть настоящей цены, все съестные припасы и отапливает дом почти даром. Кроме того, он посредством водки выведывает у крестьян и служителей все тайны, все нужды, все связи и отношения их господ, что делает жидов настоящими владельцами помещиков и подчиняет жидовскому влиянию все дела и все обстоятельства, в которых являются на сцену металл и ассигнации. В самом деле, помещики наслаждаются одним только звуком металлов и видом ассигнаций, а в существе своем они принадлежат жидам. В письменном столике Мовши находились три огромные долговые книги, или регистра. В первую вносились долги прекрасного пола, по части Рифкиной торговли; во вторую записываемы были долги помещиков или вообще мужчин, так называемых панов, за напитки и съестные припасы; третья книга вмещала в себе долги несчастных поселян, которые, приез-

жая в город продавать произведения земли, по нужде оставляли у себя деньги только на уплату господских повинностей, а остальное пропивали и, сверх того, входили в долги. Чтобы дать читателю понятие, каким образом жиды обходятся с поселянами, я расскажу о расчете Мовши с одним богатым крестьянином, чему я был очевидным свидетелем.

Этот крестьянин приехал в город накануне торгового дня, с двумя возами, нагруженными рожью и пшеницею, и привел с собою, на продажу, двух коров. Он остановился ночевать у Мовши. Хитрый жид, видя, что поселянин собирается ужинать с тремя своими товарищами натрезво, попотчевал его самою лучшею и самою крепкою водкой. Крестьянину чрезвычайно понравился этот напиток, и жид в другой раз попотчевал его даром. Когда в голове крестьянина зашумело, он велел подать себе кварту[5] этой водки за деньги. Жид только и ждал этого: он знал нрав своего гостя и его тороватость, а потому, лишь только крестьянин запил, он послал уведомить об этом других его товарищей и пригласил несколько записных городских пьяниц, кото-

рые умеют особенным образом вкрадываться в доверенность приезжих. По мере затмения рассудка своих гостей жид прибавлял воды в водку, и хотя собеседники это чувствовали и изъявляли свое неудовольствие грубою бранью, жид терпеливо сносил грубости и продолжал свою операцию до тех пор, пока большая часть из посетителей уснула на месте, а другие кое-как выползли на улицу. На другой день, когда крестьянин, мучимый головною болью, возвращался в комнату из-под навеса, где стояли его лошади и коровы, жид потребовал его к расчету за долги, накопившиеся в продолжение нескольких месяцев. Крестьянин усильно просил отложить расчет до другого времени; но жид, как искусный психолог, зная правило: in corpore sano mens sana, не соглашался на отсрочку и хотел воспользоваться затмением рассудка своего должника от винных паров, после вчерашней невоздержности, и его дурным расположением духа. Жид вынес свою долговую книгу, писанную по-еврейски, взял кусок мелу, посадил мужика за стол противу себя и, перевертывая листы в книге, начал расчет:

— Помнишь ли, — сказал жид, — как ты жил здесь трое суток с подводами, перед летним Николой?

— Как не помнить! — отвечал мужик.

— В первый день ты взял поутру полквартыводки: не правда ли?

— Правда.

— Ну, вот я запишу, — промолвил жид и провел на столе черточку мелом. — После, когда пришел твой зять, с Никитой, ты взял еще кварту, — и с сим словом жид провел две черточки. — В обед ты опять взял две кватерки, — жид опять провел две черточки, невзирая на разность меры. — После обеда... — но крестьянин, который беспрестанно почесывал голову и потирал лоб, прервал слова жида:

— *Пане арендарю* (так литовские мужики величают жидов), — мне, право, не в силу: вели дать водки, голова болит смертельно!

Жиду этого-то и надобно было:

— Гей, Сорка, Рифка! — воскликнул еврей. — Попотчуйте водкою *господаря* (так жиды взаимно величают крестьян, когда хотят их обмануть).

Крестьянин выпил огромный стакан, морщась и содрогаясь, и дело пошло другим порядком.

— После обеда, — продолжал жид, — ты взял полкварты.

— Взял.

Жид провел черточку:

— А когда вошел Иван, ты опять взял полкварты.

— Нет, не брал, а взял Иван, — отвечал мужик.

— Хорошо, ты не брал, — промолвил жид, а между тем провел снова черточку. — Вечером ты брал полкварты?

— Брал.

Жид провел черточку:

— А поутру брал?

— Нет, не брал, а взял Иван, — отвечал мужик.

— Не брал? — сказал жид и провел опять черту. — В обед, на другой день, ты брал полкварты.

— Нет, только кватерку, — отвечал мужик.

— Хорошо, пусть будет кватерка, — возразил жид и провел черточку, означающую ме-

ру полукварты, которая содержит в себе четыре кватерки. Таким образом продолжался расчет, во время которого дочери Мовши, Рифка и Сорка, беспрестанно потчевали мужика водкою, а жид ставил черты, когда крестьянин сознавался, что он брал в долг водку, и когда говорил, что не брал, не различая меры, когда она была меньше полукварты, и прибавляя черточки, когда мера была более. Наконец, когда у крестьянина закружилось в голове и в глазах потемнело, жид вынул из-за пазухи кусок мелу, с вырезкою, наподобие двух ножек, и этим двойным инструментом принялся ставить, вместо одной, по две черты одним разом. Когда стол был весь исписан, жид призвал в свидетели расчета нескольких соседей крестьянина и они, сосчитав черточки, превратили их в деньги: несчастный должен был отдать жиду лучшую свою корову и всю свою пшеницу, хотя в самом деле он едва был должен десятую часть того, что заплатил.

Почти таким же образом обходился Мовша и с помещиками, только искуснее и несколько понежнее. Однако ж двойной мелок, примесь в винах и начеты были так же

употребляемы при расчетах с дворянами, как и с крестьянами. Жид, зная, что польские паны и русские офицеры не любят заводить счетных книг и чрезвычайно скучают продолжительными расчетами, выбирал благоприятное время для своих видов и тогда именно приступал к должникам со своими долговыми книгами, когда они находились в весьма веселом или в слишком печальном расположении духа. Жена Мовши, Рифка, которая также отпускала в долг товары и, вместо процентов, получала от помещиц, в подарок, целые кади с маслом и целые стаи домашних птиц, выбирала время для расчета с должницами своими, когда они имели крайнюю необходимость в кредит, а именно перед балами, дворянскими выборами и свадьбами. В торговле этого рода нельзя было обманывать теми же средствами, как при продаже вин и водок; но хитрая Рифка, пользуясь нуждою и тщеславием своих покупщиц, обмеривала их, обвешивала, брала за все двойную цену и, сверх того, выманивала подарки, под предлогом, что она сама берет товары в долг и обязана платить проценты. Кроме того, тор-

говля ее приносила и ту пользу, что, посредством жен, Мовша имел влияние на мужчин, то есть на денежные спекуляции помещиков. Они даже были рады, что за шелковые ткани и кружева, за вино, ром, портер, сахар и кофе могли платить волами, пшеницею, льном, пенькою и другими сельскими произведениями, потому что жид при этом случае закупал остальной их запас на наличные деньги, по цене, жидами же установленной, и обыкновенно в половину противу цен, объявляемых на биржах и в портах. Помещики в тех странах вообще не имеют никакого понятия о торговых делах и получают коммерческие известия только чрез жидов. В целой губернии едва несколько человек выписывают газеты и то единственно для тяжебных объявлений и для запаса к нелепым толкам о политике.

Вся эта жидовская торговля, основанная на обмане, называлась *позволенною*, а потому жиды занимались ею явно, приобретая между тем гораздо большие выгоды скрытым образом — средствами, запрещаемыми законами и совестью. Мовша полюбил меня за мою скромность и услужливость; он почитал меня

своим собственным слугою, потому что Миловидин, взяв отставку и поселившись в Москве, отрекся от вещей своих и от меня, не имея чем выкупить залога. Мовша употреблял меня для самых секретных поручений и сулил мне золотые горы, если я решусь сделаться жидом. Хотя я не имел никакого понятия о вере, будучи вскормлен, как зверенок, но одно название жида ужасало меня, и я, не отказываясь вовсе, откладывал обрезание под различными предлогами, а между тем намеревался бежать от этой беды. Однажды в доме Мовши остановились два поверенные богатых господ, возвращавшиеся из Риги, с деньгами, полученными за проданный ими хлеб и пеньку. Эти гг. поверенные, как видно, были в тесной связи с Мовшею: они отдали ему все господское золото, которое Мовша обещал возвратить на другой день, счетом, и даже одному из них, человеку неопытному в этих делах, дал в залог серебряную монету, на ту же самую сумму. На ночь Мовша заперся наверху, в своей каморке, призвал туда меня и сына своего, Юделя, и объявил, что мы должны целую ночь работать. Он высыпал из мешков,

на стол, большую груду червонцев, заставил Юделя выбирать из кучи полновесные и большие, для меня разостлал на полу сукно, посыпал его каким-то черным порошком и велел мне перетирать на сукне отобранные червонцы, прижимая их крепко к сукну. Сам Мовша сел за стол, на котором стояли две восковые свечи и увеличительное стекло на ножках. Юдель подавал ему червонцы, а он, смотря на них через стекло, обрезывал их кривыми, тонкими ножницами. Не знаю, сколько было червонцев в наших руках, но к рассвету я переменил три куска сукна, а Мовша собрал целую чайную чашку золотых обрезков. Поверенные получили обратно счетом свои червонцы, не заботясь о весе; а в вознаграждение их снисходительности дано им по нескольку червонцев, и, сверх того, жид не взял с них ничего за корм лошадей, за пищу и вино и дал им несколько бутылок вина на дорогу. Вечером Мовша выжег сукно и перетопил обрезки в печи, нарочно устроенной для того в его каморке. Наша ночная работа доставила ему кусок золота величиною с кулак. Мы занимались этим высасыванием

золота из червонцев всегда, когда только останавливались в доме знакомые поверенные и комиссионеры богатых панов или когда купцы или господа поверяли Мовше золото для каких-нибудь оборотов.

Однажды вечером Мовша велел мне собираться в дорогу, к другому утру. Рифка уложила в небольшой сундук пару нового Мовшина платья: черный полушелковый зипун, застегивающийся от воротника до пояса крючками, черную шелковую мантию, с большими кистями напереди, пару серых чулок, новые башмаки и круглую, с большими полями, шляпу; белья она положила столько штук, сколько недель предполагалось быть в отсутствии, именно же две штуки. Съестными припасами наполнила особую коробку: они состояли из одной бутылки водки *шабашовки*, так называемой по ее доброте и по тому, что ее пьют только в шабаш, когда воспевают веселый *маиофис*[6]; из двух кошерных сыров, домашней работы, двух больших редек, двадцати четырех луковиц, двенадцати селедок, двух булок, одной вязки жидовских кренделей или баранок и небольшого куска жаре-

ной козлятины. Этот запас определен был для пяти человек на две недели. С Мовшею ехали: жид Фурман, зять его Иосель, племянник Хацкель и я, несчастный. Сундук и коробка отданы были мне на руки, и когда я заметил Рифке, что этого запасу будет мало, она рассердилась и крикнула на меня:

— Молци, гой[7]! Вы все только и думаете, цтоб есть и пить, а не думаете, цто каздая кроха стоит денег: надобно деньги берец, теперь худыя времена!

— Да у вас денег и без того довольно! — сказал я сквозь зубы, нагнувшись к коробке. Вдруг она взбесилась.

— Как ты смеешь говорить, цто у нас денег много? Герш-ту[8] Жиды, особенно жидовки, в Польше употребляют это герш-ту в каждом случае, когда сердиты или недовольны: оно отвечает русскому: вот те на, или: видишь ли, каков!! Разве ты видал и сцитал наси деньги? Герш-ту! Ах ты хомут! Ах ты дуга[9]! Как ты смеешь говорить, цто у нас есть деньги! — жидовка тряслась от злобы, грозила мне кулаками и, вероятно, ударила бы, если б я не присанился и не вскрикнул в свою очередь:

— За что ты рассердилась, пани арендаршa! Если ты меня тронешь, то я все брошу и уйду!

На крик наш прибежал Мовша и, узнав о причине брани, прикрикнул на жену и вывел ее в другую комнату, где, покричав вместе, они успокоились, а Рифка, возвратившись, погладила меня по голове и дала большой крендель, примолвив:

— Не сердись, Ванька! я для тебя полозу в коробку кусок копценаго гуся, а если наси зиды захотят лакомиться, пускай покупают на свои деньги.

У нас остановился в квартире один из соседних помещиков. Вечером, накануне отъезда Мовши, помещик приказал подать пуншу для себя и для хозяина, велел ему сесть и начал с ним беседовать. Вообще большая часть мелких помещиков почитают жидов сведущими во всех делах, даже в политике, и, вместо того чтобы подписываться на газеты, деньги, которые надлежало бы заплатить за них, они употребляют на пунш и вино, а время, которое должно б было терять на чтение, проводят в разговорах с жидами о всемирных

происшествиях. Из комнаты помещика дверь была отворена в конуру, где, при свете ночника, я должен был щипать перья для жидовских перин, потому только, чтоб не оставаться ни на минуту в бездействии и, по жидовской системе, не есть даром хлеба. Каждое слово было слышно; пока говорили о торговле, хозяйстве, войне и о губернаторе, я не обращал внимания на разговор; но когда коснулись до путешествия Мовши, я стал прислушиваться, любопытствуя знать, куда и зачем мы поедем.

— Странно, ребе[10] Мовша, — сказал помещик, — что ты, производя такую обширную торговлю, вздумал взять в арендное содержание корчмы, в именье, отстоящем на 20 миль от твоего местопребывания. Я знаю, что ты, сверх того, гонишь там деготь и выделываешь поташ: но все это мог бы ты иметь, так сказать, под боком. Я, и каждый помещик, охотно вступил бы с тобою в дела.

— Особенные обстоятельства, ясневельмозный пане, — отвечал Мовша, — заставляют меня содерзать аренду так далеко от дому. В той стороне зивет вся родня моей зены, и я,

из *благотворительности*, разместил по корчмам бедную родню. Потас и деготь там удобнее сбывать с рук, потому цто это именье лезит на самой границе. От всего этого я не полуцаю никакой прибыли и еззу туда два раза в год затем только, цтобы наблюдать за порядком, делать расцеты и вы-руцать свои собственные деньги, на уплату аренды: прибыль полуцают родственники моей зены, которым я *благодетельствую*.

— Похвально, весьма похвально, ребе Мовша, — сказал помещик. — Этот пример достоин подражания, и между нами, и по справедливости сказать, на жидов слишком много клеплют напраслины, тогда, как один этот пример *бескорыстной любви к родне* должен расположить в их пользу.

Меня позвали к ужину, и я не слыхал продолжения разговора. Читатель вскоре увидит, что значит жидовская *бескорыстная любовь* к родственникам и *благотворительность, без прибыли*!

На другой день в длинную бричку, покрытую парусиною, запачканную дегтем и грязью, запрягли трех тощих лошадей в сбрую из

лык, веревок и отрывков старых барских шор, навалили в бричку перин и подушек, поставили сундуки и ящики и отправились в путь. Мовша, Иосель и Хацкель, в засаленных халатах, в колпаках, уселись в перинах, в тесной куче, почти один на другом, а я поместился в ногах, на сундуке с платьем. Как пора была осенняя, то мне дали какую-то старую фризовую шинель, купленную на рынке, и шапку, забытую в шинке одним хмельным лакеем; эта шапка чрезвычайно меня беспокоила, насовываясь на глаза, при каждом потрясении брички.

Не стану описывать нашего путешествия, которое было вовсе незанимательно и продолжалось два дня с половиною. На третий день мы своротили с большой дороги и к полудню приехали в малую корчму, находящуюся в некотором отдалении от бедной деревушки, состоящей из десяти хижин. Хозяин корчмы обрадовался, как казалось, нашему приезду и тотчас выслал трех мужиков с письмами неизвестно куда. К ночи начали съезжаться жиды: одни верхом без седла, другие в тележках, и пока жидовка стряпала

ужин, их набралось около двадцати человек. По обыкновению, к вечеру собрались в корчму и мужики, курить табак, пить водку на кредит, лакомиться сушеною рыбой, таранью, и беседовать, при свете лучины, о своем господине и приказчике. Жиды не обращали внимания на крестьян, заперлись в другой комнате и с шумом разговаривали долго между собою, говоря, по большей части, все вдруг. Наконец, когда бурное совещание кончилось, арендатор выгнал, без околичностей, мужиков из корчмы, говоря, что для его гостей надобно стлать постели. Неугомонным мужикам, которые не хотели оставить корчмы, он дал водки и табаку надом, и они с песнями пустились в селение. Около полуночи приехал верхом какой-то господин; он оставался с полчаса наедине с Мовшею, и я слышал у дверей, как они торговались; наконец ударили по рукам, и Мовша отсчитал господину несколько десятков рублевиков и червонцев. Господин, выпив рюмку водки за здоровье *честной* компании, закурил трубку, сел на коня и поскакал к лесу. Жиды поужинали и тоже разъехались. Мовша и его спутники легли,

не раздеваясь, отдохнуть на перинах, а я прилег на соломе. За несколько времени до рассвета арендатор разбудил нас, и мы на двух тележках, в одну лошадь, поехали также в лес, по малой дорожке. Я правил тележкою, в которой сидели Мовша и Иосель, а хозяин корчмы с Хацкелем пустились вперед в другой телеге. Мы долго ехали лесом, пока начало светать, а наконец услышали скрип колес и понудительные клики извозчиков. Мовша обрадовался и велел мне погонять. Вскоре мы встретили обоз, состоявший из пятидесяти телег, нагруженных бочками с дегтем и поташем. При обозе находился один только жид; извозчики были мужики. Поговорив с этим жидом, Мовша велел мне поворотить лошадь и следовать за обозом. Проехав обратным путем около двух верст, мы на повороте встретили отряд пограничных казаков, с которыми был тот самый господин, которого я видел в корчме: он был не военный и одет весьма просто. Завидев нас, он оставил команду и с казачьим офицером прискакал к обозу.

— Что везете? — спросил офицер.

— Потас и деготь, — отвечал жид, бывший

при обозе.

— Ты хозяин, что ли? — сказал казачий офицер.

— Нет-с; вот он, ясневельмозный, васе-высокородие! — отвечал жид, указывая на Мовшу, который в это время слез с тележки и, стоя без шапки, низко кланялся.

— Вы, бездельники, верно, везете контрабанду! — закричал господин в штатском платье.

— Как мозно, сударь, цто бы цветные люди торговали контрабандою? — сказал Мовша, изгибаясь. — Избави нас Бог от этого! Мы, бедные зидки, промысляем дегтем и потасом. Извольте освидетельствовать.

Господин слез с лошади, отвязал железный прут от седла, вынул молоток из кожаного мешка и начал стучать в бочки, прислушиваться к звуку ударов, пробовать прутом внутри бочек, наконец перешарил мужиков, телеги и как бы в досаде воскликнул:

— Нечего делать! правы — поезжайте, к черту! — Во время обыска казачий офицер оставался на лошади и прилежно наблюдал за действиями господина в штатском платье;

но видя, что все исправно, он оставил нас в покое и продолжал путь со своею командой.

Мовша не мог удержать своей радости, и, когда казаки скрылись из виду, он защелкал пальцами и запел веселую ноту, приговаривая часто: «Атрапирт, атрапирт!»[11]

Прибыв благополучно в корчму, бочки свалили в сарае, а мужиков отпустили, заплатив им отчасти деньгами, но более водкою, табаком и сельдями. Пообедав и выспавшись, Мовша заперся в сарае с Иоселем, Хацкелем и со мною. Я весьма удивился, когда он начал работать возле бочек. В середине был деготь или поташ, а с краев оба дна отвинчивались, и там находились разные драгоценные товары, шелковые материи, полотна, батисты, кружева, галантерейные вещи и т. п. Принесли жаровню, штемпели, черную и красную краски; растопили олово, и, пока я раздувал уголья, Мовша с товарищами начал клеймить и пломбировать товары, точно так как я впоследствии видал в таможнях. Ночью пришло несколько больших жидовских фур, на которые нагрузили товары, уложив в кипы и ящики, и отправили домой с Иоселем и Хац-

келем; я с Мовшею поехали обратно в той же самой бричке, в которой мы прибыли в корчму. Мовша, как выше упомянуто, предполагал быть в отсутствии две недели и пробыл только одну, потому что товары его прибыли из-за границы прежде срока. В доме были радость и веселье, и Рифка, к другому дню, который был шабаш, испекла пирогов с медом и маком и кугель[12], изжарила гуся, сварила локшину[13] и цимес[14] и даже попотчевала меня кошерным виноградным вином.

Мовша объявил своим факторам и верникам, что он одно радостное происшествие, случившееся в делах его, хочет ознаменовать *добрым* делом. Давая деньги под заклад, он брал обыкновенно по две копейки с рубля в неделю; теперь, в продолжение целого месяца, он вознамерился брать *по три денежки* с бедных и нуждающихся. Факторы объявили об этом *благодеянии* Мовши всем игрокам, мотам и пьяницам, а Мовша должен был вытерпеть упреки жены и даже брань ее за эту излишнюю *доброту сердца*, которая, по мнению Рифки, могла привести их в разорение.

Глава VIII
Встреча чиновника, возвращающегося с места, с чиновником, едущим на место
Я оставляю жида

Настала зима, и в доме Мовши прибавилось деятельности, а мне работы. Обозы и проезжие часто останавливались у Мовши, и я приставлен был к гостинным комнатам, к тем самым, которые занимал прежде Миловидны. Кроме того, что мне надлежало топить печи, носить воду и выметать комнаты, жид велел мне подслушивать у дверей, что говорят между собою приезжие господа, особенно чиновники. Мне поручено было подслушивать, не ищут ли кого, не ловят ли чего, и обращать внимание, не будут ли произнесены слова: *фальшивая монета* и *контрабанда*. Хотя я не понимал настоящего значения сих слов, но, чувствуя, что тут кроется какое-нибудь жидовское плутовство, не имел охоты

верно служить жиду, если бы иногда не соблазняла меня приманка награды и голод не принуждал быть орудием жидовской политики. Но жизнь эта мне до того наскучила, что я решился бежать при первом случае, куда глаза глядят. Одно только меня удерживало: недостаток зимней одежды.

Однажды, когда начинало смеркаться, несколько экипажей остановилось на рынке, противу дома Мовши. Он тотчас выбежал на улицу и, подошед к четвероместной карете, на полозьях, с низким поклоном предложил сидящим в карете господам квартиру, выхваляя все удобства своего дома, дешевизну фуража и всех припасов, рекомендуя притом себя, как человека известного своею честностью и услужливостью. Красивая наружность дома Мовшина, в сравнении с другими, кажется, была убедительнее слов хозяина, и экипажи, к большой радости целого жидовского семейства, подъехали к крыльцу.

Рифка выбежала с дочерьми встречать господ, а меня с служанкою вытолкали в гостинные комнаты стереть пыль, вымести наскоро полы и очистить со стола следы угощения, ко-

торое давал Мовша магистратским чиновникам того же утра, имея какое-то дело о *подмене заложенных вещей*. Едва мы успели управиться, как путешественники вошли в комнату. Я остановился у дверей, чтоб посмотреть на них. Сперва вошел небольшой, сухощавый, бледный мужчина, закутанный в шубу. Глаза его сверкали, как у лисицы; он одним взглядом осмотрелся кругом и, перешед в другую комнату, тотчас начал раздеваться. За ним следовали два мальчика и две девочки, от 10 до 14 лет, окутанные и обвязанные как улитки. Сама госпожа, также худощавая, с злобными взглядами, медленно двигалась, как жаба. За нею шел причет служанок, нянюшек и лакеев, с узелками и коробочками. Первым приветствием, которое госпожа сделала мне и служанке дома, были слова: «Пошли вон отсюда, твари!» Мы, отвесив по поклону за эту вежливость, вышли и, за дверьми, отплатили ей тою же монетой.

В общей избе узнал я, что путешественники ехали на наемных лошадях, в Москву, из губернии, где этот господин, по фамилии Скотинко, был прокурором. Подали свечи, наста-

вили самовар, и повар г-на Скотинки начал варить ужин, а сам господин потребовал к себе Мовшу, для разговоров и расспросов о новостях.

Часа через два, когда уже было темно, подъехала к нашему крыльцу кибитка, обтянутая рогожею и запряженная парою лошадей. Хозяева не беспокоились встречать гостя. Вошел господин, высокого роста, толстый и румяный, и, узнав, что лучшие комнаты уже заняты, поместился в небольшой каморке, где жил Юдель, сын хозяина. Весь багаж этого господина состоял из небольшого кожаного чемодана и кожаной подушки, которые внес под мышкою лакей его, одетый в нагольный тулуп. Изношенная шуба самого господина обнаруживала тайну кожаного чемодана. Рифка попотчевала водкою лакея и узнала, что господин его называется Плутягович и едет из Петербурга занять место прокурора, именно в том городе, откуда выехал г. Скотинко. Магистратский писец, который в это время стоял возле буфета и попивал сладкую водку, лукаво улыбнулся и сказал: «Вот встреча коршунов!»

Г. Плутягович, узнав, что в доме находится его предместник, тотчас пошел к нему познакомиться. Они, видно, пришли по нраву один другому, потому что Скотинко пригласил Плутяговича к ужину, и они целый вечер провели в разговорах.

Между тем лакей Плутяговича, поужинав куском черствого хлеба и квасом, закурил трубку и поместился возле очага, при котором слуги г-на Скотинки очищали из кастрюль остатки вкусного барского ужина, шутили между собою и гордо поглядывали на лакея Плутяговича. Когда же они узнали, что Плутягович едет занять место их господина, то смягчились и попотчевали бедняка водкою.

— Как тебя зовут, земляк? — спросил у него камердинер Скотинки.

— Фарафонтом, — отвечал слуга Плутяговича.

— Смотри же, Фарафонт, — примолвил камердинер, — держи ухо востро, а тебе будет вечная масленица. Не якшайся с просителями и не впускай никого даром в двери, а побирай за вход к барину, как за вход в собачью

комедию. Чего их жалеть!

— Я рад бы брать, да станут ли давать? — возразил Фарафонт.

— Дадут, как прижмешь, — отвечал камердинер. — Научись твердо отвечать: дома нет, занят, нездоров, не принимает, изволит почивать! А когда спросят, когда можно прийти, нельзя ли подождать, нельзя ли доложить — скажи: все на свете можно, только осторожно.

Тут все служители Скотинки громко захохотали. Фара-фонт сказал:

— Ну, а как станут приходить господа, которых барин велит пускать к себе, без доклада? Уж с них-то взятки гладки.

— Пустое, — отвечал камердинер, — с них взятки сладки. Кланяйся, отпирай двери, провожай со свечой и поздравляй с праздником. Ох, брат Фарафонт, привольное житье у барина прокурора, а у губернатора — рай, всего через край! Поплакали мы, выезжая из города. Неведомо, что будет, а было хорошо. А у вас, в Петербурге, каково-то житье лакеям чиновников?

— Каково место, брат, — отвечал Фарафонт. — Есть наша братья, что щеголяют;

есть, что кулаком слезы утирают. Мой барин был только столоначальником — неважная спица в колеснице. Он и сам рад был сорвать копейку с правого и с виноватого, да не всегда удавалось. Только, бывало, и получаешь на водку, как барин пошлет с копиею к проситслю или если есть какое дело на дому, в работе, и проситель завернет к нам потолковать. Да все это пустяки: ведь от старших остаются малые крохи.

— Ну вот теперь твой барин будет сам большой, — примолвил камердинер.

— Ох, Фарафонтушка, Фарафонтушка, дорого бы я дал, чтоб поменяться местом с тобою!.. Но вот барин кличет, прощай.

Я во все это время грелся у огня и, слушая эти разговоры, завидовал участи других слуг. Рассудив, что жид не имеет надо мною никакого права, я решился просить одного из проживающих господ взять меня с собою.

Плутягович, возвратясь в свою каморку, потребовал к себе Мовшу, который, узнав, что он занимает важное место в губернии, уже переменил с ним обхождение, беспрестанно кланялся и извинялся перед новым прокуро-

ром, что у него нет лучшей для него комнаты, и предлагал ему безденежно все, что угодно и что есть в доме. Плутягович сел на свою постель, закурил большую деревянную трубку и начал расспрашивать жида. Я был за перегородкою и, смотря в щель, слушал весь их разговор.

— Послушай, Мовша, говори со мною откровенно; а я, может быть, пригожусь тебе.

Жид снял ермолку и поклонился. Плутягович продолжал:

— Вот я еду занять место г<осподи>на Скотинки, который, как он говорит, отставлен за напраслину, по интригам злонамеренных людей, за неумытное, строгое исполнение своей должности.

Жид лукаво улыбнулся и кивнул головою. Плутягович продолжал:

— Г<осподин> Скотинко настращал меня, что место преплохое, что нет никаких доходов, кроме жалованья...

Тут жид прервал речь г-на Плутяговича и громко воскликнул:

— Герш-ту! залованья! О, вей мир! Плутягович продолжал:

— Г<осподин> Скотинко говорит, что он прожился на своем месте, истратил все, что имел отцовского и женииного, и с остатками расстроенного состояния бежит, унося с собою одно уважение честных людей и спокойствие совести.

При сих словах жид громко захохотал и так долго смеялся, взявшись за бока, что Плутягович должен был унимать его.

— Герш-ту! — сказал жид. — Г<осподин> Скотинко говорит о совести! А где он с нею встретился: не на дороге ли? После этого надобно озидать, цто волки станут стерец овец, зидки пойдут спасаться в монастырь, а помесцики запретят музицкам напиваться водкою. Я вам сказу, сударь, васе благородие, цто я знал есце г-ну Скотинку, когда отец его был козевником, сыромятником, а он — писариской, бегал босиком по улицам и крал у зидков баранки и крендели. Он из месцан того города, где я родился. Теперь г<осподин> Скотинко богат, как сам цорт. У него есть и движимое и недвизимое имение, и золото и серебро, а денег такая куца, цто он, верно, их и сосцитать не умеет. Он и в цинах и в орденах! О

вей, о вей! Г<осподин> Скотинко так насосался на своем месте, цто ни одна есце приказная пиявица не была так зирна! — Тут жид опомнился, что говорит с кандидатом в пиявицы, и примолвил: — Извините, сударь, васе высокоблагородие, но такого мастера, как Скотинко, не бывало у нас, и его совесть как невод: цистая водица проходит црез него, а рыбки вязнут. Место его — рудник с готовыми цервонцами. Не верьте ему ни слова: г<осподин> Скотинко и тогда лзет, когда говорит правду, то есть он и правду говорит для обмана. Есце раз сказу вам: Скотинко был гол, как сокол, и по разным губерниям насоветницал и папрокурорил себе такое богатство, цто хотя похоз с виду на сушеную ясцерицу, но пушист, как сибирский зверь.

— Зачем же он так скрывается передо мною? — спросил Плутягович.

— Он хоцет теперь слыть цестным, по обыцаю всех назив-шихся взяточников… извините… господ… — отвечал жид.

— Жаль, — сказал Плутягович, — мне бы хотелось поучиться кое-чему, то есть службе — понимаешь?

— Как не понимать, — возразил Мовша. — Но для этого не надобно уцителей. Как приедете в город, возьмите к себе в факторы зидка нашего, Ицку, который был в этой зе должности у г<осподи>на Скотинки: он вам во всем помозет, станет отыскивать просителей, уговариваться с уездными циновниками и брать для вас деньги взаймы. Разумеется, без векселя и росписки. Я вам дам письма к моим родственникам и к Ицке: полозитесь во всем на них, они не изменят вам, — только помогайте в наших зидовских делишках.

— Изволь, — сказал Плутягович, — я буду ваш; приготовь все к завтрему, а пока — прощай.

Мовша вышел, а за ним и я вылез из-за перегородки.

На другой день г. Плутягович выехал весьма рано, а Скотинко остался, по причине нездоровья. Один торопился, чтоб не потерять ни одного дня для наживы; другому уже не к чему было поспешать: он достиг своей цели.

Дети г-на Скотинки, мальчики, стали играть под навесом, и как я привык к забавам

господских детей в доме Гологордовского, то на досуге вмешался в их игру, помог им запрячь в салазки козла, устроил качели из вожжей и весело переносил толчки и неприятность игры в снежки, в которой я один служил целью. Рифка отозвала меня от забавы к работе, но сыновья г-на Скотинки упросили отца, чтоб он велел мне играть с ними, и жидовка должна была на это согласиться. Хотя я был моложе детей Скотинки, но гораздо их умнее и потому тотчас воспользовался их склонностью ко мне и легко убедил их упросить родителей своих взять меня с собою. После обеда г. Скотинко позвал меня к себе.

— По какому случаю находишься ты в службе у жида? — спросил у меня г. Скотинко. Я рассказал ему историю женитьбы Миловидина и отъезд его в Москву и, упав к ногам его, просил избавить меня от жидов, обещая служить ему верно всю жизнь. Г. Скотинко посмотрел на жену свою, и она произнесла приговор в мою пользу. Скотинко тотчас позвал Мовшу.

— По какому праву держишь ты этого мальчика? — сказал он грозно. Мовша три ра-

за заикнулся, прежде нежели вымолвил первое слово своего ответа.

— Барин его, г. Миловидин, должен мне деньги и оставил в залог весци с этим мальциком. — Да разве ты смеешь принимать в залог христианских подданных? — возразил Скотинко. — Знаешь ли указ, по коему запрещено евреям иметь в услужении христиан; знаешь ли ты указ противу ростовщиков? Покажи мне тотчас сделку, по которой ты держишь этого мальчика? Где его паспорт?

Жид испугался:

— Герш-ту! — сказал он тихо. Потом, поклонившись в пояс, примолвил — У меня нет никаких бумаг: я делал сделку на слово.

— И так ты держишь у себя беспаспортных людей, — сказал г. Скотинко. — Гей! бумаги и чернил; мы тотчас с тобою переведаемся. Я подам здесь объявление, а в столице не умедлю подать просьбу. Между тем мальчика я беру с собою, под мою расписку.

— Васе высокоблагородие, — сказал жид, — стоит ли нам ссориться из пустяков. Вам хоцется взять мальцика: извольте брать. Я спорить не стану, только дайте мне роспис-

ку, чтоб я мог отвечать Миловидину, когда он спросит. А цтобы вы не изволили гневаться, я за целый день постоя и за все, цто вы набрали в доме, не возьму ни копейки, да кроме того полозу в карету полдюзины такого венгерского винца, какого нет на сто миль кругом. Довольны ли вы?

— Хорошо, — сказал Скотинко, — но есть ли у этого мальчика теплая одежда?

— Нет, но я тотцас все исправлю, и к завтраснему дню все будет готово.

Г. Скотинко выслал нас из комнаты и велел мне приготовляться в дорогу.

— Проклятый разбойник! — воскликнул Мовша, встретив Рифку. — Этот хапун берет нашего Ваньку. — Рифка сильно рассердилась, но Мовша сказал ей что-то по-еврейски, и она успокоилась и даже погладила меня. Мовша повел меня наверх в свою комнату, сел в кресла и сказал: — Ванька! ты малый добрый, и верно, будешь помнить добро, которое мы тебе делали?

— Какое добро? — спросил я.

— Как, разве мы не поили, не кормили, не одевали тебя?

— А разве я не работал с утра до ночи?

— Герш-ту! ведь всякому надобно работать. Но скази, неузели тебе было худо у нас?

— Не очень хорошо, — отвечал я попросту. — Много дела и мало хлеба.

— Не греси, Ванька! тебе могло быть хузе у другого. Тебя, по крайней мере, не били, а у других господ и работать заставляют, и не кормят, и бьют, и плакать не велят.

— Нечего говорить — битья не было, — сказал я.

— И так ты долзен быть нам благодарен: вот тебе целая полтина за слузбу: и если б тебя кто стал спрасивать об нас, говори, цто ты ницего дурного не видал и не слыхал в доме и цто мы люди бедные, всегда нуздаемся в деньгах.

— А червонцы-то.

— Какие цервонцы? Ты с ума сошел, ты никогда не видал у нас цервонцев.

— Пусть так! — возразил я, чтоб только отделаться от жида.

— Ты сам видал, как мы любим христиан и помогаем им: даем в долг водку и хлеб музикам и подаем милостыню нисцим.

— Сухой хлеб, который бросают на корм скотине, если не явится нищий, при людях.

— Ванька, Ванька, не греси! Вот тебе другая *целая* полтина. Не правда ли, цто мы хоросие люди, милосердые и небогатые? — Я молчал. Мовша положил мне деньги в руку и, поцеловав, примолвил: — Не правда ли, цто ты будесь нас хвалить?

— Буду, буду! — сказал я, побежав вниз к новым моим господам. Жид купил мне поношенный тулуп, шапку и кеньги; Рифка дала на дорогу целую связку баранок, которые отчасти съели, а отчасти роздали собакам сынки г-на Скотинки, по праву своей власти надо мною. Я провел ночь в сладостных мечтаниях о моем странствии. Надежда встретить доброго моего Миловидина радовала меня: я ничего более не желал в жизни. На другой день утром все было готово к отъезду; мне велено поместиться сзади кареты, вместе с камердинером, и мы отправились в путь.

Глава IX
Нечаянная встреча. Превращение Тетушка. Мое воспитание

Без всяких приключений прибыли мы в Москву. Квартира была уже нанята и меблирована дворецким г-на Скотинки, посланным несколькими месяцами вперед. У г-на Скотинки было в Москве много знакомых между чиновниками, которые собирались у него с своими женами, раз в неделю, обедать, и два раза на вечер играть в карты. Г. Скотинко, скоре после своего приезда, принял француза в гувернеры к своим сыновьям и француженку к дочерям. Кроме того, ежедневно ходили в дом учителя, для преподавания им уроков. Я приставлен был в услужение к сыновьям, должен был содержать в чистоте учебную комнату и находиться при уроках, для исполнения разных приказаний учителей и молодых господ. Кроме того, я служил при столе во время обеда и исполнял поручения самой г-жи Скотинко по разным магази-

нам; также разносил по городу ее записки к приятельницам, ходил за лекарством в аптеку и, кроме того, кормил птиц и собачонок, до которых барыня была охотница. Я был, как говорится, комнатным мальчиком. Меня одевали по-казацки и называли *казачком*. Одаренный от природы счастливою памятью и переимчивостью, я в несколько месяцев научился у нашего повара русской грамоте и первым четырем правилам арифметики, а присутствуя при уроках господских сыновей, я в полгода затвердил наизусть множество французских и немецких слов и несколько ознакомился с географическими и историческими именами. Учителя, приметив мою понятливость и любопытство, спрашивали меня иногда, для своей забавы, о том, что я запомнил из слышанных уроков, и объясняли мне, чего я не понимал. Таким образом я сделался *ученым* — между лакеями. Я был доволен моим состоянием, сравнивая его с моим положением у жида, и хотя людей, вообще, в доме г-на Скотинки содержали и кормили весьма дурно, более от небрежения, нежели от скупости; но я имел свои преимущества,

вознаграждавшие меня за другие недостатки. Я пользовался остатками завтраков и ужинов детских; мне дарили деньги на пряники в модных магазинах, в аптеке и в других местах, куда я ходил за делами барыни; сверх того, я завел игру в орлянку с соседними мальчиками и форейторами и, отчасти счастием, отчасти искусством, всегда почти выигрывал. Я даже успел составить себе небольшой капитал, которого мне было достаточно на лакомство и на утоление голода, в случае нужды. Таким образом я прожил в доме г-на Скотинки, в Москве, полтора года, не заботясь о будущем и не предусматривая никакого улучшения своей участи. Самые лестные мои надежды состояли в том, чтобы со временем занять, при одном из господских сыновей, место камердинера или возвратиться к прежнему моему господину, Миловидину, которого ласковость и добродушие навсегда напечатлелись в моем сердце и памяти. Судьба устроила иначе.

Однажды я дожидался в модном магазине окончания какой-то работы для моей барыни. Вдруг вошла в магазин госпожа, одетая вели-

колепно, и начала перебирать разные вещи. Взглянув нечаянно на меня, она остановилась и смотрела пристально, с каким-то особенным участием. Она хотела приняться снова за рассматривание товаров, но, как бы по невольному влечению, взоры ее беспрестанно устремлялись на меня. Наконец она не могла победить своего внутреннего чувства и подошла ко мне.

— Чей ты мальчик, душенька? — сказала барыня ласково, погладив меня по щеке.

— Я и сам не знаю, — отвечал я. — Теперь служу у г<осподи>на Скотинки.

— Кто этот г<осподи>н Скотинко?

— Богатый барин; он приехал в Москву на житье, года полтора тому назад, и я пристал к нему на службу, в дороге.

— Итак, ты вольный, а не крепостной?

— Я, право, не знаю, чей я; я вырос в Белоруссии, в доме г<осподи>на Гологордовского...

При сих словах барыня прервала мой рассказ, поспешно вышла из магазина и велела мне за собою следовать. Она отослала к карете своего лакея, дожидавшегося на лестнице, и продолжала со мною разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Ты говоришь, что вырос в доме г<оспо-ди>на Гологордовского, — сказала барыня. — Кто ж твои родители?

— Не знаю, я сирота. — Во все это время я смотрел в лицо барыне и приметил, что она покраснела и глаза ее наполнились слезами.

— Иваном, — сказала она тихим голосом. Потом, помолчав, примолвила: — Ванюша! нет ли у тебя какого знака на левом плече?

— А почему вы знаете, барыня что меня большой рубец на плече?

При сих словах госпожа закрыла платком глаза и несколько времени молчала. Наконец она поцеловала меня в лицо, спросила о месте жительства г<осподи>на Скотинки, дала мне рубль серебром и, не велев никому сказывать о нашей встрече и об ее расспросах, пошла к своей карете, сказав, что мы скоро увидимся.

Я проводил добрую госпожу глазами до кареты и возвратился в магазин. Как я был при-

гож лицом в детстве, то меня часто ласкали незнакомые люди, особенно женщины, даже останавливая на улицах; но ни одно подобное приключение не производило во мне такого сильного впечатления как эта встреча. Сердце мое сильно билось: прекрасное лицо госпожи и ее черные глаза беспрестанно представлялись моему воображению; ее нежный голос раздавался в ушах моих. Я печально возвратился домой. Всю ночь мне снилась добрая госпожа; я несколько раз просыпался и принимался плакать с горя и досады, что не попал к таким ласковым господам. Мне хотелось служить у этой доброй, ласковой госпожи! О других чувствах я не имел понятия.

На другой день, в 12 часов утра, подъехала к нашим воротам карета, в шесть лошадей, цугом, с тремя ливрейными лакеями. Один из лакеев вошел в переднюю и просил доложить г-ну Скотинке, что князь Чванов желает говорить с ним по весьма важному делу. Г. Скотинко, сидевший в халате, тотчас надел фрак, велел просить князя и ожидал его в передней. Князь имел от роду лет семьдесят; лицо его украшено было морщинами и красными пят-

нами; лысая голова была покрыта тестом из пудры с помадою; остатки седых волос сбиты были в пукли и связаны в косу. Он едва передвигал ноги, и лакеи вели его под руки с такою осторожностью, как будто он был стеклянный и мог разбиться в куски от малейшего прикосновения. Г. Скотинко принял князя с низкими поклонами и проводил в гостиную; но князь желал переговорить с ним наедине, и они перешли в кабинет, где оставались около часа. Наконец г. Скотинко выглянул из кабинета и кликнул меня. Я думал, что мне велят подать что-нибудь, но как я удивился, когда г. Скотинко, указав на меня, сказал:

— Вот он, — а князь стал гладить меня по голове и трепать по щекам, приговаривая что-то на иностранном языке.

— Ванька, — сказал мне г. Скотинко, — поезжай сейчас с его сиятельством. Я более не имею над тобою права: вот твой благодетель.

Я так был изумлен сими словами, что ничего не отвечал и стоял неподвижно. Князь встал, пожал руку г-ну Скотинке и потащился к дверям, опираясь на мое плечо. В передней

г. Скотинко сказал мне:

— Ну, прощай, Ваня; ты уже больше не мой слуга: ступай за его сиятельством.

Камердинер подал мне шапку, и я вышел за князем на улицу. Я почти испугался, когда князь велел мне сесть в карету рядом с собою. Я был в таком замешательстве, что не смел поднять глаза и перевесть дыхания. По счастью, князь молчал во всю дорогу и дремал. Сердце мое сильно забилось, когда мы остановились возле великолепного дома. Неизвестность участи иногда хуже верного несчастия.

Лишь только мы вошли в комнаты, блестящие золотом, бронзою, фарфором, испещренные коврами и картинами, князь сел на софу и велел позвать к себе дворецкого. Я между тем стоял у дверей и смотрел на все с любопытством. Вошел дворецкий.

— Возьми этого мальчика, — сказал князь, — поезжай с ним по всем портным и швеям, купи для него лучшего белья, модное платье по его летам, одень, как куколку, как княжеского сынка, вели порядочно остричь, вымой его, вычисти и, нарядив как можно лучше, отвези к Аделаиде Петровне. Слы-

шишь ли?

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Чтоб все было готово к шести часам: я сам буду на вечер к ней.

Дворецкий мигнул мне, и я вышел за ним.

Дворецкий, без дальних расспросов, посадил меня с собою на извозчичьи дрожки и привез к портному. Здесь он меня оставил, приказав портному исправить немедленно поручение князя и сказав, что он заедет за мною чрез несколько часов. Жена портного побежала со двора купить для меня белья. Портной сыскал прекрасное готовое платье, курточку и шаровары из казимира, фиолетового цвета, с блестящими пуговицами. Башмачник принес башмаки. Волосы мои острижены были в кружок, по-русски. Парикмахер приладил их и завил в кудри. Хозяйка вскоре возвратилась с бельем и с вышитою манишкой: она сама вымыла меня, одела и не могла удержаться, чтоб не поцеловать меня в румяные щеки. Я почти не узнал себя, когда взглянул в зеркало и с гордостью удостоверился, что я красивее детей г-на Гологордовского, Скотинки и всех мальчиков, мною виденных

в домах этих господ. Вскоре возвратился дворецкий и также изумился моему превращению. Мы опять сели на извозчичьи дрожки и поехали по назначению князя. Я ни о чем не спрашивал, а только любовался своим платьем.

Приехав к одному небольшому, чистенькому, деревянному домику, мы остановились, и дворецкий повел меня за руку в комнаты. Лакей отворил двери в залу, и я чуть не упал в обморок от радости, когда увидел ту самую госпожу, которая расспрашивала меня вчера, в магазине. Госпожа тоже вскрикнула от радости, бросилась обнимать и целовать меня и повела в другую комнату, отпустив дворецкого. Когда мы остались одни, госпожа села на софе, посадила меня возле себя, велела снять курточку, осмотрела знак на левом плече и принялась плакать. Я также плакал, думая, что доброй госпоже приключилось какое-нибудь горе.

— Ваня, — сказала мне она. — Ты теперь не будешь более слугою. Ты мой родной племянник, сын сестры моей. Ты должен называть меня тетушкой и никому не говорить, чем ты

был прежде. Теперь ты будешь баричем, точно таким же, как дети Гологордовского и Скотинки.

— О! нет, тетушка! — сказал я. — Я хочу быть гораздо лучше их. Они обходятся дурно с бедными мальчиками и слугами, шалят, обманывают родителей и не учатся.

Вместо ответа тетушка поцеловала меня.

— Не хочешь ли ты чего-нибудь, Ваня? — спросила она.

— Я голоден, тетушка.

Она позвонила: явилась служанка, и тетушка велела накормить меня, сказав, кто я таков, и приказала отвесть мне особую комнату и устроить все для моего помещения.

Тетушка моя, Аделаида Петровна, была женщина лет тридцати, но по лицу казалась гораздо моложе. Она была красавица, в полном значении этого слова. Черные ее волосы, нежные, как пух, придавали белому лицу особый оттенок; свежий румянец украшал ее щеки. Черты лица были правильные и одушевлялись сладостною улыбкой и выражением сердечной доброты. Черные глаза, осененные длинными ресницами и нежными бровями,

привлекали к себе взоры, как магнит железо. Розовые, полные уста и белые зубы манили поцелуй на прелестный ротик. Она была высокого роста и прекрасной осанки. Одним словом, наружность тетушки была привлекательная, а ласковое и приятное ее обхождение увеличивало ее красоту. Тетушка говорила по-французски и по-итальянски, играла отлично хорошо на фортепиано и пела, как соловей. Она жила очень хорошо. Квартира ее была довольно обширна и прекрасно меблирована. В услужении у нее были: два лакея, две служанки, повар, кучер и дворник для черной работы. На конюшне была пара красивых лошадей. В доме ни в чем не было недостатка. К ней ездило много гостей, но весьма мало женщин, и то несколько актрис и иностранок. Всякую неделю был у тетушки музыкальный вечер, на который собирались разные виртуозы и знатные господа, по большей части люди пожилые. Люди средних лет и юноши приезжали только со своими родственниками, и то весьма редко. Кроме того, тетушка принимала ежедневно гостей к чаю, а некоторых к обеду и к ужину. Князь Чванов

приезжал ежедневно и был в доме вроде папеньки. Люди повиновались ему, как своему господину, а тетушка слушалась во всем, хотя иногда и неохотно, как я примечал это. Иногда князь наедине спорил с тетушкой, которая всегда плакала при таком случае, а иногда даже падала в обморок. Тогда князь целовал у ней руки, просил прощения, и дружба снова восстановлялась на прежнем основании. Только я видел ясно и понимал, что посещения князя не нравились тетушке; она всегда морщилась, когда его карета подъезжала к крыльцу, и всегда приятно улыбалась, когда она отъезжала вместе с князем.

Тетушка моя была одна из тех женщин, которые почитают красоту первым достоинством, наряд первою потребностью жизни, а первым наслаждением — удивление мужчин и зависть женщин. Она употребляла большую часть времени на то, чтобы наряжаться и показываться в публике во всем блеске красоты и богатства. Даже любимое ее занятие, музыка, служило ей только предлогом к привлечению в дом свой людей хорошего общества, которые для того именно принимали на

себя название *любителей* сего искусства. Она была вдова одного итальянца, по имени Баритоно, который некогда занимался преподаванием уроков музыки и пения. Я ничего не знал о происхождении моей тетушки, и она никогда ни с кем не говорила ни о своих родственниках, ни о месте своего рождения. Она называла себя русскою и ездила иногда в русскую церковь к обедне и к вечерне, но только в большие праздники. В то время, когда я вошел к ней в дом, она была особенно дружна с одним молодым, небогатым дворянином, служившим в Москве, Семеном Семеновичем Плезириным. Он исполнял все поручения тетушки, сопутствовал ей в театр, в концерты и на прогулках и несколько раз в сутки забегал в дом, но всегда в такое время, когда не было старого князя Чванова. Плезирин только на музыкальных вечерах являлся иногда к тетушке в присутствии князя и тогда обходился с ней с холодною вежливостью, как будто между ними не было тесного знакомства, а только музыкальная связь. Другим поверенным тетушки был французский аббат Претату, человек лет сорока пяти, приятной наруж-

ности и весьма веселого нрава. Он был домашним другом князя Чванова, жил у него в доме, на всем готовом; получал жалованье, или, лучше сказать, пенсион за воспитание сына (который уже находился в службе, в Петербурге); управлял его библиотекою, заведовал картинами и был поверенным во всех тайных делах. Аббат Претату также бывал почти всякий день у тетушки, но никогда не встречался с Плезириным. Тетушка во всем соблюдала большой порядок и всякому делу, всякому посещению назначено было свое время. В доме ее было четыре входа, каждый из особой комнаты и с особой стороны: один с улицы, другой из-под ворот, третий со сквозного двора, четвертый из саду. Гости входили и выходили, не встречаясь друг с другом, если этого желала тетушка. Все, посещавшие тетушку, оказывали ей самую нежную дружбу, и я весьма удивлялся, что те самые господа, которые в доме у нее были столь обходительны, даже не кланялись ей на улицах и в театре, когда были с другими женщинами, но отворачивались всегда, как будто не замечая тетушки. Женщины же поглядывали на нее с

улыбкою или исподлобья и, глядя не нее, всегда почти перешептывались между собою. Но тетушка моя была так добра, что ни на что не гневалась. С служителями своими она обходилась весьма ласково и только иногда сердилась на свою горничную, когда она, помогая ей наряжаться, делала что-нибудь неловко, неохотно или медленно. Но маленькую свою вспыльчивость она всегда вознаграждала ласковым словом и подарками, и потому горничная ее служанка была к ней привязана, даже более других слуг. Одним словом, тетушка была любима всеми, кто только знал ее; а я, хотя после всех узнал ее, любил более всех, и сам был первым предметом ее нежности и попечений.

У меня была своя комната, с чистою постелью и комодом, наполненным платьем и бельем. Тетушка и служанка кормили и приглаживали меня с утра до вечера. Всякий день тетушка возила меня с собою прогуливаться и утешалась громкими похвалами моей приятной наружности. Все ее знакомые и приятели ласкали меня и дарили конфетками и игрушками. Прошло три месяца от перемены

моей участи, и я не мог еще опомниться. Иногда во сне представлялось мне прежнее мое положение: тогда я пробуждался с воплем и начинал горько плакать, опасаясь возвращения жесткой существенности. Я всегда рассказывал ужасные мои сны тетушке, которая утешала меня уверениями, что мои несчастия никогда более не возобновятся. Наконец, мало-помалу, я начал забывать о прежнем моем состоянии. Это даже простительно в детских летах. Сколько взрослых людей забывают в счастии, чем были прежде, и, что еще хуже, избегают людей, которые вывели их из беды! По крайней мере, я не похож был на них в этом: я обожал мою тетушку.

Однажды Плезирин пришел весьма рано, не в обыкновенное свое время. Подали кофе, и тетушка призвала меня в свою комнату.

— Ваня, надобно учиться, — сказала она. — По моему расчету, тебе должно быть от роду, по крайней мере, двенадцать лет. Семен Семенович приискал для тебя учителей. Ты станешь учиться по-французски, по-немецки, играть на фортепиано и танцевать. Хочешь ли ты?

— Как не хотеть, если это вам угодно, тетушка, — отвечал я.

— Помни, что если ты станешь хорошо учиться, то будешь всегда так же хорошо одет, как теперь, и будешь всегда иметь хорошее кушанье; а если не будешь ничего знать, то можешь быть опять несчастлив. — Дрожь проняла меня от сих слов, и я трепещущим голосом сказал:

— Я стану прилежно учиться, тетушка!

— Хорошо, Ваничка, — возразила она и, оборотись к Плезирину, примолвила: — Я вам уже сказала, что он должен иметь фамилию: этот день должен все решить, — придумайте.

Плезирин задумался, прошел несколько раз по комнате и сказал:

— Вы мне говорили, Аделаида Петровна, что узнали своего племянника по удивительному его сходству с покойным отцом, а удостоверились в подлинности своих догадок по рубцу, оставшемуся на его плече от выжженного в его младенчестве нароста.

— Точно так, — отвечала тетушка.

— Итак, ваш племянник должен называться Выжигиным: это характеристическое про-

звание будет припоминать ему счастливую перемену в его жизни от этой приметы — и... Тетушка не дала ему кончить:

— Прекрасно, прекрасно! — воскликнула она. — Отныне Ваня будет называться Иваном Ивановичем Выжигиным. Слышишь ли, Ваня?

— Слышу.

— Ну, как тебя зовут?

— Иван Иванович Выжигин.

— Очень хорошо, — сказала тетушка. — А кто ты таков?

— Племянник Аделаиды Петровны Баритоне.

— Нельзя лучше, — сказала тетушка. — Теперь помни, что твой отец был чиновник из дворян и назывался Иванов; он даже составил себе порядочное имение, но, по несчастью, разорился и умер, во время твоего детства; а мать твоя, моя сестра, также дворянка, вышедшая по любви замуж, умерла на другой день после твоего рождения на свет. Как у отца твоего не осталось родственников, то тебе все равно как называться. Ивановым или Выжигиным.

Я молчал и слушал.

— Теперь, Ваня, ступай в свою комнату, — сказала тетушка, — завтра начнутся твои уроки.

Плезирин, который любил подшучивать, сделал мне поклон, примолвив:

— До свиданья, Иван Иванович Выжигин: прошу любить и жаловать своего крестного папеньку.

Тетушка засмеялась и сказала:

— Позволяю любить, но запрещаю походить на него, чтоб не заслужить названия — manvais subject (негодяя).

Это французское выражение я знал давно, потому что учителя называли таким образом, за глаза, детей г. Гологордовского и Скотинки, и потому я за долг почел отвечать:

— Не бойтесь, тетушка, я постараюсь быть не похожим на Семена Семеновича.

На другой день явились учителя. Засыпанный табаком немец, г. Бирзауфер, старик, с багровым лицом, на котором цвели лавры Бахусовы. Г. Феликс, молодой француз, работник с помадной фабрики, который, обучая грамоте начинающих, сам учился ремеслу

учителя и гувернера. Г. Шмир-нотен, также немец, учитель музыки и пения, хотя знал очень хорошо теорию музыки, но играл на фортепиано так дурно и ревел так громко и нескладно, что все в доме затыкали себе уши, когда ему приходила охота петь или играть после урока. Танцевать я обучался в танц-классе, у одного хромого театрального танцора, сломавшего себе ногу в роли какого-то чудовища, при представлении волшебного балета. Мои учителя языков следовали противоположным методам. Когда я научился читать, немец стал мне вбивать в голову грамматические правила, а француз, мало заботясь о грамматике, заставлял меня выучивать наизусть как можно более слов и речений. Как у нас в доме беспрестанно болтали по-французски и все почти гости, наперерыв друг перед другом, экзаменовали меня в моих успехах во французском языке, то я весьма скоро сам стал болтать и совершенно понимать все разговоры, к большой радости тетушки. Когда я уже понимал, что читаю, г. Феликс стал учить меня грамматике, то есть: растолковал, что значит роды, имена существительное и при-

лагательное; научил употреблять члены (les articles) и спрягать глаголы вспомогательные. Чрез год я уже говорил по-французски почти так же хорошо и, по крайней мере, так же смело, как другие наши знакомые; а в немецком языке едва дошел только до склонений. На фортепиано я играл гораздо лучше моего учителя и пел так приятно, что даже на наших музыкальных вечерах певал соло. Танцы были для меня наслаждением: в течение года я выучил не только вальс и кадриль, но и менуэт, аллеманд, матрадур, тампет и все тогдашние модные прыжки. На четырнадцатом году от роду и в один год воспитания я был, по словам тетушки: un jenne homme accompli (совершенный юноша): болтун, ловок, смел и даже дерзок: все эти качества назывались признаками гения. В совете друзей тетушкиных положено было отдать меня в лучший пансион, чтоб сделать из меня *ученого*. Князь Чванов взял на себя платить за мое воспитание. Но как тетушка ни под каким видом не хотела расстаться со мною, то в день моих именин, когда, по расчету тетушки, мне исполнилось четырнадцать лет, меня записали

полупансионером в учебное заведение г. Лебриллияна, где обучались дети лучших русских фамилий. Мне накупили разных книг, подарили богатый портфель, и я начал прилежно посещать классы, примечая, что мои успехи в науках доставляют тетушке радость, а мне подарки.

Я обещал тетушке быть лучше детей Гологордовского и Скотинки, но как одни причины производят одни последствия, то я от баловства приобрел те же пороки. Меня все хвалили и ласкали в глаза: я сделался горд и возмечтал, что я лучше всех. Мне ни в чем не отказывали и тем самым возбуждали более желаний, потому что прихоти рождаются по мере возможности удовлетворять их. В пансионе взрослые мальчики (насмотревшись дома на занятия родителей) играли между собою в карты, угощали друг друга завтраками, и тот из нас, кто мог издерживать более, пользовался уважением своих товарищей. Когда у меня недоставало денег на мои забавы, я выдумывал необходимые надобности и, не смея открываться тетушке в том, что мы делали украдкою, просил денег на книги, краски,

циркули, бумагу и таким образом научился лгать и обманывать. Тетушка и знатные господа, ее приятели, исполняли мои желания и не противоречили мне, и так я почитал непростительным проступком в слуге, если он медлил исполнять мои приказания, а от этого сделался груб в обращении с слугами, взыскателен и капризен. С бедными товарищами моими я обходился дерзко, с богатыми — надменно, почитая себя богаче первых и лучше других. Учителей и гувернеров я не боялся и не уважал оттого, что содержатель пансиона, опасаясь лишиться покровительства князя Чванова и подарков тетушкиных, льстил мне, смотрел сквозь пальцы на мои шалости и не удовлетворял жалобам учителей. Итак, я невольно сделался во всем похожим на тех детей, которые прежде казались мне столь несносными. Я даже потерял охоту учиться, потому что голова моя всегда занята была чем-нибудь другим. Но, по счастью, необыкновенная моя память и врожденная понятливость заменяли прилежание: слушая уроки мимоходом и никогда не уча наизусть, я знал лучше других все, что преподавали у

нас в пансионе, кроме, однако ж, математики. Изучение ее требует непременно постоянного занятия, повторений и выписок, и как это было не по моему вкусу, то я решительно объявил тетушке, что не имею никакой склонности и способности к математике. Она, посоветовавшись с г. Плезириным и аббатом Пре-тату, уволила меня от математических лекций, и все мои познания в сей науке ограничились арифметикой.

Глава X
Экзамен в пансионе. Искуситель. Новый приятель тетушкин Что-то похожее на первую любовь. Отъезд из москвы

Быстро летит время детства. Я рос, роскошествовал в доме тетушки, учился, шалил в пансионе и не имел времени замечать, что происходило в нашем доме, а потому и умалчиваю об этом. Наступило время торжественного испытания в пансионе и выпуска из верхнего класса, в котором я был один из лучших учеников. Старшему из нас было не более семнадцати лет от роду, но все мы почитали себя достойными занять первые должности в государстве и сожалели о потерянном времени не для ученья, а для выслуги офицерского чина. С нетерпением ожидали мы экзамена, о котором посланы были повестки к родителям за две недели вперед. Начались приготовления. Каждому ученику даны были

прежде вопросы и ответы для выучения наизусть, и учителя ежедневно делали репетиции, обучая нас по разным условным знакам, что должно отвечать, если кто-либо из посторонних спросит о том, что не было означено в прежних вопросах. Например, все пуговицы на фраке и на жилете у учителей языков означали части речи и все грамматические правила. Все их движения имели особенные значения. Нос у профессора фортификации значил бастион, рот крепостной ров, зубы палисады, подбородок гласис, глаза флеши, затылок тетдепон и т. п. Голова учителя географии представляла Вселенную. Маковка на голове его означала зенит, а подбородок надир; щеки поворотные круги, нос эклиптику, коса первый меридиан, рот океан, глаза неподвижные звезды и т. д. Кроме учителей ученики также научились помогать своим товарищам посредством знаков. Г. Лебриллиян изготовил аттестаты каждому ученику для представления родителям, родственникам и опекунам. Хорошая или дурная аттестация в науках и поведении зависела не от успехов и нравственности учеников, но от знатности,

богатства, щедрости и степени привязанности родителей и родственников к детям. От кого г. Лебриллиян надеялся получить более выгод, тот получал лучший аттестат, а как нельзя было предполагать, чтоб в пансионе не было шалунов и ленивцев, то дурные аттестаты определены были детям отсутствующих родителей, сиротам, о которых опекуны, по обыкновению, мало заботились, и двум бедным пансионерам, которых г. Лебриллиян воспитывал даром, для того чтобы прославиться добродушием и щедростию. Всем ученикам, которые должны были получить награды, разумеется купленные на их же деньги, и хорошие аттестаты, сказано было об этом прежде, под секретом и поручено пригласить на экзамен как можно более родственников и знакомых. Наконец, после успешных приготовлений, наступило торжество.

Зала была наполнена посетителями, чиновниками, дамами и учеными, которые были в дружеских связях с г-м Лебриллияном. Торжество открыто было речью на французском языке, которую произнес я с величай-

шею смелостью. Речь сочинил аббат Претату, а поправляли все учителя, включая в то число и учителя чистописания. За предпочтение, которого я удостоился, тетушка подарила жене г-на Лебрил-лияна кусок шелковой материи и несколько аршин кружев, полученных ею в подарок от князя Чванова. Испытание взрослых учеников шло довольно успешно благодаря условленным знакам. Многие из посетителей, друзья наших учителей, делали нам трудные вопросы, о которых мы знали прежде, — и неопытные родители удивлялись нашим познаниям. Но между нами было несколько тупоумных, которые никак не могли вытвердить наизусть ни заданных вопросов, ни условных знаков, и от этого произошло несколько весьма странных недомолвок и перемолвок. Например, у сына обер-секретаря спросили: «Какого рода занятием или промышленностью приобретается более наличных денег в государстве?» Тщетно учитель статистики запускал руку в боковой карман, что, по условию, означало «торговлю», — юноша, наслушавшись от родителей суждений по сему же предмету и думая, что даст

надлежащий ответ, сказал: «тяжбами!» Все засмеялись, и отец юноши закрыл лицо платком, как будто утирая пот. У другого ученика, сына богатого и надменного стряпчего, спросили: «Какие „вспомогательные глаголы“ в русском языке?» Он молчал. Отец его, недовольный этим, с досадою сказал:

— Ваня, разве ты забыл здесь то, чему научился еще дома? Кто-то шепнул Ване на ухо, и он отвечал:

— У *нас* вспомогательные глаголы: *лгать* и *брать*.

Хохот снова поднялся во всех концах залы, и гордый стряпчий побагровел от злости. Г. Лебриллиян, для избежания соблазна, стал сам спрашивать учеников. Он экзаменовал так искусно, что все отвечали удачно, к величайшему удовольствию матушек и тетушек. Вот несколько примеров педагогики г. Лебриллияна.

— Как называется главный город в Испании? — спросил Г. Лебриллиян. — Не Мадрид ли?

— Мадрид, — отвечал ученик.

— Прекрасно. А при какой реке он лежит?

Не при Мансенаресе ли?

— Мадрид лежит при реке Мансенаресе, — отвечал ученик проворно и громко.

— Очень хорошо, очень хорошо; садитесь. Теперь скажите мне, вы, г. NN, справедливо ли называют Волгу самою большою рекою в Европейской России?

— Самая большая река в Европейской России есть Волга, — отвечал ученик скороговоркою.

— Очень хорошо, прекрасно. Скажите мне, г. NN, кто был первым римским императором, когда Август принял первый императорское достоинство?

— Август, — отвечал ученик.

— Очень хорошо, — сказал г. Лебриллиян.

Таким-то образом все ученики отвечали удовлетворительно на вопросы г-на Лебриллияна, и нежные родители согласились единодушно, что в пансионе обучают прекрасно и если дети иногда отвечают невпопад, то это от того только, что их не умеют спрашивать так умно, как ученый г. Лебриллиян.

Экзамен продолжался два часа; после того нам роздали награды и аттестаты, при звуке

труб и литавров, и отпустили с родителями. Мужчины, то есть приятели содержателя пансиона и учителей, помогавшие им испытывать нас, по условным знакам, и домашние друзья богатых родителей остались обедать у г-на Лебриллияна, к которому для этого еще накануне принесены были корзины с вином из разных домов. Три дня сряду не было ученья в пансионе оттого, что гг. учителя отдыхали после пирушки.

Я хотя уже кончил курс наук, преподаваемых в пансионе, но, по совету аббата Претату, должен был продолжать слушание лекций в пансионе, пока будет придумано, что со мною должно делать. Я из другой комнаты слышал, как аббат давал тетушке наставления по сему предмету.

— Пускай Ваня ходит в пансион, — сказал аббат. — Вам это ничего не стоит, ибо платит за него князь. Это нужно не для наук, но для того, чтоб он не научился дома тому, чего ему знать не следует. Юность любопытна и сметлива, а наш Ваня всегда был умен и догадлив не по летам. Вы понимаете меня? Мы скоро его пристроим.

— Пусть будет по-вашему, — отвечала добрая моя тетушка. — Из любви к нему я готова на все.

Как скоро классные мои товарищи оставили пансион, я почитал себя выше всех и вовсе перестал учиться. В классах я читал книги, которыми наделял нас общий пансионный знакомец, Лука Иванович Вороватин[15]. Он не был знаком с моею тетушкой, и меня ввели к нему мои товарищи. Лука Иванович жил напротив нашего пансиона и был в приязни не только с г-м Лебриллияном, но со всеми учителями и гувернерами, а потому, в свободное от ученья время, позволяли пансионерам ходить к нему и оставаться иногда до полуночи. Лука Иванович обучал нас играть во все карточные игры, и даже в банк и в штос, позволял нам курить трубки, потчевал вином, пуншем и водкою и забавлял рассказами о любовных своих похождениях. У него была небольшая библиотека заповедных книг и — все соблазнительное, что только ходило по рукам, в стихах и прозе, находилось в его небольшом собрании рукописей. Несколько портфелей наполнены были гравированны-

ми и рисованными картинками, которых он, верно, не смел никому показывать, как только нам, неопытным, и столь же развратным, как и он, приятелям. В беседах своих с нами он беспрестанно насмехался над всеми духовными и гражданскими обязанностями человека, над тяжестью родственных связей и сыновней подчиненности, словом: над всем, что добрые люди почитают священным. Лука Иванович тщательно наблюдал наши склонности, постепенно развивал в нас страсти, возбуждал желания и беспрестанно твердил, что цель жизни есть наслаждение и что при стремлении к какой бы то ни было цели самые скорые и верные средства суть всегда самые лучшие. По правилам г-на Вороватина, для детей была одна только обязанность в жизни, в отношении к родителям, а именно представляться такими, какими они желали видеть своих детей. Откровенность с родителями и со всеми старшими он почитал пороком и глупостью. Адские свои правила г. Вороватин прикрывал названием *новой философии* и под именем *прав натуры* и *прав человека* посевал в неопытных сердцах безверие и

понятия о скотском равенстве. Идеи его нам чрезвычайно нравились, потому что в них находили мы все, что могло льстить нашему самолюбию, и все, чем можно было доказать наше мнимое право на независимость. Мы почитали себя философами XVIII века[16] и всех, кто думал не так, как мы и как г. Воровати-тин, называли варварами и невеждами. Воро-ватин знал все соблазнительные анекдоты о лучших фамилиях и, рассказывая о слабостях родителей, искоренял в сердцах детей семена приверженности и уважения к старшим. Он жил игрою и всякого рода оборотами: давал деньги взаймы богатым наследникам, обыг-рывал их, торговал векселями и вещами, ко-торые он брал в долг в магазинах, и служил любовным агентом и орудием во всех интри-гах старым и молодым, мужчинам и женщи-нам. Вороватина знал целый город, и хотя он не показывался в порядочных семействах в приемные дни, но был весьма часто призыва-ем для совета и помощи к богатым и знат-ным. Лука Иванович имел около сорока лет от роду, был малого роста и сухощавого сло-жения. Волосы имел рыжеватые, лицо блед-

ное, покрытое морщинами, преждевременными следами разврата. Он всегда смотрел, прищуря глаза, и мрачный взгляд его возбуждал какое-то неприятное впечатление. Воровати хвалился, что он уже успел воспитать целое поколение по правилам новой философии, и, в самом деле, величайшие негодяи и развратники в столице были с молодых лет его приятелями. Ни один из них не избегнул бесплатно его наставлений: он помогал им мотать и первый пользовался расстройством их дел. Набожные люди называли Воровати на *демоном*, молодые *весельчаком*, а неопытные юноши, как я уже сказал, — *философом*. В летописях полиции он был известен под именами *фальшивого игрока и аферщика*.

Лука Иванович особенно привязался ко мне, предсказывая, что я буду великим философом и достигну до высокой степени богатства и знатности. Он при мне никогда не говорил дурно о тетушке моей, зная мою к ней приверженность, однако ж запретил мне сказывать ей о нашем знакомстве, говоря, что он личный враг князя Чванова и Плезирина, которые могут оклеветать его пред тетушкою, и

она, по женскому легковерию, разорвет нашу дружбу. Вороватин давал мне даже деньги на игру и на другие мои надобности и не называл меня иначе, как меньшим своим братом. Я был у него в квартире вроде второго хозяина; приходил, когда мне было угодно, делал, что хотел, и, хотя бы его не было дома, приказывал его слугам, потчевал моих товарищей на его счет и распоряжался его имуществом, как своим. Мудрено ли, что такое обхождение Вороватина заставляло меня верить, что он любит меня за одни личные мои достоинства? И это самое привязывало меня к нему. Я даже гордился этим предпочтением. Между нами не было тайн, и я, по желанию его, рассказал ему мои похождения, бедствия моего детства, встречу с тетушкою и наконец показал ему счастливую примету, по которой она удостоверилась, что я племянник ее. Казалось, что со времени моей откровенности Вороватин еще нежнее любил меня. Он был первый, которому я открылся.

Между тем в дом тетушки стал ездить весьма часто один вельможа, который занимал важное место в Петербурге и, получив от-

ставку, переселился на житье в Москву, чтоб наслаждаться свободно приобретенным (не знаю, благо или неблаго) богатством в течение долговременной своей службы. Г. Грабилин имел от роду лет за пятьдесят, но был бодр и силен не по летам. Он был горд, дерзок в речах и поступках, капризен и своим обхождением часто заставлял плакать тетушку. Он был полным хозяином в доме, приставил своих слуг и запретил тетушке принимать гостей без его позволения, кроме нескольких пожилых музыкантов. Грабилин не откликался, не поворачивался и не отвечал, если его не величали превосходительством. Семен Семенович и аббат Претату не смели показываться в нашем доме, и только князь Чванов езжал по-прежнему. Тетушка называла его своим крестным папенькой и благодетелем, и Грабилин не смел противиться князю, а напротив того, воспользовался этим случаем, чтоб свести с ним тесную дружбу. Два старика проводили иногда время, толкуя о политике; а тетушка между тем выходила к соседке, своей приятельнице, поселившейся в другой половине дома, где всегда находила Семена

Семеновича или кого другого из прежних своих знакомых. Государственные дела, в которых старики более не участвовали, до такой степени занимали их, что они, в жару своих споров и пересудов, не заботились даже об отсутствии тетушки. Однако ж со времени появления Грабилина все переменилось в доме тетушкином; даже музыкальные вечера расстроились, и вообще какое-то уныние заступило место прежней веселости. Особенно мне было скучно. Грабилин обходился со мною весьма надменно, едва удостоивал взглядом, журил за каждое нескромное слово, за каждое свободное движение и не любил, чтобы я, по моей привычке, вмешивался в разговоры. Я избегал его присутствия и, под предлогом занятий в пансионе, почти жил у Вороватина.

Вороватин познакомил меня в нескольких домах, куда, без дальних связей, меня приглашали обедать, ужинать и танцевать. Чаще других посещал я одну короткую приятельницу Вороватина, у которой была прекрасная дочь. Матрена Ивановна Штосина, вдовушка лет тридцати пяти, веселая и ветреная, любила светские удовольствия, рассеяние и кар-

точную игру. Она имела довольно обширный круг знакомства в сословии подьячих из разного рода приезжих дворян из губерний. Муж ее был каким-то чиновником на прибыльном месте и оставил ей, после своей смерти, дом и порядочное состояние. У нее почти каждый вечер собиралось множество гостей, мужчин и женщин, играть в карты и говорить о делах. Начинали коммерческими играми, а кончали всегда банком, штосом и квинтичем. Груня, ее дочь, на пятнадцатом году слыла красавицей. Она была задумчивого нрава, проводила большую часть времени одна, в своей комнате, в чтении чувствительных романов и знала наизусть «Страсти молодого Вертера» и «Новую Элоизу». Я имел случай разговаривать с нею весьма часто, в то время когда ее матушка понтировала или забавлялась квинтичем. Мы весьма скоро подружились с Грунею и, после нескольких споров о морали и философии, согласились завести между собою переписку о разных философских предметах, для усовершенствования себя во французском языке и в мудрости. Но мудрость не любит вмешиваться в дела юношей с молодыми

девицами. Вскоре философические наши письма приняли тон писем нежного Сент-Пре и мягкосердной Юлии, и мы, не зная, как и зачем, открывались в любви друг другу и мечтали о будущем нашем блаженстве. Разумеется, что Вороватин был моим поверенным в любви. Он ободрял меня, воспламеняя неопытное мое сердце надеждами и описаниями счастья влюбленных, и советовал, как вести себя с Грунею. В бедствиях дитя скоро созревает, а муж стареет. Только в довольстве и в баловстве юный ум ослабевает и останавливается на посредственности. Но дитя, оставленное самому себе, или погибает или развертывает все нравственные силы с необыкновенною быстротой. Я уже сказал, что меня с самого детства почитали умным не по летам. Физическое мое сложение также развернулось чрезвычайно скоро, при всех удобностях жизни, и я в семнадцать лет казался двадцатилетним юношею. Страсти сильно кипели в душе моей, тысячи желаний обуревали мои мысли, но ни одна страсть не владела мною исключительно. Иногда, смотря на чиновного человека в звездах и лентах или на генерала

в блестящем мундире, я мучился несколько дней честолюбием и делал планы, как достигнуть почестей. В другой раз, блестящий экипаж, богатое платье, великолепный дом заглушали в сердце моем голос честолюбия и порождали желание богатства: я томился над придумыванием средств к составлению, в скорейшем времени, огромного состояния. Иногда желание славы волновало мою душу — и я изобретал проекты, как заставить говорить и писать обо мне в целом мире. Наконец, вид прелестной женщины, прохаживающейся под руку с мужчиною, посевал в сердце моем желание обладать подобным сокровищем — и я думал о любви и о женитьбе. Страсти мои сменялись вместе с получаемыми мною впечатлениями, не оставляя в сердце никаких следов. Но наконец дружба моя с Грунею, ежедневная переписка с нею и частые свидания открыли мне новое поприще и поглотили все прочие зародыши страстей. Я старался уверить себя, что я влюблен, что я должен быть влюблен, что не могу быть невлюбленным. Груня была прекрасна, умна или, по крайней мере, занимательна для ме-

ня своею беседой, в которой всплывала наверх начитанность французских романов. Она любила меня, и я, в моем воображении, прибавлял к ее истинным, добрым качествам все возможные совершенства и составил идеал, который мне угодно было назвать Грунею. Принуждая себя думать о моей любви, я беспрестанно мечтал о Груне и во всех случаях искал применения к моей страсти. Если, во время моих прогулок, я слышал, что какой-нибудь ямщик или сиделец запоет песню: «*Очи, мои очи, вы ясные очи*!» — я тотчас приводил себе на память темно-голубые глазки моей Груни. Если я слышал, что кто-нибудь скажет о женщине: «Ах, как она мила!» — я говорил про себя: а моя Груня гораздо милее! Говорили ли о ком, что он счастлив с своею женой, — я думал: а я буду гораздо счастливее с моею милою Груней. Одним словом, Груня была у меня беспрестанно на сердце и на уме и я старался, чтоб она была также перед моими глазами и на языке: для этого, если я не мог быть с нею, то бывал всегда с Вороватиным, с которым мог смело говорить о моей любви.

На пятнадцатом году городские девицы уже не дети: Груня любила меня более сердцем, нежели воображением. Ум ее трудился только в приискании для меня имен романических героев и выражений нежности. Сердце ее было занято мною вполне. Она проводила ночь без сна и в слезах, если не видела меня целый день. Когда я не мог быть у нее, то должен был, по крайней мере, пройти мимо ее окон и подать условный знак рукою, что я доволен ею и получил ее письмо. Когда мы бывали наедине, величайшее наше наслаждение состояло в том, чтоб смотреть друг другу в глаза, держась за руки, и повторять тысячу раз сказанные нежности, которые казались нам, а по крайней мере ей, новостями. Груня любила гладить своею ручкою мои полные, румяные щеки, а я играл ее мягкими локонами. Разумеется само собою, что я тысячу раз клялся ей ни на ком не жениться, кроме ее; а она клялась не выходить замуж ни за кого, кроме меня. Но когда и как — об этом мы вовсе не думали. Нам казалось самым обыкновенным делом обвенчаться и зажить припеваючи. Я с нетерпением ожидал позволе-

ния оставить посещения пансиона и сбросить с себя звание ученика. Об этом я решился просить тетушку.

Однажды, после обеда, когда тетушка казалась веселее обыкновенного, я приступил к исполнению моего намерения.

— Любезная тетушка! — сказал я. — Вы напрасно платите за меня в пансион. Я знаю наизусть все, что там преподают, и только напрасно теряю время, слушая давно мне известное. По-французски я говорю как француз, по-немецки весьма изрядно, танцую ловко, в истории, географии и других науках знаю столько, сколько сами учителя, а кроме того, по милости вашей, хороший музыкант. Чего мне более надобно? Учителем я не могу и не хочу быть, а для светского человека я даже слишком учен. Вы знаете столько знатных господ, столько важных лиц: переберите всех их беспристрастно и скажите, кто из них знает более меня? Не лучше ли будет, когда я стану дома заниматься образованием своего ума чтением, а вместе с тем искать какого-нибудь счастия службою или чем вам угодно? Подумайте, тетушка и, пожалуйте, не слушайтесь

этого медведя, Грабилина, который для того только советует вам посылать меня в пансион, чтоб избавляться от моего присутствия. — Я приметил, что тетушка покраснела от сих последних слов.

— Делай как хочешь, Ваничка, — сказала она. — Я не хочу принуждать тебя. Я сама вижу, что ты умнее всех, кого только я знаю.

— Итак, с завтрашнего дня конец моему походу в пансион, — сказал я.

— Конец, — повторила тетушка, — только не надобно говорить об этом Грабилину. Ты сиди в своей комнате, когда он бывает у меня, или выходи со двора.

— Прекрасно! — Я бросился целовать тетушку и в тот же день объявил г-ну Лебриллияну, что я уже не стану посещать его пансиона. Как за меня было заплачено за полгода вперед и мы не требовали возврата денег, то он был доволен и дал мне такой великолепный аттестат, на огромном пергаментном листе, что если б верить половине того, что там было написано, то меня бы смело можно было причислить к семи мудрецам Греции. Тетушка и я верили чистосердечно всему напи-

санному в аттестате: она — оттого, что любила меня до безумия, а я — потому, что не встречал до тех пор человека, который бы заслужил мое уважение своими познаниями и умом.

Читатели, вероятно, уже заметили, что до сих пор не было упомянуто о том, чтоб кто-нибудь занимался преподаванием мне правил веры, нравственности и образованием моего сердца. Я сперва был в самом низком сословии людей, а после того разом шагнул на такую степень, которую занимают в свете только дети, рожденные от знатных и богатых родителей. В первом сословии вовсе не занимаются образованием нравственной природы человека, довольствуясь механическим изучением всех телодвижений, нужных для прислуги, точно так, как обучают пуделей носить поноску; в другом звании пекутся единственно о том, чтобы сделать из мальчика человека, во всем похожего на тех людей, которые, по рождению или по богатству, имеют право жить в так называемом большом свете. А как в блистательных обществах не разговаривают ни о религии, ни о философии

и как там вовсе не занимаются ни учеными людьми, ни науками, ни поведением своих знакомых, то французский язык, танцевание и знание светских приличий составляют всю светскую премудрость. За это только платят деньги французским наставникам, и они делают только то, чего от них требуют. Я торжественно признаю г-на Лебриллияна нимало невиновным в том, что я, кончив воспитание в его пансионе, не имел никакого понятия о должностях человека и гражданина. Об этом никто не просил его, а благовоспитанный человек не должен навязываться с услугами, о которых его не просят. Исполнять свой долг по совести есть обыкновение среднего сословия, которое в большом свете называют *дурным обществом*, la manvaise comragnic!

Едва успел я насладиться моею свободою около месяца, как грусть омрачила мое сладкое бездействие. Однажды вечером, когда г-жа Штосина играла в карты, я, по обыкновению, искал случая поговорить наедине с Грунею; служанка, проходя мимо меня, шепнула мне, чтоб я прошел прямо в спальню к барышне. Я застал Груню в слезах. Она сказала

мне, что матушка ее едет вместе с нею в Оренбург, для получения наследства после двоюродного брата своего мужа. Сей почтенный братец был сперва секретарем по соляной части, а после того приставом при меновом торге с киргизцами. Он слыл всю жизнь весьма бедным человеком и даже получал несколько раз денежные пособия от правительства, по недостаточному состоянию; но после смерти его, когда стали опечатывать его имущество, нашли ломбардных билетов и векселей более нежели на полмиллиона рублей. При жизни его не слышно было вовсе об его родне, и даже г. Штосин отрекался от него всякий раз, когда надобно было помочь ему; но лишь только открылось наследство, то появилось несколько дюжин родственников, которые, в память покойного, завели между собою тяжбу. Отъезд г-жи Штосиной назначен был чрез неделю, а возвращение — на неопределенное время. Поплакав вместе, мы повторили наши клятвы в вечной любви и верности и согласились всякую почту писать друг к другу, пока я не найду случая отправиться в Оренбург. Я обещал это Груне, не ду-

мая, каким образом могу исполнить. На другой день я рассказал обо всем другу моему, Вороватину, который тотчас обещал во всем помочь мне и даже отвезть в Оренбург, где, по его совету, мне надлежало похитить Груню, жениться на ней и, в качестве наследника богатого киргизского пристава, требовать своей части судебным порядком, если б г-жа Штосина не хотела отдать нам наследства по доброй воле: Груня, по отцу своему, была настоящею наследницей.

Между тем Грабилин известился стороною, что я уже кончил мое учение в пансионе; и как он прежде выгонял меня из дому в классы, так теперь стал гнать в службу. Я вознамерился употребить отвращение его ко мне в пользу свою.

Напрасно было бы описывать слезы, рыдания, обмороки при разлуке моей с Грунею. Это вещи скучные и всем известные. Лишь только она уехала в Оренбург, я стал искать средства поспешить за нею. Вороватин, сжалясь над моею грустью, вознамерился немедленно проводить меня к моей возлюбленной и даже советовал мне отправиться без позво-

ления тетушки. Но я не соглашался на это и, чрез месяц после отъезда Груни, выманил согласие тетушки следующим образом.

— Тетушка! — сказал я. — Мне обещают хорошее место при Монетном дворе, в Москве. Но как для этого надобно несколько опытности, то один из моих знакомых, служащий по Горному правлению, хочет взять меня с собою в Оренбург. Он пробудет там не более четырех месяцев, для ревизии дел, и я буду при нем в звании письмоводителя. Возвратясь а Москву, я буду иметь право требовать штатного места, и мой покровитель ручается, что я тотчас буду принят в службу по его предстательству и за мои предварительные труды. Согласитесь, тетушка! Не лучше ли, чтоб я обязан был счастием самому себе и своим трудам, нежели вашим приятелям, которые, кажется, не очень меня любят? Вы знаете, что без офицерского чина мне нельзя показаться в люди.

Тетушка долго не соглашалась расстаться со мною, но когда я рассказал г-ну Грабилину эту сказку, вымышленную Вороватиным, то он принудил тетушку отпустить меня. Один

из приятелей Вороватина взялся сыграть перед тетушкою роль чиновника Горного правления и убедил ее поверить меня его попечению, обещая все возможные выгоды по службе. Тетушка снарядила меня в дорогу и порядочно наполнила мой бумажник. Даже Грабилин подарил мне пятьдесят рублей серебром. Добрый старичишка, князь Чванов, который из привычки, сделавшейся неисцелимою, ездил почти ежедневно к тетушке, также дал мне денег и рекомендательное письмо к губернатору. Простившись с тетушкою, я сел в коляску с приятелем Вороватина, а он сам ожидал нас за заставою. Я был точно как в горячке от борения противоположных чувствований, любви к тетушке, сожаления и грусти, что оставляю ее, и радостной надежды на свидание с Грунею, на женитьбу, приобретение богатства и независимости. Рассеянность дороги несколько успокоила меня; но я невольно всегда думал более о тетушке, нежели о Груне.

Глава XI
Я узнаю короче Вороватина. Подслушанный разговор Предчувствия. Капитан-исправник

— Сколько у тебя денег? — спросил меня Вороватин на первой станции.

— Сто пятьдесят рублей серебром.

— Прекрасный капиталец! — воскликнул Вороватин. — В твои лета немногие имеют столько денег в руках. Ты богаче меня, Ваня. Справедливость требует, чтобы ты платил за половину путевых издержек.

— Я иначе и не думал, — отвечал я, — и хотел рассчитаться с вами по приезде на место.

— Это все равно, — сказал Вороватин, — но как ты еще не привык обращаться с деньгами, то отдай их мне, на сохранение.

— Они, кажется, лежат безопасно в моем чемодане.

— Они лучше будут лежать в моем сундуке, под замком, — возразил Вороватин.

— Как вам угодно! — сказал я и тотчас от-

дал ему мои деньги, оставив себе несколько серебряных рублей, на мелочные издержки. Несколько станций Вороватин был молчалив и задумчив; наконец он завел разговор самым важным и холодным тоном.

— Неужели тетушка не говорила тебе никогда о твоем отце? — спросил Вороватин, устремив на меня проницательный взгляд.

— Ничего, кроме того, что я вам сказал.

— Странно, очень странно! — проворчал Вороватин.

— Я не вижу ни малейшей странности, — сказал я. — Если б в жизни моего покойного отца было что-нибудь любопытное, то тетушка, верно, рассказала бы мне. Не знаете ли вы чего-нибудь? — примолвил я, смотря также в глаза Ворова-тину. — Вы очень обяжете меня, если скажете что-нибудь на этот счет.

— А мне почему знать! — отвечал сухо Вороватин.

— Если это так мало вас беспокоит, то зачем же эта недоверчивость?

— Ты еще не знаешь женских уловок и хитростей, — сказал Вороватин. — Когда потерпишь от них, тогда будешь к ним недовер-

чив.

— Я не имею ни малейшей причины не доверять моей тетушке, которая любит меня как родного сына, сделала для меня все, что только была в состоянии сделать, и готова всем для меня жертвовать.

— Вот в том-то и сила, — возразил Вороватин. — И трудно верить, чтоб тетушка твоя, любя тебя, никогда не говорила тебе о состоянии твоего отца, о будущих надеждах и разных приключениях.

— Хотя вы и давали мне советы, чтоб я не был никогда искренен, но я еще не научился следовать в точности вашим наставлениям, — сказал я с некоторою досадой. — Повторяю: о состоянии моего покойного отца, об его происхождении тетушка сказала мне все, что почла нужным, а приключения его, видно, незанимательны, когда она об них умолчала. Впрочем, я, возвратись в Москву, расспрошу ее подробнее об этом предмете, который до сих пор почитал маловажным.

— Теперь поздно, — сказал Вороватин, с притворною улыбкой.

— Почему же поздно? — спросил я.

Вороватин вдруг засмеялся каким-то ужасным смехом и сказал:

— Поживем — увидим! — Он обратил разговор на другие предметы и старался меня рассеять; но у меня налегла грусть на сердце: я был печален и молчалив. С этих пор доверенность моя к Вороватину исчезла и я стал опасаться, чтоб он не повредил мне у Груни, рассказав, чем я был прежде. Он, однако ж, стал по-прежнему ко мне ласкаться и обольщать надеждами насчет женитьбы и приобретения богатства.

Мы остановились ночевать на почтовом дворе, в одном небольшом городке. К вечеру приехал на перекладных какой-то человек средних лет и остановился также на ночлег. Я приметил из окна, что Вороватин фамильярно поздоровался с новоприезжим, который, однако ж, наблюдал подчиненность в обращении с ним и не прежде надел картуз, как Вороватин велел ему накрыться. Они отошли за угол дома, к стене, где не было окон, и стали между собою разговаривать; но как ветер был с той стороны, то я, перешед в угольную комнату, слышал часть их разговора.

— Ты слишком поторопился, Пафнутьич, — сказал Вороватин. — Надобно было бы подождать, пока я обживусь на месте и обдумаю способы. Ведь нельзя ж камень на шею да в воду.

— Уж это не мое дело, как сбыть его с рук, — отвечал новоприезжий, — но графиня не давала мне покою и насильно выгнала в дорогу. Говорят, что граф возвращается в Москву…

Тут ветер прихлопнул ворота, и я от скрипа и стука не слыхал конца речи.

— Виноват ли я, — сказал Вороватин, — что графиня не хочет спровадить его с этого света? Уж где только совесть замешается в дела…

Извозчик, бывший на дворе, кликнул громко своего товарища, и я снова не дослышал конца речи Вороватина. После того незнакомец сказал:

— Мне велено остаться при вас до конца дела, помогать вам во всем и после немедленно возвратиться к графине, в подмосковную…

При сих словах Вороватин и незнакомец вышли за ворота, а я остался у окна в недо-

умении и беспокойстве насчет слышанного. Нельзя было сомневаться, что Вороватин замышляет какое-то злодейство, и я, зная образ его мыслей, был уверен, что ни страх Божий, ни совесть не удержат его от преступления. Но кто эта несчастная жертва, на погибель которой составлен заговор? Какая это графиня, которая с нетерпением ожидает известия о несчастии ближнего? Кто этот граф? Кто таков новоприезжий? Эта тайна, в которой я предусматривал чью-то погибель, терзала меня. Я чувствовал, что напрасно было бы спрашивать Вороватина и сказать ему, что я подслушал часть разговора его с незнакомцем. Я даже опасался, чтоб открытием его замыслов не навлечь на себя его гнева и даже мщения; итак, я решился молчать, наблюдать и, если будет возможность, воспрепятствовать исполнению злого намерения. Мучимый сими мыслями, я прохаживался по комнате в сильном душевном волнении. Сердце мое сильно билось, голова казалась тяжелою, во рту было сухо. Я пошел в комнату станционного смотрителя, чтоб напиться воды, и случайно увидел подорожнюю новоприезжего. Из нее

узнал я, что сообщник Вороватина коломенский мещанин, Прохор Ножов, и что он едет из Москвы в Оренбург.

Для рассеянья пошел я прогуляться по городу. Но в наших заштатных городах мало развлечения для путешественника. Вот что видел я, бродя из конца в конец, по мосткам: оборванные мальчишки, голодные собаки, рогатый скот и домашние птицы дружно топтали грязь на средине улицы. Старухи, поджав руки, стояли у ворот бревенчатых домов и оговаривали соседок или перебранивались между собою. Взрослые мужчины толпились перед питейным домом, где заседали старики, а юноши с балалайками и варганами расхаживали перед окнами, из которых выглядывали иногда миленькие женские личики. В нескольких местах слышны были звуки заунывных песен, и, для оживления картины, в двух местах смиренные граждане тягались за волосы, в кругу добрых соседей и приятелей, а нескольких почтенных и чадолюбивых отцов семейства, упитанных благословенными дарами откупщиков, вели под руки дюжие парни, распевая плясовые песни. Это был

праздничный вечер.

Город был не что иное, как обширное четвероугольное пространство, обнесенное полуразрушившимся плетнем; три четверти огороженной земли заняты были выгоном. В середине всего объема лежала широкая улица, или, лучше сказать, почтовая дорога: по обеим сторонам ее, за рвами, выстроены были небольшие деревянные домики и лачуги. Вправо и влево было несколько улиц со вросшими в землю избушками и большими пустыми промежутками, с развалинами плетней и заборов. В середине находилась площадь, на которой возвышалась каменная церковь и полуразрушенное кирпичное здание, где некогда предполагаемо было поместить судебные места. На бумаге этот город занимал весьма много места, и все улицы, означенные в натуре взрытою землею и следом бывших рвов, представляли на плане прекрасную перспективу. Жаль только, что кучи навоза и разбросанные в беспорядке гряды заменяли место большей части домов, прекрасно нарисованных губернским архитектором. Читатели мои, конечно, видали много таких городов.

Но как имена их существуют на ландкартах и на планах, хранящихся в межевых конторах, и как места для строения домов означены, и даже фасады придуманы: то кажется, что половина дела уже сделана. Впрочем, никто не виноват: человек предполагает, Бог располагает (1'homme propose Dien dispose)! Города так же невозможно сделать многолюдным, без особенных местных выгод, как произвольно установить вексельный курс.

Возвращаясь на почтовый двор, я застал Вороватина в весьма веселом расположении духа. Он дожидался меня к ужину и между тем, потчевая водкою смотрителя, расспрашивал его про житье-бытье каждого из окрестных помещиков, об уездных чиновниках и обо всех провинциальных новостях. Это делал Вороватин на каждой станции и, поверяя слова смотрителей с рассказами ямщиков и содержателей питейных и постоялых дворов на большой дороге, составлял из этого свои замечания и записывал в свою памятную книжку. Когда я однажды спросил его о причине сего любопытства, Вороватин отвечал хладнокровно:

— Почему знать, с кем придется иметь дело в жизни! Но когда знаешь образ мыслей и поступки многих людей, то при случае можно употребить это в свою пользу. Я почитаю людей аптекарскими материалами, которых свойства надобно знать, чтоб пользоваться ими. В светском быту, так как в экономии природы, ничто не пропадает, если умный человек знает, как употребить различные качества и страсти людей. Яд в руках мудрого служит к исцелению недуга, и величайший плут или глупец также может быть иногда полезен умному в его делах. — Вороватин, сказав мне это, кончил, по своему обыкновению, смехом, примолвив: — Запиши, Ваня, это нравоучение в своем календаре. Это одно из важных правил моей философской школы. — Я тогда принял это за шутку, но после подслушанного мною разговора расспросы Вороватина производили во мне неприятные впечатления; ибо я знал, что они могут клониться к какой-нибудь вредной цели.

Есть люди, которые думают, что грусть можно утопить в вине. Я не испытал этого на себе в течение жизни. В первый раз я хотел

противу воли есть и пить, но вино казалось мне желчью, а пища безвкусною и тяжелою как камень. Проницательный Вороватин приметил, что я не в своем духе, но не отгадал причины.

— Мне кажется, что ты гневаешься на меня, Выжигин? — сказал он.

Я молчал.

— Неужели вопрос мой о твоем отце мог опечалить тебя до такой степени? — примолвил он.

— Не вопрос, но недоверчивость ваша мне весьма неприятна, — отвечал я.

— Итак, извини, любезнейший! — воскликнул Вороватин, обнимая меня. — Верь, что я расспрашивал тебя единственно из любви к тебе. Мне сказали в Москве, будто после отца твоего осталось именье, будто тетушка присвоила его себе и Бог весть что, и я хотел только выведать, знаешь ли ты об этом.

— В таком случае надлежало бы сообщить мне ваши сомнения, без обиняков. Раздумав хорошенько, я сам чувствую, что в моей краткой жизни весьма много непонятного. Может ли быть что страннее, например, как то, что

дворянский сын был брошен, как котенок, на произвол судьбы, в имении Гологордовского и что никто не отыскивал его и не заботился об нем, до случайной встречи с тетушкою? Но чтоб это сделано было для лишения меня богатства, этому я не могу верить, получив столько доказательств любви тетушки. Она готова отдать за меня жизнь свою, не только все, что имеет, и если б выгода ее состояла в том, чтоб я не знал моих родственников, то она никогда бы не призналась ко мне.

— Ты рассуждаешь, как книга, — отвечал Вороватин, — но я столько испытал в жизни, что привык ничему не верить, кроме дурного.

— Сожалею об вас, — сказал я, — и желал бы отдалить от себя эпоху этой горькой опытности.

— Согласись, однако ж, — примолвил Вороватин, — что весьма удивительно или, лучше сказать, непостижимо, что тетушка узнала тебя в магазине, не видав от пеленок!

— Не спорю, что это должно казаться вам удивительным, но оттого только, что я не объяснил вам всех обстоятельств. У тетушки моей есть два весьма схожие портрета моего

отца: один, писанный в его детстве, именно в том возрасте, в котором она встретила меня в магазине; другой, на 25-м году от рождения, в год его женитьбы на моей покойной матушке. Я видел эти портреты и признаюсь, что такого сходства, как между мною и отцом моим, трудно найти в целом мире. Здесь даже две капли воды недостаточны для сравнения. Тетушка говорит, что, кроме того, голос мой, походка, улыбка и даже все ухватки день ото дня становятся более и более сходными с отцовскими и что кто раз в жизни видел моего отца в молодости или на портрете, тот с первого взгляда узнает во мне его сына. Итак, видите, что нимало не удивительно, когда тетушка, имея всегда на туалете эти два портрета и рассматривая их ежедневно, поражена была сходством моим с отцом при первой встрече и что, зная мою примету, удостоверилась, что я точно ее племянник. Надобно более удивляться моей ветрености и беззаботности, что мне никогда не пришло в голову расспрашивать тетушку о моих родителях.

Вороватин слушал меня внимательно, пристально смотрел мне в глаза и погрузился

в размышление. Наконец он встал из-за стола и сказал:

— Полно говорить об этом. Дело кончено; теперь пора спать.

Долго я не мог сомкнуть глаз. Я в первый раз стал раскаиваться в том, что обманул тетушку, что легкомысленно вздумал влюбиться в Груню, что пустился в отдаленный город искать любовных приключений и связался с безнравственным человеком. Рассудок можно уподобить солнцу, а страсти пожару. Человек, находясь в доме, объятом пламенем и наполненном дымом, не видит солнца. Но когда пожар утихнет, тогда благодетельное сияние дневного светила приятнее и ощутительнее. Рассудок заговорил во мне, и я почувствовал, что поступки мои должны вовлечь меня в неприятные обстоятельства, особенно в обществе Вороватина. Я решился возвратиться в Москву при первом случае, определиться на службу, быть осторожнее в выборе знакомств и никогда более не влюбляться, а главное — отвязаться навсегда от Вороватина. Так обыкновенно мы в дурных обстоятельствах составляем мудрые проекты, которые забываются,

когда беда или опасность проходит.

Я не суеверен, но некоторые предрассудки (если их можно назвать предрассудками) сильно укоренились во мне, и ни лета, ни опытность, ни рассудок не могут истребить их. Главные из них: вера в предчувствия и в физиономические приметы. Этот день был первым в жизни моей, с которого я начал верить в эти, так называемые, предрассудки. Вот в каком состоянии бывал я всегда, когда какое-нибудь несчастие мне угрожало. Сердце мое билось сильнее обыкновенного, ныло, как будто бы на нем была рана; кровь неправильно переливалась в жилах и, доходя до сердца, производила ощущение неприятное. Все, что только я видел и испытал горького в жизни, представлялось тогда моему воображению, и в смешении образовало какую-то мрачную картину в будущем. В этой картине я всегда представлял самое несчастное лицо. Сон мой был беспокойный, тревожимый самыми ужасными сновидениями. Какая-то слабость тела сопровождала этот недуг душевный, и каждый проницательный взгляд на меня, каждый вопрос возбуждали во мне

подозрение; каждый стук или даже громкое восклицание, каждое появление нового, неожиданного лица порождали мгновенный страх. Люди, самые близкие ко мне, в любви и дружбе коих я никогда не сомневался, были мне тогда несносными. С каждым мгновением я ожидал удара судьбы, как осужденный преступник казни, и, признаюсь, редко случалось, чтобы после такого состояния души моей я не впадал в какое-либо несчастие или, по крайней мере, не подвергался неприятности. Что же касается до физиономий, то я первый урок почерпнул в чертах Вороватина, которого стал наблюдать с этого дня с величайшим вниманием, взвешивать все его слова и поступки и всматриваться в черты его лица. С тех пор я не мог преодолеть себя во всю мою жизнь, чтобы не судить о людях по впечатлению, произведенному во мне при первой встрече. Впоследствии я читал сочинения Лафатера[17] и Делапорта о физиономиях, но всегда держусь своей собственной системы и сужу не по чертам лица, но, так сказать, по игре физиономии и по приемам. Если человек смотрит на меня исподлобья или вовсе не

смотрит в глаза, когда говорит, если он процеживает слова сквозь зубы и обдуманно сочиняет речения во время разговора; если он разговаривает со мною вопросами и, всегда требуя моего мнения, безмолвно соглашается со мною или для того только противоречит, чтобы заставить меня полнее изъясниться, — признаюсь, я не верю этому человеку. Принужденная улыбка и ложный смех служат для меня указателями неискренности. Гримасы, делаемые невольно ртом, беспрестанное движение губ и закусывание их для меня дурная примета. Неровная походка, в которой видны какие-то лисьи увертки, сжатие всего тела к одному центру или сгорбление, наподобие кота перед мясом; вытянутая вперед голова, как у змеи, которая хочет броситься на добычу, — для меня отвратительны и обнаруживают дурного человека. Громкое изъявление радости и лобзанье каждого знакомца при встрече мне кажутся весьма подозрительными. Кончу мое небольшое отступление сознанием, что я иногда ошибался в предчувствиях, но никогда не ошибался в физиономиях. Многих физиономических примет

моих я теперь не описываю: читатели увидят их впоследствии из портретов многих лиц, с которыми я встречался в жизни. Что же касается до предчувствий, то я должен сказать, что они всегда случались со мною после какого-нибудь проступка или неосторожности, когда я мог ожидать заслуженной или незаслуженной неприятности от моих врагов. Это было не причиною, но следствием; не предостерегательным гением, наподобие Сократова, но гением известительным. Впрочем, кто имеет дело с самолюбием и страстями людскими, тот весьма часто должен ожидать беды, хотя бы ничего дурного не сделал, а иногда за то именно, чем заслуживаешь похвалу и награду. На свете так водится: кто сам не делает зла, тот должен подвергаться испытанию и терпеть зло от других. Разница доброго человека со злым в этом случае та, что добрый в величайшем несчастии находит утешение в своей совести и в мнении честных людей, а для злого нет ни отрады, ни надежды на тот мир, где сильные не могут давить слабых. Но обратимся к повествованию.

Не умея хорошо притворяться, я не мог

принять на себя веселого вида, а чтобы отвратить всякое подозрение, сказал Вороватину, что чувствую себя нездоровым. Не знаю, поверил ли он мне, но он удвоил свои ласки и внимание ко мне и ухаживал за мною с нежностию отца, что несколько примирило меня с ним. Чтоб дать мне отдохнуть, он остановился на несколько дней в одном уездном городке, лежащем в прекрасном месте, на берегу Волги. Вороватин имел здесь старого приятеля, капитан-исправника, с которым он обходился весьма откровенно. В их беседе я услышал такие вещи, о каких прежде не имел никакого понятия. Как они, в свое время, произвели во мне сильное впечатление, то я сообщу некоторые подробности моим читателям.

Савва Саввич почитался одним из расторопнейших капитан-исправников в целой губернии. Он был исполинского роста и, служив некогда в полицейских драгунах, сохранил военную вытяжку и приемы, держался всегда прямо как палка и поворачивался быстро всем телом. Лета и винные пары до такой степени ослабили корни его волос, что

они все почти вылезли, исключая нескольких клочков на висках и на затылке. Длинный нос его и оконечности тощего лица покрыты были багровым лаком; из-под густых поседелых бровей сверкали небольшие серо-кошачьи глаза. Он ходил всегда в губернском мундирном сертуке и опоясан был поверху казачьей портупеей. Саблю прицеплял он тогда только, когда отправлялся куда-нибудь по должности, а всегдашнее оружие его составляла казачья нагайка со свинцовою пулей, вплетенною в кончик. Голову покрывал он обыкновенно кожаным картузом с стоячею гривкою, что придавало ему воинственный вид. Голос его похож был на рев медведя. Бумажные дела его исправлял старый писец, который три четверти жизни проводил привязанный к столу за ногу. Кроме того, Савва Саввич приказывал снимать с него сапоги, чтоб воспрепятствовать частым отлучкам в питейный дом. Но ловкий писец находил средство напиваться, не вставая со стула. Услужливые присяжные приносили ему вино в аптечных стклянках, по нескольку раз в час, с тех пор как Савва Саввич стал искать

бутылок и штофов в печи, в трубе и даже за обоями. В праздники позволялось писцу упиваться, и тогда обыкновенно его приносили одеревенелого на ночлег в арестантскую и отливали водою. В разъездах по уезду Фомич (так назывался писец) имел также полное право пить мертвую чашу несколько дней сряду, но только по окончании дела, ибо похмелье его сопровождалось трясением руки, что делало его неспособным к работе. Савва Саввич называл Фомича *золотым человеком* и склонность его к пьянству приписывал необыкновенным дарованиям, которые, по мнению старинных людей, не могли процветать, не быв окропляемы водкою, а поэтому надлежало заключать, что и Савва Саввич был гений. Однако ж Савва Саввич был сам большой знаток в делах, особенно в допросах, следствиях и повальных обысках, но только он не умел изливать на бумагу своих мыслей так легко, как лил в горло крепкие напитки; не мог приискать в обеих столицах таких очков, посредством которых можно было бы читать скорописные бумаги, хоть по складам, так как печатное, и, по множеству дел, не

помнил чисел указов. В этом заменял его Фомич. Жители уезда, за исправность Саввы Саввича, прозвали его *серым волком*, а верный его сотрудник, Фомич, прозван был *западней*.

Капитан-исправник пришел к нам на вечер, и когда подали самовар, то он, смочив горло пуншем с кизлярскою водкой, почувствовал охоту к откровенным разговорам. Он начал, по обыкновению, любимым своим восклицанием:

— Худые времена, худые времена: просвещение, юстиция; а денег нет как нет!

— Полно жаловаться на судьбу, Савва Саввич, — возразил Вороватин. — Ведь я знаю, что исправничьи места дорого ценятся; черт бы велел тебе сидеть здесь, когда бы не было поживы.

— Да, куда же прикажешь деваться? — сказал с досадою капитан-исправник. — Ведь только и живешь что старым запасом, а нынешними сборами и прорехи в кармане не заплатаешь. Подумай, что мы должны кормить губернские места, как детки старого батюшку. Что проку, что у меня по счету 9218 душ, ко-

гда эти души в тощем теле!

— Как! — воскликнул я. — У вас 9218 душ, и вы жалуетесь на судьбу!

Капитан-исправник улыбнулся и отвечал:

— Эти души, братец, не мои, изволишь видеть, а казенные, состоящие в моем ведомстве; но кто доит коров, тот может пить и молоко, и нельзя ж требовать, чтоб от казенных сборов не оставалось нам поскребушек, так называемых акциденциями. Но ныне худыя времена, худыя времена! — примолвил он снова. — Просвещение, юстиция; а денег нет как нет! Корчемство выводится, беглецов и бродяг заходит в наш уезд, по несчастию, мало, а потому не к кому привязываться. Уж видно, быть скоро преставлению света! Даже воровство становится редким, а об убийствах почти не слышно. Для нашей братьи, дельцов, так эти новые порядки — моровая язва! Нет дел, нет и поживы. А между тем из губернских мест пописывают к нам да пописывают: соловьев-де баснями не кормят, поклонами шубы не подшить и тому подобное. Беда, сущая беда! Со всех концов подувает к нам каким-то просвещением, и даже подьячие но-

сятся ныне с книгами да подшучивают друг над другом, а в столицах, говорят, даже осмеивают исправных людей не только в театре, но даже в газетах, из того только, что мы хотим есть хлеб насущный за наши труды. Даже и помещики ныне умудрились: не то чтоб по-книжному, но все хотят быть дельцами, и чуть привалит беда, так прямо летят в губернские места или даже в Питер. Лучше накормить волка, говорят они, нежели волченят. Уж правду сказать, за это и я им надоедаю порядочно и держу их в ежовых рукавицах. Чуть проявился один беглый в уезде, я заставляю его в показании обговаривать в приста-нодержательстве всех богатых помещиков и даже крестьян, за вины их господ, и тотчас весь уезд перевертываю вверх дном. Если удастся найти мертвое тельце, то я перетаскиваю его в тридцать разных мест, чтоб после того производить везде следствия. Украденная лошадь ночует у меня, на бумаге, в одну ночь в двадцати конюшнях. Но все это горький хлеб, трудовая копейка! Разъезжай, бегай, пиши, допрашивай, бейся как рыба об лед, из сотенки в одном месте, из полсотенки

в другом, из десятка в третьем. Худыя времена, братец! Просвещение, юстиция! — Савва Саввич запил горе и, стукнув стаканом по столу, погрузился в думу. Вороватин потешался искренностью своего приятеля и снова заставил его говорить.

— А ярмарки, Савва Саввич, а паспорты, а взыскания казенных недоимок и частных долгов, а описи имения, а дворянские опеки, а очереди для починки дорог, а подводы и проч<ее> и проч<ее>?

— Все черт перевернул и перепутал, — отвечал с гневом Савва Саввич. — Игроков мало приезжает на ярмарки, а те, которые приезжают, сами бедны как церковные крысы и не в состоянии хорошо платить за позволение обыгрывать наверную помещиков, которые ныне для моды разоряются в столицах. С паспортов немного доходу: работ в столицах мало; торговля идет плохо, и крестьян немного выходит из уезда в извозы и в работники. Правда, что за потворство при взысканиях казенных недоимок и частных долгов хорошо поплачивают; да ныне предписания строгие, а губернаторы и прокуроры жмут нашу бра-

тью, если мы упускаем из виду казенные интересы. О частных делах ни слова. По мне, хоть будь в долгу как в шелку, лишь сиди смирно да отплачивайся нам исправно. Ни долгу, ни за бумагу и переписку ввек не взыщем. Губернские места и земские суды переписываются между собою по-приятельски, а заимодавец почитывай, если угодно, предписания о взыскании да веселись четким почерком писцов. Этот предмет, благодаря Бога, еще не тронут с места, не ниспровергнут. Дороги, братец, и подводы — пустое! Ведь мы чиним только одни почтовые дороги, и то тогда только, когда проезжает какая важная особа, а на прочих дорогах хоть сам черт шею ломи, — не наше дело! Полки ныне стоят по границам, так и подводы редки. Что же касается до дворянских опек, то ты ошибаешься, друг, приписывая нам поживу. Конечно, с сиротского добра каждому перепадет копейка, но ныне сами дворяне мастера обдирать, как липочку, своих питомцев. Если же кого отдадут под надзор за дурное управление, то в этом имении, уж верно, и крысы околевают с голоду и пожива плохая у дурного правителя.

Нет, братец, худыя времена, худыя времена! Просвещение, юстиция; а денег нет как нет!

— Нет, Савва Саввич, — сказал Вороватин. — Ты теперь сделался скрытным: было время, когда ты хвастал добычей, как искусный стрелок застреленною дичью, а ныне...

— А ныне, — сказал капитан-исправник, — надобно быть осторожным; велят быть честным, — примолвил он и снова повторил любимую свою пословицу: — Худыя времена, худыя времена! Просвещение, юстиция, а денег нет как нет! — Вороватин вышел из комнаты, и капитан-исправник обратился ко мне с речью:

— Вы, как я слышал, родственник г-на Вороватина?

— Да-с.

— Еще нигде не служите?

— Нет.

— Пора, сударь, пора; особенно если хотите идти по статской службе. Ведь приказная грамота, батюшка, море! Всего не выпьешь, а нахлебаться надобно спозаранку. По правде сказать, только те и дельцы, что начали службу с канцелярских служителей. Советую вам не

терять времени...

В это время Вороватин возвратился в комнату, и словоохот-ный капитан-исправник, примечая, что приятель его сделался молчалив и задумчив, начал, в свою очередь, мучить его расспросами. Я пропустил без внимания толки их о разных общих знакомых, но одно обстоятельство сильно меня поразило.

— Послушай-ка, приятель, — сказал капитан-исправник Вороватину, — ведь ты у меня еще в долгу.

— За что? — спросил Вороватин.

— Как! разве ты забыл, что я по твоему письму позволил бежать из тюрьмы мещанину Ножову, на которого донесли, что он ушел из Сибири, куда был послан на поселение? Ты прислал только триста рублей и обещал еще столько же: между тем Ножов гуляет по белу свету, а я денег твоих не видал, как своих ушей. Эдак, братец, не делают *честные* люди.

— Эх, любезный Савва Саввич, — сказал Вороватин, обнимая приятеля, — нам ли считаться безделушками? Ты сделал *доброе* дело. Ножова несправедливо оклеветали, и я, из одного человеколюбия, пожертвовал своими

собственными деньгами за его спасение. Я думал, что он, возвратясь в Москву, заплатит мне и даст еще более для тебя; но он заболел и чрез месяц умер, с отчаянья, жертвою людской злобы.

— Тут что-то не так, — сказал хладнокровно капитан-исправник. — Ножов давно известен полиции, по разным проказам; слух об нем не переводится, и я недавно узнал, что наши купцы видели его в Москве еще прошлою зимой. Нет, как хочешь, а долг за тобой! Ведь я сам насилу отделался по этому проклятому случаю: скушал два выговора, три замечания, да сверх всех расходов заплатил штраф. Еще слава Богу, что прокурорше понравились мои москов-ския сани, а не то быть бы большой беде.

— Хорошо, хорошо, мы с тобой рассчитаемся, — сказал Вороватин. — А теперь ступай-ка спать; у меня разболелась голова. — Савва Саввич поморщился, но в утешение осушил остатки в бутылке и отправился домой. Мы тотчас легли спать. Я всю ночь не мог уснуть, помышляя о связи Вороватина с явным злодеем Ножовым и о подслушанном мною разго-

воре. На рассвете, когда я уснул, страшное сновидение представило мне Ножова, стремящегося раздробить мне топором голову. Я вскрикнул, вскочил с кровати как исступленный и разбудил Вороватина. Он испугался и заключил по моему беспокойному сну, что я точно болен горячкою. Вороватин взялся лечить меня и принуждал пить какую-то настойку на водке. Я не послушался его, и тем кончилось его попечение о моем здоровье. Вороватин, чтоб избавиться от исправника, который припомнил ему о долге, решился тотчас выехать из этого города. Узнав, что Савва Саввич отлучился на несколько часов за город, Вороватин послал за лошадьми, и перед полуднем мы поскакали в Оренбург.

Глава XII
Вольноотпущенный. Лунатик. Обманутая любовь

Мы прибыли в Оренбург около 10 часов утра и остановились на форштате, у мещанина Ивана Карпова, который держал род постоялого двора для знакомых и рекомендованных ему людей. Нам отвели две чистые комнаты, обитые цветной бумагой, а слуга Вороватина, род автомата или машины для снимания сапогов и чистки платья, поместился напротив, в хозяйской половине. Вороватин, переодевшись, тотчас пошел в город, сказав, что он возвратится поздно к вечеру, и советовал мне отобедать дома и отдохнуть после дороги. Оставшись один, я пошел к хозяину, чтоб в разговорах узнать что-нибудь о Матрене Ивановне Штосиной и ее дочери, моей милой Груне, для которой я решился предпринять это путешествие. Хозяин наш, человек лет пятидесяти, прекрасной наружности, роста высокого, широкоплечий, румяный, мог бы служить образцом для изваяния Геркуле-

са. Он был нрава веселого и словоохотен, как вообще все полнокровные и весельчаки. По первому моему вопросу, здешний ли он уроженец или переселенец, он в кратких словах рассказал мне свою историю.

— Я, сударь, родился под Москвою и был крепостным человеком генеральши Волокитиной, богатой вдовы, вотчинницы многих поместьев. Говорят, что я был недурен собой смолоду, и оттого произошли все мои беды, которые кончились счастием, по милости Господней. Генеральша, приехав на лето в нашу деревню, увидела меня на работе и тотчас взяла во двор. Мне было тогда лет шестнадцать от роду, и я был один сын у матери. Отца моего уже не было на свете. Меня остригли по-немецки, нарядили в кафтан с галунами и отдали на руки старому лакею и ключнице, учиться службе. Со слезами променял я свой армяк на шитую ливрею. Дворовые люди всегда казались мне собаками на привязи, и я никогда не завидовал их житью. Впрочем, мне хорошо было в господском доме. Барыня ласкала меня, трепала по щеке, гладила по голове и посылала мне со стола подачки. Слу-

жанки посматривали на меня лукаво, а лакеи и даже сам дворецкий обходились со мною, как с боярским сынком. Я не понимал причины всех этих милостей и отличия, пока старая ключница, моя наставница, не объяснила мне, что я вскоре должен буду занять при барыне должность, которая была мне не по сердцу. Эта должность обязывала меня находиться беспрестанно при барыне, и это казалось мне страшнее смерти. Мороз пробежал у меня по жилам при сем известии. Один взгляд на барыню заставлял меня всегда трепетать всем телом! Вообразите себе небольшую, толстую бабу, лет пятидесяти, расписанную белилами и румянами, как вяземская коврыжка, с косыми глазами и рыжими волосами с проседью, у которой, вместо зубов, торчало несколько клыковатых желтых костей. Голос ея похож был на скрип немазаной телеги; она беспрестанно кричала или бранила слуг или ласкала и скликала своих собачек. Слышав сказку о Яге-бабе, мне казалось, что она не могла быть ни хуже, ни лучше, как моя генеральша. Ключница объявила мне, что прежний камердинер, Филька, завтра от-

правится в Москву, жить по паспорту, а я в тот же день должен буду занять его место. Этот Филька был молодой человек, лет двадцати двух. Он провел шесть лет в своей должности (ибо барыня брала к себе камердинеров с шестнадцатилетнего возраста), и хотя был недурен лицом, но до того исчах, вероятно с горя и со скуки, что похож был на мертвеца. Он чрезвычайно обрадовался своей отпускной и не мог дождаться другого дня, чтобы отправиться в путь. Но я предупредил его. Лишь только смерклось, я вывел потихоньку из конюшни лошадь, вскочил на нее без седла и пустился по большой дороге во всю конскую прыть, не зная сам куда и зачем. Всякий раз, что вспоминал о красоте моей барыни, я сильнее гнал лошадь, как будто она гналась за мною. Ни один человек не бежал так сильно от побоев, как я от милостей. Наконец, к рассвету, я прискакал в уездный город и тотчас побежал к исправнику, которого я знал в лицо, потому что он часто приезжал в наше село собирать деньги, не знаю, для себя или для казны. Я чистосердечно рассказал исправнику все, что мне говорила ключница, объ-

явив решительно, что хочу быть солдатом, но не возвращусь в дом к госпоже. Исправник и жена его смеялись до слез при моем рассказе, но пособить мне было невозможно, потому что я жаловался словесно, без всяких доказательств. Лошадь мою взяли на конюшню, а меня посадили в арестантскую и послали барыне известие обо всем случившемся. После узнал я, что барыня дорого заплатила исправнику за то, чтоб он не разглашал моего показания; меня же, за побег и покражу лошади, высекли в суде и отослали по пересылке на господский винный завод, в Саратовскую губернию, с приказанием держать как можно строже и наказывать как можно чаще. По счастию, барыня не знала, что управитель завода, также крепостной ее человек, был мой двоюродный дядя. Он сжалился над моею участью, велел своему писарю обучать меня грамоте и счетам и после того стал употреблять в письменных делах. На заводе никто, кроме дяди, не знал о моем приключении, и как дядя мой содержал людей строго, то меня уважали как его помощника. Прошло десять лет, барыня отправилась на тот свет, а с нею кон-

чились и мои несчастия. Имение досталось ее сыну, которого она не пускала к себе на глаза при жизни своей за то, что он, приехав из полка в отпуск, вздумал приволокнуться за одной из ее воспитанниц, или, лучше сказать, служанок, набранных из сирот разного звания. Молодой барин знал причину моей ссылки и, приехав на завод, призвал к себе, обласкал и, по предстательству моего дяди, сделал управителем завода, поручив дяде управление целою вотчиной и отпустив его на волю. Зная дело и руководствуясь страхом Божиим, я снискал милость барина. Наконец, по прошествии двенадцати лет, добрый наш барин скончался бездетным и в духовном завещании дал мне вольность, вместе с другими заслуженными дворовыми людьми. Бережливостию, оборотами и щедростью доброго барина я собрал небольшой капиталец и вознамерился поселиться в Оренбурге, где прежде бывал по делам господским, высмотрел себе невесту. Вот уже около пятнадцати лет, как я живу здесь, женился, построил этот домик и, с помощию Божией, веду небольшой торг с киргизцами. Бог благословил меня добрыми

детками: старшей моей дочери уже 14 лет, средней 12, а младшему сыну десятый год. Вот, сударь, каким образом я попал сюда! Неизвестно, что кому на роду написано, и один Господь знает, где кому придется положить кости. Но не угодно ли покушать? Сегодня день праздничный, и мы вас попотчуем пирогом с кашею и с уральскою рыбой. — Мне не хотелось расстаться с моим добрым хозяином, и я просил его позволить мне пообедать вместе с его семейством, на что он согласился, примолвив: — Если не поспесивитесь, то ваша воля.

По счастью, фортуна и природа наделяют людей дарами своими, не справляясь с их породою и притязаниями. Сколько богачей почли бы себя счастливыми, если б вместо желтолицых или бледных детей имели таких здоровых и румяных, как дети моего хозяина! Жена его, женщина лет тридцати пяти, свежая, проворная, услужливая, была такого же веселого нрава, как и муж ее. Добрые хозяева полюбили меня с первой встречи и обходились как с старым знакомцем, а старшая дочь поглядывала на меня украдкой, краснела и

потупляла свои большие черные глаза, когда они встречались с моими. Эта девушка казалась мне гораздо лучше Груни, но как я приехал для ней именно, то и решился наконец спросить у хозяина об ее матери.

— Г<оспо>жа Штосина живет в нашем городе, — отвечал хозяин, — и живет весело. У нее есть дочка, молодая и вертлявая, которая притягивает к себе господ офицеров, как мед приманивает мух. У меня, месяца два тому, жил молодой офицер, который хотел было жениться на этой барышне, но, проиграв деньги, одумался, догадался, что этот дом есть только западня, где грабят людей дневным разбоем, а дочка г<оспо>жи Штосиной приманка для простачков. Этот офицер рассказал мне много кое-чего об матери и дочери, но я не люблю пересказывать дурного, да и вам, сударь, лучше этого не знать.

Обед кончился, и я не смел более расспрашивать хозяина. С стесненным сердцем пошел я в мою комнату и лег на постелю. Долго я не мог уснуть, размышляя о горькой моей участи и неудаче в первой дружбе и в первой любви. Я утешал себя, что, может быть, рас-

сказы офицера хозяину неверны и внушены были досадою от проигрыша, и решился удостовериться во всем собственными глазами.

Вороватин возвратился ранее, нежели я предполагал. Он был угрюм и задумчив. После легкого ужина он лег в постелю, сказав, что чувствует себя нездоровым. От скуки я последовал его примеру, хотя не чувствовал позыва ко сну.

Около полуночи, когда я начал уже дремать, внезапный шум в другой комнате меня встревожил. Встаю с постели, подхожу на цыпочках к дверям, растворяю вполовину и вижу... Вороватина, сидящего на окне, в одной рубахе, с открытою грудью. Лицо его покрыто было смертною бледностию; красные его пятна блистали каким-то фиолетовым цветом; глаза были открыты и, казалось, с жадностью ловили лунные лучи; волосы были всклочены и стояли дыбом; он шевелил губами, как будто силился что-то говорить, и вдруг — с яростью стал царапать себе грудь и рвать волосы, скрежеща зубами. Я оцепенел от ужаса, не смел произнесть ни одного слова, не мог двинуться с места. Вороватин завопил ка-

ким-то ужасным, подземным голосом и вдруг начал говорить громко, но весьма скоро и невнятно. Наконец он успокоился и стал говорить протяжно и внятно:

— Какое право имеешь ты упрекать меня, стращать, советовать? Ты священник — Бог с тобою! Советуй тому, кто у тебя просит наставлений. Я прибегал к тебе во время болезни, и ты, зная некоторый тайны души моей, вздумал при первой встрече усовещевать меня. Нет, отец Петр, нет, ты напрасно напал на меня с твоим красноречием. Я здоров, здоров и могу еще прожить двадцать, тридцать лет. — Помолчав немного, Вороватин продолжал: — В самом деле, пора опомниться. Сколько легковерных юношей ввергнуто мною в пропасть разврата! Я, как падший ангел, учу бессмысленных безбожию, а сам страшусь мести правосудного Бога! Неужели, увеличивая число погибших, я спасу себя от погибели? Нет. Надобно одуматься. Разоряя неопытных фальшивою игрой, предавая их в руки ростовщиков, поселяя в развращенных мною сердцах ненависть ко всем естественным и законным обязанностям человека,

чтоб исторгать деньги, я до сих пор не приобрел богатства, за которым гоняюсь целый век. У меня едва пятьдесят тысяч рублей наличными деньгами. Это не много, очень не много. Послушай, отец Петр! Как скоро я соберу сто тысяч, даю тебе клятву, что тогда сделаюсь честным человеком, поселюсь в отдаленном краю, где меня не знают, и буду жить тихо, никого не стану обманывать или разорять. Стану поститься, ходить в церковь молиться и по смерти отдам мои деньги на монастыри. У меня теперь на руках три дела, лишь только их кончу! то до сотни тысяч будет очень близко. Скорее бы только сбыть с рук этого проклятого Выжигина. Но это дело не мое! я умываю руки. Пусть Ножов управляется с ним, как ему угодно. Это его дело. Я исполнил свое поручение: затащил его на край России. Отец Петр! что ты смотришь на меня так страшно? Перестань говорить мне об аде, о Страшном суде, о вечном пламени! Страшно, очень страшно! Я учу других не верить в это, а сам не могу слышать без трепета. Прочь отсюда, удались, отец Петр! Ужасно, ужасно! вот огонь, вот кровь, кровь! — При сих словах

Вороватин затрепетал всем телом и повалился с окна на пол, застонал пронзительно, как будто душа его разлучалась с телом. Вдруг он закричал и закрыл глаза. Я сам чуть не лишился чувств и дрожал как осиновый лист. Не смея тревожить Вороватина и боясь разбудить его, я, собрав последние силы, добрался до моей постели и бросился на нее в расслаблении, как будто после лихорадочного припадка.

Теперь я удостоверился, что против меня составлен какой-то умысел и что подслушанный мною разговор между Ножовым и Вороватиным относился ко мне. Но кто этот Ножов? Что я ему сделал? Что я сделал Вороватину? Какая графиня желает моей погибели? Я не прогневил ни одной женщины в жизни. Не козни ли это Грабилина? Из всех посетителей тетушкина дома один Грабилин не любит меня. Но графиня!.. Непостижимо!

Размышляя таким образом, я уснул уже на рассвете, выбившись из сил. Думая, что Вороватин в горячке, я вознамерился употребить время его болезни к моему избавлению и скрыться от него и от его приятеля, Ножова,

который также, верно, был в это время в Оренбурге.

К удивлению моему, Вороватин на другой день встал с постели совершенно здоров и весел: я, напротив того, чувствовал тяжесть во всех членах и какое-то общее нерасположение. За чаем Вороватин предложил мне отправиться на другой день на охоту, в чем я отказал ему, опасаясь какого-нибудь злого умысла. Он сказал мне, что г-жи Штосиной нет в городе, что она возвратится чрез несколько дней, а между тем советовал мне сидеть дома, примолвив, что по моему лицу видно, что я нездоров. Я обещал ему не выходить, но лишь только он ушел со двора, я тотчас оделся и решился сам осведомиться о г-же Штосиной, не веря ни в чем более Воровати-ну. Мне хотелось, по крайней мере, проститься с Груней и после того искать средств отправиться обратно в Москву. Я надеялся на помощь доброго моего хозяина.

В десять часов утра я был уже возле дома, занимаемого г-жою Штосиною, и узнал от соседей, что она вовсе не отлучалась из города. С улицы была калитка в сад, и я вошел туда,

чтоб собраться с духом и приготовиться к свиданию с Грунею, о которой я был так дурно предуведомлен. Проходя тихими шагами по темной аллее, я увидел в конце беседку. Сквозь ветви дерев и решетчатые стены беседки я приметил что-то белое. Пробравшись кустарниками ближе к беседке, я услышал голос Груни, разговаривающей с каким-то мужчиной.

— Поздравляю, Груня! — сказал мужчина. — К тебе приехал обожатель из Москвы, и обожатель счастливый, как говорит Вороватин; этот юноша, в надежде на твою любовь и на твою руку, бежал от родных, для любовного свидания, за несколько тысяч верст. Это не шутка, милая Груня, и он верно имеет сильные причины надеяться на твою взаимность.

— Перестань дурачиться, mon cher Александр, — отвечала Груня. — Вороватин нарочно возбуждает твою ревность пустыми рассказами. Правда, что я знала этого Выжигина в Москве и, приметив его глупую любовь ко мне, забавлялась от скуки на его счет. Но это распутный мальчишка, который на семнадцатом году от роду, еще не кончив ученья,

уже принялся за карты и за волокитство: одним словом, достойный воспитанник знаменитого плута Вороватина; так можешь ли ты думать, чтоб я его любила? Матушка велела мне быть с ним вежливой, потому что он всегда проигрывал за ее карточным столиком — и вот вся наша связь. Мне досадно, когда ты даже в шутках ревнуешь к этому школьнику.

— Но говорят, — возразил мужчина, — что этот Выжигин очень хорош лицом, смышлен не по летам, отменно ловок, прекрасно поет и играет на фортепиано и на гитаре, одним словом: что в состоянии вскружить голову…

— Какой-нибудь деревенской дурочке, — отвечала Груня. — Как можно променять его смазливую, полу женскую рожицу на это мужественное лицо, на эти милые усики, на эти Марсовы глаза… — Мужчина не дал Груне кончить, и я услышал чокание поцелуев.

Оскорбленное самолюбие, гнев, досада овладели мною. Я выбежал как бешеный из кустов и предстал изумленным любовникам [18].

Груня ахнула и закрыла руками лицо. Гусарский офицер вскочил с своего места, стук-

нул саблею об пол и грозно воскликнул:

— Кто вы и как осмелились войти без спроса?

Я ни слова не отвечал офицеру, но, обращаясь к Груне, сказал:

— Изменница, обманщица! ты называешь меня школьником, развратным; говоришь, что никогда не любила меня, что забавлялась над моею искренностью. Но у меня в руках доказательства, если не любви твоей, то твоей лживости, твоего кокетства. Вот, видишь ли твои волосы, твои письма, в которых ты уверяла меня в вечной, беспредельной привязанности; клялась быть моею навеки. Я обнаружу твой ничтожный характер: стану кричать повсюду и читать твои письма на всех перекрестках. Не угодно ли, г<осподин> офицер, полюбопытствовать?..

Груня залилась слезами и, бросясь на шею офицеру, воскликнула:

— Защити меня от этого нахала, или я умру от отчаянья! Это бессмысленный лжец... Если ты любишь меня, защити меня!

Кажется, что офицер не слишком беспокоился о нежности чувств Груни и что, пользу-

ясь настоящим, он не помышлял ни о прошедшем, ни о будущем. Он бросился на меня как бешеный, вырвал из рук моих письма и волосы Груни и, схватив за грудь, потащил из беседки. Сопротивление мое навлекло мне только лишние удары: сильный офицер вытолкнул меня из калитки и, ударив ногою, запер дверь на замок. Я был в исступлении: стыд, отчаяние расстроили меня совершенно. Я пустился бежать домой, хотел застрелить офицера, Груню. Тысячи ужасных мыслей сменялись одна другою. Но, пришед на квартиру, я почувствовал внезапно слабость во всем теле. Казалось, что мозг мой прижигают раскаленным железом и что вся кровь моя превратилась в пламя. Вскоре я потерял чувства, и, кроме ужасного жара в голове и жажды, ничто не припоминало мне, что я живу на свете.

Глава XIII
Плен у киргизцев[19]. Киргизский философ Арсалан-султан Я сделался наездником

Не помню, сколько времени я был в бесчувственном состоянии, но я пришел в себя во сне. Мне снилось, что я упал в воду и лежу на дне глубокой реки. Холод заставил меня проснуться. Открываю глаза, хочу пошевелиться, но чувствую, что я окутан во что-то мокрое и связан. Звук, похожий на игру на гудке, поражает слух мой. С величайшим трудом я поворотил голову от стены к свету, и все, что представилось глазам моим, приводило меня в удивление. Я лежал в палатке, на куче войлоков, и, весь нагой, завернут был в сырую баранью шкуру, шерстью вверх. Возле моей постели сидел человек в пестром халате, в высокой, черной бараньей шапке; он играл на гудке, напевал унылым голосом, качал в такт головою и делал страшные гримасы. По сплющенным глазам этого человека, по

смуглому цвету лица, выдавшимся скулам и редким волосам на усах и бороде я узнал киргизца. Он чрезвычайно обрадовался, приметив, что я открыл глаза и делаю усилия, чтоб выпутаться из моих пелен; вскочил с своего места, повернулся несколько раз на каблуках и стал кричать изо всей силы, ударяя в бубны, которые висели у него на кушаке. На крик его вбежало несколько киргизцев и с ними три женщины. Один киргизец, высокого роста, в шелковом халате и в маленькой скуфье, вышитой золотом, приблизился к моей постели и сказал мне ласково и довольно чисто по-русски:

— Чего ты хочешь? Лучше ли тебе?

— Мне холодно, — отвечал я, — и хочется поесть или испить чего-нибудь горячего. Велите развязать меня и одеть чем-нибудь теплым.

— Ну, теперь ты будешь здоров, когда захотел есть, — сказал высокий киргизец. Он выслал женщин и велел двум киргизцам снять с меня баранью шкуру, вымыть, натереть какою-то крепкою мазью, похожею на желчь, и накрыть халатами, что и было тотчас испол-

нено. Я хотел подняться на ноги, но от слабости снова упал на постелю. Между тем молодая женщина принесла мне в чаше похлебки из сарачинского пшена, и я, выпив этой крепительной пиши, почувствовал, что кровь моя приняла правильный оборот и что силы мои восстановляются. Сон стал томить меня после удовлетворения голода, и высокий киргизец, приметив это, велел всем удалиться из палатки, сказав:

— Не тужи, выздоравливай. Велик Бог на небеси, а в степи — не без добрых людей!

Я заснул с захождением солнца и проснулся с его восхождением; приподнял сперва голову, потом привстал и крайне обрадовался, что могу держаться на ногах. С трудом вышел я из юрты. Увидев солнце и безоблачное небо, я бросился на колена и со слезами благодарил Бога за избавление меня от тяжкой болезни и за сохранение жизни. Странное зрелище представилось моим взорам. По берегу озера раскинуты были юрты; вокруг видна была необозримая степь, и между небольшими кустарниками паслись многочисленные стада баранов, лошадей, верблюдов и рогатого ско-

та. Мужчины и женщины заняты были работою: одни доили коров и кобылиц, другие выветривали войлоки, третьи разводили огни и носили воду, иные резали баранов и жеребят. Говор и клики людей смешивались со ржанием коней, мычанием коров и блеянием овец. Я догадался, что нахожусь в киргизском ауле, но не мог постигнуть, каким образом попал сюда. Последнее мое воспоминание ограничивалось свиданием с Грунею и прибытием на квартиру. После этого, мне казалось, что я не жил, и воскрес в палатке киргизской. Высокий киргизец, в шелковом халате, стоял возле своей юрты, которая была больше и красивее прочих. Он курил трубку и посматривал на все стороны. Увидев меня, он приказал одному киргизцу привести меня к себе. Догадываясь, что это должен быть старшина, я поклонился ему и просил позволения присесть на землю, по причине моей слабости. Старшина велел подостлать мне войлок и сам, сев на ковре против меня, сказал:

— Ты дожен знать, Иван, что ты раб мой. Я старшина одного знаменитого поколения киргизской орды. Зовут меня Арсалан-султа-

ном. Служи мне верно, если хочешь жить счастливо; когда ж я замечу в тебе охоту к побегу, то продам в Хиву или велю убить, как барана.

Эта приветственная речь не слишком утешила меня после выздоровления, но делать было нечего, и я отвечал с притворным равнодушием:

— Я буду тебе служить верно, и хотя до сих пор ничем не мог угодить тебе, но осмеливаюсь просить одной милости, в задаток будущих: скажи мне, каким образом я достался к тебе в неволю? Я был так болен, что не помню, что со мною делалось.

— Изволь, я расскажу тебе. Я был за делами в Оренбурге, тому недели три. Выехав вечером из города и свернув с дороги, чтоб возвратиться в степь известными нам путями, я увидел двух вооруженных людей, которые снимали что-то с телеги. Со мною было только четыре киргизца, для провожания моих верблюдов: прочие поехали вперед. Опасаясь, чтобы казачьи разъезды не услышали выстрелов, я не хотел напасть на этих разбойников, которые спорили между собою, что на-

добно с тобою сделать. Один, высокий и плотный головорез, хотел отрубить тебе голову; другой, бледный и сухощавый, советовал бросить в поле, чтоб не проливать крови, говоря, что ты и без их помощи скоро испустишь дух. Я слышал их разговор издалека, по ветру. Они ужаснулись, когда я прискакал к ним, и весьма обрадовались, когда я объявил, что не хочу затевать с ними драки под городом и намерен избавить их от хлопот, взяв с собою человека, об участи которого они спорили между собою. Злодеи согласились и отдали тебя мне, с тем чтоб я не позволял тебе писать в Россию и откупиться. Я обещал, и они возвратились в город. Ты лежал в жару, без чувств, закутанный в одеяло. Я тотчас велел убить двух запасных баранов, закутал тебя голого в сырые шкуры [20] и привязал к поклаже моей на верблюде. Сырые шкуры и порошок из сушеных ног птицы тилегус[21], который я всегда вожу с собою, потому что он помогает также и от укушения бешеных собак, удержал жизнь в твоем теле. Прибыв в аул, я, по просьбе моих жен, призвал самого искусного баксу[22], велел ему гадать над тобою и играть на кобызе

[23] во все продолжение твоей болезни, переменяя беспрестанно свежие шкуры разных животных, иногда по два и по три раза в день. Жены мои поили тебя похлебкою из пшена и наваром травы ширaза[24], и наконец Богу и Его Пророку угодно было сохранить тебя для славы и чести служить мне, султану Арсалану. Мне жаль было твоей юности! Теперь жизнь твоя принадлежит мне, и ты должен навсегда отказаться от всякой надежды увидеть свое отечество. Но скажи мне, кто таковы были эти разбойники, которые хотели убить тебя и за что они на тебя озлобились?

Поблагодарив сперва Арсалан-султана за его обо мне попечения и возобновив уверения в моей верности, я рассказал ему, каким образом выехал из Москвы с Вороватиным, чтоб увидеться с Грунею; как я встретил Ножова и подслушал его речи и, наконец, как узнал об измене Груни и после того впал в горячку от сильных душевных потрясений. Я объявил моему новому господину, что никого не подозреваю в намерении убить меня, кроме Вороватина и Ножова; но что побудило их

составить противу меня заговор, того я не мог рассказать, потому что я сам не постигал. Мне не хотелось верить, чтобы злодеи эти посягнули на убийство из нескольких сот рублей, которые Вороватин удержал у себя, взяв на сохранение.

— Жаль, — сказал Арсалан-султан, — что я не свеял с земли этих бездушных злодеев, которые испытывают свои силы и мужество над больным юношею! Если они попадутся ко мне в другой раз, то я их заставлю просушить кости в степи и отдам черепы на гнезда змеям, которые гораздо лучше их. Слушай, Иван, пока ты не укрепишься, тебе не будет работы. Жены мои будут тебя кормить и поить, а там увидим, к чему ты мне пригодишься.

Семейство Арсалан-султана состояло из трех жен и четырех детей: трех дочерей от 5 до 7 лет и одного сына, юноши в мои лета. Все три жены были молоды и хороши собою. Если принять правилом, что суженные глаза и выдавшиеся скулы не составляют безобразия, то жены Арсалан-султана были бы красавицами и в европейской столице; а он сам, хотя уже имел лет за сорок, мог назваться киргизским

Аполлоном. Сын его рожден был четвертою женой, которой уже не было в живых; но молодой Гаюк в каждой из трех своих мачех находил ласки и нежности, которыми не всегда могут похвалиться пасынки между образованными народами. Мой господин был счастлив своим семейством. Жены его жили дружно между собою, имели нрав веселый и старались угождать мужу всеми возможными средствами. Они отменно ласково обходились с служителями и меня любили, как родного брата. Им обязан я своим выздоровлением.

Наступила осень, и наш аул начал собираться в поход для приискания зимнего кочевья. Арсалан-султан разослал вестников в ближние, дружественные аулы с известием о перемене жилища и о направлении, которое он намерен взять в степи. По возвращении посланных, все вещи уложили в разные кипы, собрали юрты, нагрузили тяжести на верблюдов и на заводных лошадей и по данному знаку построились в походный порядок. Каждое семейство составляло особое отделение. Дети, старухи, молодые девицы, старцы и больные сели на верблюдов, а все мужчины,

способные носить оружие, и все молодые женщины — на коней, в лучшем своем платье, как в торжественное празднество. На концах и по сторонам каравана находились толпы наездников, вооруженные пиками, луками, саблями, а некоторые шамхалами[25]. Стада сохраняемы были особым отрядом, в виду каравана. Когда все было готово к выступлению в поход, Арсалан-султан велел баксе начать гадание об успехе предприятия. Бакса выступил вперед, вынул из-за пояса нож, провел вокруг себя черту по песку и потом, приставив себе нож к горлу, начал громко петь. Пение его сопровождалось ужасными кривляньями и скачками, которые скоро привели его в истощение сил. Он упал замертво, едва переводя дыхание, и казалось, что заснул. Целый аул смотрел в молчании и с благоговением на сие мнимое чародейство. Чрез четверть часа бакса начал двигаться и как будто во сне бредить. Арсалан-султан и другие старшины внимательно прислушивались к его словам и заключили из оных, что путь наш будет благополучен. Изнеможенного баксу посадили на верблюда и по данному

знаку двинулись вперед.

Я находился возле Арсалан-султана на лихом коне и одет был по-киргизски. По особенной ко мне милости и по просьбе жен своих он сделал меня своим оруженосцем, или, лучше сказать, военным прислужником. Обязанность моя состояла в том, чтоб держать лошадь, когда Арсалан-султан слезал с нее, подавать ему кумыс[26], накладывать трубку, чистить оружие, прислуживать за обедом и забавлять рассказами и песнями. Во время первого перехода Арсалан, отдалившись несколько от своих и подозвав меня к себе, сказал:

— Ты присмотрелся к нашей жизни, Иван, и надеюсь, что не захочешь променять наших степей на ваши душные города, где люди собираются, чтоб обманывать друг друга и выдумывать нужды, которые делают их рабами всех возможных глупостей и заставляют ползать и пресмыкаться пред всяким, кто может возвысить их в глазах глупцов, и наделить богатством, которому они не знают ни цены, ни меры? Что нужно человеку? — чтоб он был сыт, одет и спокоен. Все это ты найдешь

у нас. Без труда и забот, мы имеем пищу и одежду от стад наших. Не мучим себя беспокойством о будущем и всегда готовы силою отразить враждебного или хищного соседа, предпочитая оружие хитростям, лжи и обманам, которыми воюют между собою ваши городские жители. Вы оцениете красоту ваших городов широтою улиц, обширностью, величиною зданий. Наша мечеть — открытое небо, а город — необозримая степь, где никому не тесно и где ни стена, ни забор не удерживает воли. Я был в Москве и в Петербурге, видел все ваши чудеса и удивлялся, смотря на умных людей, занимающихся игрушками, побрякушками и жертвующих здоровьем и спокойствием для того единственно, чтоб быть всегда закупорену в блестящей клетке в дороге и на месте и чтоб набивать желудок пахучими отравами. Я полюбил тебя, Иван, и хочу сделать из тебя удалого наездника, научу владеть конем и оружием. Если ж тебе понравится какая-нибудь киргизская девица, я буду твоим сватом и сам постараюсь устроить новое твое хозяйство.

Я поблагодарил его за расположение ко

мне и примолвил:

— В моем положении мне нельзя выбирать доли своей, и, во всяком случае, я лучше хочу быть воином, нежели слугою.

После этого Арсалан-султан велел своим наездникам показать мне их искусство. Он бросал мелкие русские деньги на землю, и его удальцы подбирали их на всем конском скаку; вскакивали ногами на седло, становились на нем головою, ловили пиками на лету бросаемые вверх камни, обернутые сухою травой, срывали друг у друга шапки и боролись на лошадях. Ловкость и искусство киргизов в управлении конем и во всех воинских упражнениях восхитили меня, и я стал сам просить Арсалан-султана, чтоб он скорее научил меня наездничьему ремеслу.

— Сознайся, Иван, — сказал он мне, — что эта потеха мужчине гораздо приличнее, нежели ваше печальное передвигание ног под музыку, прыжки и повороты, которыми щеголяют ваши юноши на так называемых балах. Я видел ваши забавы и дремал на них со скуки. Я приметил, брат, что ты сперва неохотно согласился сделаться киргизским

воином; но я уверен, что со временем, когда у тебя выветрится из головы городской чад, — ты сам с нами не расстанешься.

Между тем мы прибыли на ночлег. Прежде нежели какой-нибудь ленивый кучер успел бы выпрячь лошадей из повозки, уже наши верблюды были развьючены, юрты раскинуты, бурьян с кустарниками пылал и согревал наши котлы. Женщины занялись приготовлением пиши и доением коров и кобылиц; мужчины составили очередную стражу и разъезды. При огнях раздавались веселые песни и звуки кобыза и чибызги[27]. Небо было ясно и усеяно звездами, воздух благорастворен. Арсалан, в ожидании ужина, сидел на седле перед своею юртой и подозвал меня к себе.

— Иван, — сказал он, — ты говоришь на многих языках, и потому ты лучше меня знаешь, как надобно им учиться. Но как у нас нет ни книг, ни школ, ни учителей, то я должен посоветовать тебе, как скорее научиться по-киргизски. Спрашивай название каждой вещи и болтай смело, что умеешь, не смущаясь насмешками. Нужда научит скорее, чем учитель за деньги. Чтоб скорее выучиться

языку, я советую тебе влюбиться: это самое лучшее и успешное средство. Мне также любовь пособила выучиться по-русски. Я тебе когда-нибудь расскажу это. Но знай, чтоб быть удалым наездником, недовольно уметь владеть конем и оружием и знать язык нашего народа: надобно также уметь читать на небе, как по книге. Я сам хочу учить тебя этому искусству.

При сих словах я прервал речь Арсалана и сказал ему:

— Как! неужели ты хочешь из меня сделать баксу, гадателя?

Арсалан улыбнулся.

— Я столько же верю гаданиям баксы, сколько и ты, — сказал он. — Не в том дело. Живя в степях, где, по счастию, люди не приросли к одному месту как деревья, мы должны знать приметы, по которым можно было бы направлять путь днем и ночью. Днем служат нам указателями курганы, насыпные могилы умерших наших братии, кустарники, озера, реки, возвышения и даже цвет степи. Ночью же — небо. Видишь ли ты эту светлую звезду? Это *Темир-казык* (железный кол)[28].

Она всегда видима на том месте, откуда приходит к нам зима и холодные ветры. Тут опочивает солнце. Направо от Темир-казыка солнце восходит, напротив становится в полдень, а налево заходит. Эта звезда служит нам вместо того ящика с стрелкою, которой вы называете компасом. Вот *Чубанджулдус* (пастушья звезда)[29], которая означает время, когда пригонять стада с поля в аулы и выгонять на паству. Вот *Аркар* (дикий баран)[30] Но я не хочу утруждать тебя на первый раз множеством имен. Учись знать небо и землю, чтоб не иметь нужды ни в чем, кроме своего мужества.

Ночь прошла благополучно, и мы с восхождением солнца снялись с кочевья и пустились в путь.

Прошед одинаким порядком, около десяти дней, мы остановились у подножья горы, заслоняющей степь от севера, и расположились кочевать поблизости ручья. Как старики, по разным приметам, предсказывали жестокую зиму, то мы заранее стали разбивать двойные войлочные юрты, приготовлять множество дров, камыша и сухого бурьяна. Из жизнен-

ных припасов мы более всего заготовили сушеного мяса и питья из заквашенной ржаной муки, похожего на барду в винокурнях. Между тем, по приказанию Арсалан-султана, меня ежедневно учили воинскому делу и конной езде. Начали тем, что, привязав к седлу бешеной лошади, пустили в степь, чтоб выгнать из меня, как они говорили, городскую трусость. Мне не давали иначе мяса, как положив его на земле; и я должен был доставать свой обед, поднимая оный с лошади, сперва шагом, потом рысью, а наконец во всю конскую прыть. Печенные на угольях лепешки из муки, величайшее лакомство, я должен был добывать копьем на всем скаку, и мне до тех пор не давали отведывать дичи, пока я сам не стал догонять на коне саек и бить их нагайкою. На лошадь мне не позволяли иначе садиться, как вскакивая на нее с размаху. Таким образом, до наступления морозов я сделался удалым наездником, следуя одному правилу: нужда камень долбит.

Глава XIV
Рассказ Арсалан-султана о пребывании его в России

Выпал снег, и киргизы большую часть времени проводили в своих юртах, сидя вокруг огней и слушая рассказчиков. Табуны наши и стада находились бепрестанно в открытом поле и питались подснежною травой. Кроме перегонки скота с места на место, стережения его и приготовления пищи, более мясной в зимнее время, нам не было никакой работы. Киргизы, в бездействии, живут воображением. Сказки их наполнены чудесностью и волшебством и всегда имеют предметом какого-нибудь наездника, который, странствуя в степи, сражается с тиранами и притеснителями прекрасного пола, с волшебниками, похищает красавиц, разбивает богатые караваны и наконец возвращается в свой аул и отдыхает на лаврах. Любовь всегда служит завязкою сих рассказов; песни их также дышат нежною страстию и геройством. Понимая довольно киргизский язык, чтоб чувство-

вать всю единообразность сих сказок, я вскоре соскучился ими и однажды вечером просил Арсалан-султана рассказать мне свои истинные приключения. Он исполнил свое прежнее обещание. В сем рассказе одни мысли принадлежат Арсалан-султану, потому что по прошествии долгого времени я не мог удержать оригинальности киргизского слога. Арсалан говорил по-русски с некоторыми малыми ошибками — так, как наши знатные господа и дамы, получившие от колыбели иноземное воспитание. Он рассказал мне следующее:

— Так суждено, чтоб человек, одаренный умом и душою бессмертною, превосходил в злости и жестокости всех бессмысленных тварей и, не довольствуясь терзанием и пожиранием других животных, беспрестанно стремился к истреблению своих собратий. Ты видишь, Иван, что мы в нашем ауле живем дружно и согласно, как родные братья, но не думай, чтоб это дружество и эта любовь простирались на весь наш род. Нет! каждое племя, каждая орда враждуют между собою; обида, причиненная в другом ауле или в другой

орде одному киргизу, должна быть отмщена целым его аулом или ордою. Эта общая месть, или *баранта*, хотя простой только обычай, но сильнее всякого закона, ибо люди обыкновенно более повинуются внушению злых своих качеств и личных выгод, нежели правилам мудрости. Отец мой, хотя был любимцем хана и даже родственником его, но ханы наши бессильны и отец мой не мог покровительством защититься от мщения сильного султана, начальствовавшего чизлыкским и дерт-ка-рикским племенами, самыми злейшими врагами России. Предлогом сей распри были полученные подарки моим отцом от Российского Двора, но в самом деле вражда происходила за предпочтение, оказанное моею матерью отцу моему при сватовстве обоих соперников. Частые набеги и оскорбления, причиняемые врагами аулам, подведомственным моему отцу, принудили его откочевать из внутренности степи к российским пределам и просить помощи в порохе и оружии у русских. В доказательство верности и преданности своей к России, отец мой отдал меня с несколькими молодыми людьми в заложники, желая при-

том, чтоб я увидел свет, присмотрелся к порядку в стране просвещенной и был со временем полезен соотчичам моими познаниями.

Я был тогда в твоих летах, Иван; нас отослали в Москву, где нам дали пристава, то есть казенного чиновника, который обязан был пещись о нашем содержании на счет казны, сопровождать меня повсюду, показывать все любопытное и наблюдать за нашим поведением. Этот чиновник, живя долго на Оренбургской линии, знал несколько наш язык. Из Москвы нас отослали в Петербург, где от казны дали нам переводчика из татар и учителя русского языка.

Признаюсь тебе, что блеск роскоши и вид общего довольства сначала сильно подействовали на меня и возбудили охоту или остаться навсегда в городе, или завесть у себя город и такой же во всем порядок. Любопытство мое не могло насытиться: я хотел все видеть, все знать и плакал с досады, когда не постигал виденного или не понимал слышанного. Императрице Екатерине Второй угодно было видеть меня. Меня одели великолепно и повезли во дворец в карете, запряженной в

шесть лошадей цугом. С гордостью поглядывал я на народ из окон кареты и думал, что целая столица занимается мною, потому что все останавливались и с любопытством смотрели на меня. Проезжая чрез одну улицу, мы должны были остановиться от множества стеснившего народа, который обступил нашу карету и стал расспрашивать обо мне пристава. Вдруг заиграла музыка и показались обезьяны в растворенном окне ближнего дома. Народ, не выслушав рассказа пристава, побежал к обезьянам, и мы спокойно поехали вперед. Это был первый удар моему самолюбию, и я весьма дурно заключил о народе, предпочитающем обезьян султанскому сыну. Я тогда не постигал, что постоянное внимание каждого народа так же трудно удержать, как постоянство ветра и что народ об том только всегда помнит, чего боится.

Государыня приняла меня весьма милостиво: обласкала, обдарила и отпустила домой, поручив вельможам своего двора иметь попечение обо мне и ввести в общество, чтоб я мог лучше судить о выгодах просвещения.

По слову государыни, я вошел в моду, как

новая прическа или новый покрой платья. Не было в городе бала, большого обеда, званого вечера, где б не было *киргизского красавца*. Так прозвали меня знатные женщины, от того что при Дворе сказано было: «Этот князек не так дурен собою, как описывают вообще киргизов».

Знатные господа и дамы утешались моею простотою, а я утешался их болтливостью и легкомыслием, с которым они принимали большие вещи за малые, а малые за большие. Однажды я застал одно доброе семейство в слезах и горе: все плакали, от отца до грудного младенца.

— Что с вами сделалось? — спросил я хозяйку.

— Ах, любезный князь, вы знали нашего дядюшку...

— Что же с ним случилось? Не умер ли он?

— О, если б он умер, то это было бы только половина беды, потому что он уже начинает расстроивать свое именье, которое дети мои должны получить в наследство; но он... ах!.. он впал в немилость у своего сильного покровителя!

— За что же такая внезапная немилость?

— За нескромность, за язычок. Покровитель дяди гордился и хвастал тем, что он выдумал новый соус к рыбе, а мой дядя рассказал под секретом приятелям, что это его собственное сочинение, и вот — прощай дружба и покровительство!

Я не мог удержаться от смеха, и этот смех приписан был моему невежеству и дикости. В другой раз я нашел в отчаянии моего приятеля, молодого, образованного человека. Он хотел застрелиться, хотел бежать к нам, в киргизскую степь, чтоб скрыться от света.

— Какое несчастье поразило вас, почтенный друг? — спросил я его с участием и горестью.

— Любезный князь — я проклят отцом! Я ужаснулся.

— Как! прокляты отцом! Неужели вы впали в преступление, оскорбили родителя?

— Я не пошел ему в вист в бостоне!

— Как! и за это он вас проклял?

— Проклял и лишил своих милостей!

Я принялся смеяться от чистого сердца.

— Утешьтесь, почтенный друг, — сказал

я. — Такое проклятие не дойдет до небес и останется под карточным столиком, пока какой-нибудь забавник не подберет его, чтоб посмешить добрых людей насчет сумасбродного папеньки.

— Здесь дело не о небесах, но о земле, — возразил приятель, — следствия этого проклятия — лишение меня денежного пособия. Отец мой рад теперь, что нашел случай отказать мне в деньгах.

— Для чего же ваш папенька так бережет деньги?

— Для того, что кормит и поит толпу случайных людей, которые смеются за глаза над его страстью; хвастает своими отборными винами и кушаньем, как будто это было следствием ума, добродетелей, заслуг и составляло достоинство человека.

— Воля ваша, а вы мне кажетесь смешны с своими бестолковыми обычаями, — сказал я приятелю.

— Кому смех, а кому горе, — отвечал он.

Всего страннее казалась мне оценка людей, принимаемых в большие общества. Там не справлялись никогда ни об уме, ни о ду-

шевных качествах, ни о поведении человека. Первый вопрос: сколько за ним душ? Второй — какой чин? Третий — в каком он родстве? Четвертый — в каких связях? Если на все эти пункты ответы удовлетворяли ожиданиям или если хотя один пункт был столь силен, что заглушал остальные, тогда, будь плут, обманщик, грабитель, притеснитель — двери во всех домах для него открыты, везде готова улыбка при встрече и новое приглашение при отпуске. А деньги?.. О! за деньги неотесанный мужик, который за несколько лет перед тем продавал водку лакеям и кучерам, разбогатев обманами, принимается в доме их господ лучше, нежели бедный воин, не имеющий другого покровительства, кроме своей заслуги. А обеды!.. Ваши обеды сводили меня с ума! Подобно собакам, которые ласкаются к тому, кто их кормит, ваши просвещенные люди из лакомого блюда или бутылки вина, которые они, впрочем, могут иметь дома, толпятся в дом ко всякому пролазу, ко всякому грабителю, и не только прощают ему его бессовестность, но даже защищают от правосудия. Кстати о правосудии. В ваших су-

дах одни — играют в жмурки и наугад ловят правого или виноватого; а другие — продают правосудие на вес, как лекарство в аптеках, по рецептам секретарей и подьячих. Одним словом, я удостоверился, что ваше просвещение состоит в искусстве говорить и писать о том, что полезно для *других*, а делать то, что полезно для *себя*. Слова и дела находятся у вас в такой противоположности, что, если кто скажет о себе: я честен, это значит, что он плут; кто говорит: я богат — означает, что он беден, то есть в долгу; а кто сознается сам и кричит везде, что он беден, это значит, что он богат, но хочет быть еще богаче. Кто кричит об общей пользе, это знак, что он ищет своих собственных выгод, а кто проповедует вольность, это значит, что он хочет угнетать других. Присмотревшись ко всем этим превратностям в течение четырех лет и взвесив ваше просвещение и выгоды городской жизни с нашим невежеством и кочеванием, я почувствовал сильное желание возвратиться в степи и забыть обо всем, виденном и слышанном, как о сновидении. Я вознамерился уже просить о позволении, как вдруг одно обстоя-

тельство удержало меня — любовь!

По существующему в России обычаю, для нас, диких азиятцев, нанимали квартиру в отдаленной части города, для того чтоб мы свободнее могли отправлять свое богослужение и приготовлять пищу по нашему обычаю, не обращая на себя внимания любопытных. Однажды, прохаживаясь пешком по глухой улице, я услышал в одной лачуге рыдания и жалостные вопли женщины. По невольному движению я вбежал в дом. Горестное зрелище поразило меня. Прекрасная, как ангел, девица держала в своих объятиях старую женщину в обмороке и плакала в отчаянии, не зная, как пособить ей. Я, не говоря ни слова, выбежал в сени, нашел ведро с водою, возвратился в комнату с полным ковшом, спрыснул лицо больной, стал ей тереть виски и жилы на руках и наконец привел в чувство, перенес на кровать и просил позволения у красавицы побежать тотчас за доктором. Казалось, что девица сначала не примечала меня, будучи занята недугом своей матери, но наконец она обратила на меня свои прекрасные голубые глаза, в которых блестели еще слезы, и, по-

краснев, поблагодарила тихим голосом. Мой киргизский наряд приводил красавицу в недоумение: она украдкой осматривала меня с ног до головы и не знала, что сказать.

— Не пугайтесь меня, сударыня, — сказал я, — я киргиз, уроженец диких степей; но и у киргизов есть также сердце, и они знают, что такое сострадание к несчастью ближнего. Будьте откровенны со мною, как с человеком, который почитает за богатую добычу всякий случай быть полезным страждущим и несчастным. Я вижу, что вы в нужде: это обнаруживает ваше жилище. Одолжите меня и примите от меня пособие для больной вашей матери.

Не дожидаясь ответа красавицы, я бросил на стол горсть червонцев и поспешно удалился. Девица хотела удержать меня за руку, умоляла взять назад деньги, но я, не слушая, силою вырвался и побежал опрометью домой.

Я видел много русских красавиц, и никогда оне не производили во мне сильного впечатления. Но образ этой бедной девушки врезался в моем сердце и памяти. Она днем и ночью представлялась моему воображению, и я

мучился более недели, не зная, что делать с собою и не смея возвратиться к ней в дом, опасаясь, чтоб она мне не отдала обратно денег и тем не лишила себя пособия. Напрасно я силился забыть красавицу: она поселилась во мне, как жизнь, как душа, и моя азиятская кровь кипела, как будто в сердце моем пылало пламя. Ни развлечения большого общества, ни чтение, которое я чрезвычайно любил, ни уединение не могли меня успокоить. Наконец, я решился увидеть снова красавицу.

Я пошел к ней вечером. Какая-то непостижимая робость удержала меня при входе; я остановился под окном, запертым ставнями, и услышал спор в комнате и неизвестные мне голоса.

— Стыдитесь, сударь, стыдитесь! — сказала женщина. — Как. вы смеете предлагать мне бесчестие, в обмен за ваше покровительство, которым я гнушаюсь. Посмотрите на дочь мою: она не может произнесть слова от избытка негодования, не хочет осквернить себя укоризнами. Мы, бедные, беззащитные сироты, и оттого вы так дерзки; но если б муж мой был жив, невзирая на ваше богатство и знат-

ность, он бы умел заставить вас образумиться.

— Полно, полно, матушка, не гневайтесь, — возразил охриплый голос, — гораздо лучше отдать дочь мне на воспитание, нежели замуж за какого-нибудь подьячего или унтер-офицера. А ты, красавица, не дичись, подойди, позволь поцеловать себя в эти розовые щечки!

— Оставьте меня в покое! — закричала красавица, и я услышал стук опрокинутого стола. Мысль об оскорблении невинности воспламенила меня гневом; как бешеный вбежал я в комнату и увидел, что дряхлый старичишка, одетый щеголем, тащит к себе за руки красавицу и хочет насильно поцеловать ее. Я схватил его поперек, вынес как куль соломы на двор и бросил с размаху в грязь. Два лакея, стоявшие за углом домика, прибежали на крик своего господина и кинулись на меня. Но отчаянье и жажда мести удвоили мои силы. Я схватил в каждую руку по полену дров, напал на моих противников и выгнал их за ворота. Старый волокита побежал к карете, которая стояла на углу улицы, и звал к

себе своих служителей. Вскоре я услышал, что карета поехала по улице во всю конскую прыть, запер калитку и возвратился в комнату.

Слезы благодарности были моею наградой. Мать благодарила меня за оказанную милость и покровительство; дочь молчала, но ее молчание было гораздо красноречивее слов старухи. Старушка рассказала мне свою историю. Муж ее служил комиссаром во флоте и был честный человек. После своей смерти он не оставил им другого наследства, кроме права на получение небольшой суммы из казны, за призы, сделанные экипажем корабля, на котором он служил. Преемник его представил на покойного какие-то начеты, в оправдание пословицы, что умершие и отсутствующие всегда виноваты. Дело находилось в то время у этого сладострастного старичишки, который, увидев Софию, предложил ей бесчестием купить выгодный приговор по делу и покровительство на будущее время. Разумеется, что ему отказали с гордостью, приличною благородным душам; но старичишка не оставил своих преследований и даже стал стра-

щать несчастную мать, что ее посадят в тюрьму за утрату казенных вещей, если дочь не перестанет упрямиться. Когда я нашел мать в обмороке, тогда она получила это известие. Мать и дочь жили трудами рук своих, вышивая для модных магазинов; но гнусный старичишка, чтоб довесть несчастную жертву до крайности, лишил бедную семью и этого средства, платя в магазинах за то только, чтоб ничего не покупали у Софии и не заказывали никакой работы. Нищета, одно из величайших несчастий, среди всеобщей роскоши просвещенных народов, вскоре посетила добродетельное семейство, и если б я не явился к ним кстати, то Софья нанялась бы полоть в огороде, чтоб прокормить больную и слабую свою мать; ибо, кроме последней пары платья, все уже было продано. Я никогда в жизни моей не проливал слез и в первый раз заплакал при рассказе старушки об ее бедствиях.

— Позвольте мне вмешаться в это дело, — сказал я. — Если я не найду правосудия между знатными, то найду его выше.

— Оставьте это, добрый князь, — возразила старушка, — пока солнышко взойдет, роса

глаза выест. Мы намерены отказаться от иска и удалиться в дальний город, к нашим родным. Если вы имеете знакомых, то попросите только, чтоб этот господин, которого вы здесь видели, нас не преследовал. Он называется Фирюлькин и имеет чин генеральский. Но, пожалуйте, не являйтесь к нему, потому что он может отмстить вам за вашу вспыльчивость. Между тем возьмите обратно свои деньги: мы не можем принять в подарок такой большой суммы.

— Деньги вы мне отдадите, когда получите из казны что вам следует; что же касается до г<осподи>на Фирюлькина, то не опасайтесь: он мне не страшен.

Пробыв несколько времени с этими несчастными, я возвратился, более влюбленный в Софию, нежели прежде.

На другой день поутру я пошел в присутственное место, где заседал Фирюлькин, и дождался его на лестнице. Он ужаснулся, увидев меня, и верно б переменился в лице — если бы мог. Но у него не было капли крови в теле.

— Что вам угодно, любезный князь? — ска-

зал он, заикаясь.

— Переговорить с вами наедине.

— Очень рад, только здесь не место. Пожалуйте ко мне в дом, завтра поутру, часов в девять. Я приму вас с удовольствием.

На другой день я до условленного часа был уже в передней Фирюлькина. Лакеи имели повеление впустить меня; но как в зале было несколько просителей, а в кабинете секретарь с делами, то камердинер повел меня во внутренние комнаты, чрез уборную Фирюлькина. Проходя мимо, я невольно остановился, чтоб рассмотреть вещи, которых я прежде не видывал.

— Что значат эти два стеганые мешочка с подвязками? — спросил я.

— Это икры моего господина, — отвечал лакей.

— А это что за череп?

— Это его волосы.

— А эти кости?

— Это его зубы.

— На что же эти краски на столике между щетками, пудрою и помадой?

— Это цвет лица моего барина.

— Хорош! — сказал я с насмешкою. — У него нет ни тела, ни души.

— Извините, — отвечал камердинер. — У него три тысячи душ: это важнее, нежели одна своя.

Я понял замечание лукавого камердинера и заключил из этого, что Фирюлькин должен быть негодным человеком во всех отношениях, когда слуги не имеют к нему уважения.

Меня позвали в кабинет. Фирюлькин взял меня за руку и весьма ласково попросил садиться.

— Забудем о прошедшем, — сказал он. — Вы поступили со мною весьма невежливо, но я прощаю вам, потому что вы не знаете правил нашего общежития. У нас можно убить, застрелить человека, но не должно прикасаться к нему безоружною рукой. Впрочем, вам не за что было сердиться на меня. Я так же искал дичи, как и вы, и не знал, что эта голубица уже подстрелена вами.

— Прошу говорить без обиняков, — сказал я, возвысив голос. — Я только два раза в жизни видел бедную девушку, которую вы преследуете, и решился защищать ее из одного

сострадания.

— Сострадание в киргизской степи! — лукаво сказал Фирюлькин.

— Его там более, нежели в ваших позолоченных палатах и в ваших судах, — отвечал я с досадою.

— Но как бы то ни было, если вы не откажетесь от преследования Софьи и если не решите дела покойного ее отца по законам, то я клянусь вам счастием моей жизни, что сам упаду к ногам правосудной государыни и буду на вас жаловаться; а между тем расскажу всем вельможам и придворным о нашей встрече у Софьи.

— Потише, потише, не горячитесь! — сказал Фирюлькин. — Мне без того приятно одолжить киргизского князя: я даю вам честное слово, что забуду о существовании вашей Софии и завтра же подпишу приговор в пользу ее матери, потому что дело уже кончено. Условие — никому ни слова.

— Вот вам рука моя! — Фирюлькин поцеловал меня и поспешно вывел из кабинета.

Я поспешил к Софии с этою радостною вестью и был снова осыпан ласками и благодар-

ностью. На другой день приговор был подписан, и чрез неделю уплачены деньги. Фирюлькин не являлся более в той части города, где жила София. Он сдержал свое слово: я думаю, в первый раз в жизни.

Я перестал думать о возвращении в степи. Софья любила меня; я был счастлив и жил новою жизнию.

Мы скрывали любовь нашу от матери, потому что она ни за что бы не согласилась выдать дочь свою за магометанина. Я не знал, на что решиться. Смерть матери дала Софье полное право располагать собою. Добрая старушка, удрученная летами и горестями, умерла с полгода после нашего знакомства. Софья осталась сиротою и объявила мне, что она готова следовать за мною не только в степь, но на край света, в безлюдные пустыни.

Надобно было взять некоторые предосторожности. Софья поехала вперед в Оренбург, а я, испросив позволение у государыни, отправился после. Не зная, позволит ли отец мой жениться на бедной сироте, я оставил Софью в соседнем ауле, у приятелей, и явился к отцу один.

— Батюшка! — сказал я. — Ты испытал любовь и, верно, не осудишь сына, если он выберет себе жену по желанию сердца, а не по расчету.

— Мне бы хотелось, чтоб ты женился на дочери султана, моего благодетеля, — сказал мне отец, — но если ты уже выбрал себе невесту и не хочешь других жен — твоя воля. Ведь не мне, а тебе жить с твоею женой!

Я рассказал ему свое приключение, и того же дня Софья была в его объятиях. Наши старухи сердились за то, что я женился на иноземке; молодые девушки негодовали, но храбрые мои наездники согласились, что София стоит быть киргизкою. Сам хан хотел видеть жену мою и похвалил мой выбор.

Арсалан умолк и закрыл руками лицо свое. Я видел его слезы. Наконец он сказал:

— Я десять лет был счастлив с Софиею. Гаюк — плод нашей любви. Она умерла! По обычаю нашего народа и по воле хана, я должен был жениться; у меня теперь три жены: они добрые женщины, ты знаешь их. Но я любил одну Софью и никогда не утешусь в ее потере. Иван! верь мне, в степях киргизских знают

любовь и дружбу, хотя не умеют красно об них рассказывать. Теперь ты знаешь, отчего я люблю русских. Софья соединяет меня с вами. Вот от чего, вопреки нашему обычаю, я обхожусь с тобою, моим невольником, как с равным. Я был счастлив с русскою; русская кровь течет в жилах моего Гаюка, и хотя я в твоем отечестве видел много глупостей, но это принадлежность всех просвященных народов, как я узнал из книг, и вы только в том виноваты, что перенимаете чужие глупости. Я нашел в России много добрых людей, достойных жить с нами, в этих степях — и память их дорога для меня. Теперь ступай спать, Иван! Мне грустно; я сяду на коня и в степи развею грусть мою. Воспоминание прошлых бед утешает человека, а воспоминание минувших, невозвратных радостей наполняет сердце горестью. Прости… Гей, коня моего!

Арсалан вскочил на своего жеребца и, при свете луны, пустился в степь, во всю конскую прыть. Мне самому было грустно: я любил доброго султана всем сердцем.

Глава XV
Следствия жестокой зимы в степи. Набег
Радостная встреча с первым моим благодетелем

Мы живем в беспрестанном заблуждении и не иначе видим предметы, как в отражении, в волшебном зеркале страстей. Но если человеку извинительно заблуждение, то это в таком только случае, когда он, увлеченный чувством, не видит недостатков в родителях своих и в своем отечестве. Сколько ни старался благородный Арсалан превозносиить свои степи, но ни красноречие его образованного ума, ни пылкость дикого питомца натуры не могли заставить меня позабыть Россию. Зима удвоила мою печаль. Живя в тесной юрте, с Гаюком и несколькими его товарищами, и находя единственное услаждение в беседах с Арсаланом, я скучал в длинные вечера и мыслил о моем отечестве и о моей доброй тетке, которая, вероятно, была в отчаянии, узнав, что я пропал без вести. Грубая пища, нечисто-

та, дым в юртах и жестокая стужа в степи, где надлежало делать разъезды и сторожить стада, были для меня тягостны и заставляли сильнее чувствовать то, чего я лишился. Наконец, стужа увеличилась до невероятной степени. Стада наши не могли добывать из-под снега травы, которая притом лишилась своей питательной силы. Метели засыпали скот снегом и проницательные холодные ветры стесняли дыхание животных. Наконец появилось бедствие, ужасное для кочующего племени: скотский падеж.

Тщетно баксы употребляли свои гадания и лечения: стада наши и табуны беспрестанно уменьшались и не было средства пресечь падеж. Даже здоровые животные, скитаясь между снежными буграми без пищи и не имея сил разгребать глубокий и твердый снег, падали от изнеможения. С сим вместе оказался недостаток в съестных припасах и в дровах. Уныние разлилось в сердцах. Вместо веселых песен слышны были свист ветров и рев издыхающих животных. Женщины и дети таили свои слезы пред мужьями и отцами, но притворное равнодушие не могло скрыть всеоб-

щей печали.

Арсалан более всех оказывал мужества. Он своим примером поощрял к работе. Он сам присутствовал при общих трудах и ободрял унылых; сам добывал корм для верховых лошадей из-под снежных глыб; сам ездил с нами за камышом и за ветвями молодых дерев; сам осматривал стада и распределял для них новые пастбища. Опасаясь, чтоб падеж не лишил нас вовсе продовольствия, мы убили большую часть баранов и зарыли мясо в землю, употребляя с большою бережливостью наши сухие запасы. По счастию, богатые киргизы запаслись кирпичным чаем[31], который мы пили по нескольку раз в день, приготовляя его сперва, как суп, с молоком, маслом и солью, а после, когда не доставало молока и масла, — просто с солью и бараньим жиром. Этот напиток поддерживал силы мои. Ржаная мука, которою Арсалан-султан запасся в Оренбурге, служила только для лакомства. Киргизы не употребляют хлеба, но варят из муки род каши и пекут лепешки на угольях. Сарачинское пшено было только у одного султана, и то в малом количестве. Пшено берег-

ли для женщин и для больных. Хотя мы не чувствовали еще настоящего голода, но с лишением стад это бедствие угрожало нам к весне. Наконец прошла зима, снег растаял, земля зазеленела, падеж прекратился, но мы остались бедными. Без внешнего пособия голод должен был постигнуть нас еще до конца весны. Все это предвидели, но не знали, на что решиться. Некоторые поговаривали, чтоб вступить в русскую службу, на жалованье; другие хотели просить помощи у хана. Арсалан вознамерился силою победить несчастие. Однажды он пригласил к себе старшин, и когда все уселись на полу и закурили трубку, он произнес следующую речь:

— Обязанность моя пещись об вас: я делаю, что могу, но при всем этом я не в силах был ни прекратить мороза, ни пресечь падежа. Не хочу скрывать перед вами, что нам угрожает еще большее несчастие. Враги наши, узнав о нашей слабости и нужде, нападут на нас и истребят всех или сделают своими рабами. Только отчаянное мужество может спасти нас. В очевидных опасностях лучше предупреждать бедствие сопротивлением, нежели

малодушно ожидать удара. Я получил известие, что богатый караван идет через степи и что враг нашего племени, султан Алтын, провожает караван с лучшими своими наездниками. Сядем на коней и пойдем к нему навстречу, разобьем, возьмем караван и одним смелым подвигом обеспечим себя и от врага, и от голоду. Вот мое намерение. Объявите это удальцам моим. Кто не боится смерти и кто желает спасти свой род от поношения и бед, тот пойдет со мною. Я не возьму никого, кроме охотников.

Некоторые старшины хотели возражать, но Арсалан встал с своего места и сказал:

— Я никого не принуждаю идти со мною. Кому не нравится мое намерение, тот может остаться в ауле и после моего отъезда толковать что ему угодно. Но теперь я прошу вас повторить только в ваших семействах мои слова, без всяких толков; а если я узнаю, что кто-нибудь осмелится посевать раздоры, помните, что у Арсалан-султана есть кинжал, аркан и нагайка. Прощайте!

Все вышли в безмолвии, и Арсалан велел мне остаться.

— Ну, а ты, Иван, пойдешь со мною или останешься с бабами?

— Разумеется, с тобой, в огонь и в воду! — воскликнул я. Арсалан сел на землю, задумался и, помолчав немного, сказал:

— Раздумай хорошенько, Иван; мы идем почти на верную смерть. В отчаянном положении нашем я не вижу другого средства к избавлению, как набег. Но нам должно будет драться с храбрыми и сильными противниками: их, верно, вдвое более нас, и если мы не победим, то должны умереть. Я, как начальник, должен подавать собою пример и скрывать перед своими опасность. Но с тобою я хочу быть откровенным. Мне жаль тебя. Даю тебе вольность. Возьми моего коня и ступай к своим. Зачем тебе разделять горькую мою участь?

Я бросился обнимать доброго султана и, тронутый до слез, отвечал:

— Нет, Арсалан-султан, я не оставлю тебя в опасности! Киргиз не превзойдет русского в великодушии. Ты спас мне жизнь; ты обходился со мною не как с рабом, но как с сыном, как с другом; ты научил меня владеть оружи-

ем, — и я был бы недостоин свободы, если б был столь малодушен, что бежал от тебя, когда ты идешь на смерть. Я пойду с тобою; буду драться возле тебя; закрывать тебя своим телом или погибну вместе, или буду с тобой торжествовать победу.

Арсалан поцеловал меня и сквозь слезы сказал:

— Быть так!

На другой день, с рассветом, сто отличных наездников были уже во всей готовности к походу. Кроме того, около двадцати человек находилось при заводных лошадях и нескольких верблюдах, навьюченных съестными припасами. К удивлению моему, я не видел женских слез и не слыхал рыданий при прощании мужей и любовников. Те, которые не могли скрыть своей горести, не показывались из землянок. Другие, в молчании сложа руки, смотрели на наши приготовления к походу. Эта тихая горесть и уныние сильнее действовали на сердца воинов, нежели громкие изъявления печали. Явился Арсалан, в богатой шубе, на лихом коне. Он обратился к толпе женщин, стариков и воинов, остающихся для

зашиты аула, и, сказав: «Прощайте!», понесся в галоп в степь; наездники последовали за ним, прощаясь знаками с милыми сердцу.

Отъехав от аула такое расстояние, что мы могли видеть только один дым нашего кочевья, мы остановились, чтоб дать приблизиться к нам вьючному скоту, который должен был находиться всегда у нас ввиду. На первый ночлег мы расположились среди степи, возле кургана; лошадей пустили в степь; кругом расставили часовых и, разложив огни, поместились вокруг, на войлоках. На другой день мы направили путь к реке Сыр-Дарье и продолжали шествие одним порядком, руководствуясь курганами и течением солнца и поверяя ночью наше направление по положению звезд на небе. Долго мы шли, не встречая в степи живой души, и наконец, в седьмой день, под вечер, увидели вдали дым. Сперва мы думали, что это аул; но посланные вперед наездники уведомили, что это ночлег каравана. Мы остановились, и Арсалан решился ночью разведать обо всем в точности и, если б этот караван был тот самый, который составлял предмет наших поисков, — напасть

утром и кончить дело.

Восемь человек из наших отличных наездников отправились к каравану с трех сторон. Четверо из них спешились и подползли камышом со стороны небольшого озера на такое расстояние, что могли слышать голоса стражи и видеть неприятелей в лицо. Мы между тем стояли в готовности к бою и решились напасть по первой тревоге, чтоб выручить посланных. Но поиск кончился благополучно. Посланные уведомили нас, что это наш караван, но что прикрытие многочисленно и что нападать ночью было бы опасно, потому что из вьюков с товарами сделан род укрепления и стража, вооруженная шамхалами, бдительно охраняет стан. Мы отступили несколько верст в сторону и расположились на ночлег за горою, чтоб не было видно наших огней. Арсалан собрал своих воинов в кружок и сделал следующее распоряжение. Отряд наш разделился на три части. Сам он с пятидесятью наездниками должен был оставаться в тылу. Одному отряду, из двадцати пяти человек, надлежало сделать ложное нападение спереди каравана, а другому отряду,

ровной силы, с фланга. Когда завяжется дело, тогда главному нашему отряду положено было броситься на тыл каравана и стараться отрезать часть оного и защищать добычу, прикрываясь наездниками двух малых отрядов, которые должны тогда стараться соединиться с главным отрядом, отступая по обоим флангам каравана и заманивая неприятельских наездников далее от него. Я с сыном Арсалана, Гаюком, причислен был к главному отряду.

До света два малые наши отряда выступили в путь, а мы остались за возвышениями, погасив огни, чтоб днем не видно было дыму. Около полудня услышали мы вдали конский топот и клики погонщиков верблюдов. Арсалан, окутавшись серою попоной, всполз на гору, чтоб разглядеть караван. Когда он скрылся из виду, мы сели на коней и отправились медленно по следам его. Лишь только мы услышали выстрелы, тотчас на рысях понеслись за караваном и, завидев его, пустились с криком в атаку. Неприятель, не занимаясь перестрелкою с двумя нашими отрядами и презирая их малочисленность, бросился на них

с пиками и отдалился от каравана. Мы воспользовались этим случаем: ударили на остальных, смяли их, завладели большею частью каравана, загнали всех верблюдов с вьюками в одну кучу и решились защищать свою добычу до последней крайности. Султан Алтын, увидев наш успех, перестал преследовать наши малые отряды, которые, притворяясь, что спасаются бегством, заманивали его далее в степь. Возвратившись к каравану, Алтын с бешенством напал на нас, увидев в толпе личного своего врага, Арсалан-султана. Арсалан также не мог умерить своего гнева и, схватив копье, отделился от своих и бросился на Алтына. Увиваясь на лихом коне, Арсалан потеснил своего противника и уже готов был нанесть ему удар, но в самую сию минуту раздался выстрел; лошадь Арсалана упала со всех ног и подбила под себя всадника. С адскою радостью соскочил Алтын с коня и, обнажив турецкий ятаган, бросился на лежащего Арсалана, чтоб отрезать ему голову. Я находился в нескольких шагах от Арсалана и, видя его опасность, выхватил из-за кушака пистолет, прицелился, выстрелил — и Алтын

пал мертвый возле своего врага, который между тем успел выбиться из-под лошади. Арсалан схватил ятаган Алтына и его же оружием отрезал ему голову, взоткнул ее на пику и прискакал к своим. Лишь только наездники Алтына увидели голову своего начальника на пике, свирепое их мужество утихло в одно мгновенье и превратилось в детскую робость. Они опрометью побежали назад с жалостными воплями, оставив нам в добычу целый караван, состоящий из ста верблюдов, нагруженных драгоценными азиятскими товарами, многочисленное стадо овец и множество заводных и табунных лошадей. Кроме того, нам досталось в плен десять человек бухарских купцов, с пятьюдесятью погонщиками и двадцатью невольниками.

Лишь только противники наши ускакали из виду, мы тотчас двинулись в поход, взяв направление к дружеским аулам, чтоб избегнуть погони. Арсалан не успел даже говорить со мной во время этой суматохи; но на походе он взял меня за руку и, обращаясь к своим наездникам, сказал:

— Вот кому я обязан моею жизнью, а вы —

победою и добычею! Он уже свободен, но заслуга его превышает всякую награду.

Товарищи мои окружили меня и осыпали благодарностью и ласками. Один из бывших с нами поэтов, которых множество между киргизами, тотчас сочинил песню мне в похвалу. Товарищи мои выучили эту песню и пели хором во время похода.

Мы шли чрезвычайно скоро и часто переменяли направление, чтоб избегнуть поисков. Чрез десять дней обратного похода мы возвратились в свой аул, измученные от усталости, но с торжеством победы. Весь аул выбежал к нам навстречу и принял нас с громкими восклицаниями радости. Арсалан рассказал перед целым собранием о моем подвиге: восхищенные киргизы сняли меня с лошади и носили на руках вокруг нашего стана, с песнями и музыкою, импровизируя в честь мне стихи и песни. Для меня отвели три юрты и предоставили право выбрать в жены первых киргизских красавиц. Я не воспользовался этою особенною милостью; но, признаюсь, так был доволен оказанными мне почестями, что думал навсегда остаться между

киргизами.

Чрез несколько дней начали делить добычу. Все шелковые товары, жемчуг и другие драгоценности положено было продать в России, а деньги обратить на общие нужды аула, исключая некоторых вещей, которые разделили между семействами, так же как скот, лошадей и верблюдов. Наличные деньги и невольников разделили только между наездниками, бывшими в экспедиции. Бухарским купцам предоставили право выкупиться. По общему согласию, мне дали четыре пая в добыче и предоставили право выбрать четырех невольников для услуг. В числе взятых нами невольников, большею частью персиян и афганцев, было двое русских. Разумеется, что я взял их на свою долю, чтоб освободить при первом случае.

В хлопотах быстрого нашего похода я не имел случая обращать большого внимания на моих земляков и даже не имел времени расспросить порядочно об их состоянии и узнал только, что один из них дворянин, а другой отставной солдат. Когда же они достались мне, то я поместил их в свою палатку и

того же вечера пригласил ужинать с собою, чтоб узнать подробно обо всем, до них касающемся. Один из них был лет тридцати пяти, видный и даже красивый. Невзирая на длинную бороду и большие волосы, черты его лица казались мне не чуждыми. Отставной солдат, человек лет сорока пяти, был ловок и расторопен.

— Кто ты таков, любезный земляк? — спросил я у первого.

— Я дворянин и отставной офицер.

— Как ваша фамилия?

— Миловидин.

— Александр Иванович Миловидин! — воскликнул я, вскочив с своего места и сплеснув руками.

— Неужели вы меня знаете? — спросил он в изумлении.

— Знаю ли? Я удивляюсь, как не узнал вас с первого взгляда. Но вы постарели, переменились, похудели, и притом же эта борода, эти лохмотья! Александр Иванович, всмотритесь в меня. Неужели вы не узнаете вашего сиротки, вашего Ваньки, которого вы взяли с собою из дома Гологордовского и оставили у

жида в Слониме?

Миловидин бросился мне на шею, воскликнув:

— Как, это ты... это вы? Какая странная судьба!

Мы плакали от радости и в молчании обнимались. Отставной солдат стоял в нескольких шагах и утирал кулаком слезы. Наконец мы успокоились, и я, выслав солдата в другую палатку, остался наедине с Миловидиным, чтоб рассказать ему свои похождения.

Миловидин, выслушав мое повествование, обрадовался, что я так воспитан и нахожусь в свете в таком положении, что могу быть его другом и товарищем. В тот же вечер мы произнесли взаимную клятву не расставаться и делить все: горе и счастье. С этой минуты мы согласились говорить друг другу ты и называться братьями. Как уже было поздно, то мы легли спать и Миловидин обещал мне на другой день рассказать свои приключения.

Мы встали до свету, и Миловидин начал свой рассказ. Здесь я должен предуведомить моих читателей, что все помещенное мною на счет Гологордовского и его семейства, все,

что сказано о любви, браке и отношениях Миловидина к сему семейству, заимствовано мною из сего рассказа и помещено, для порядка повествования, в первых главах моего жизнеописания. Само по себе разумеется, что я был так мал и прост в доме Гологордовского, что не был в состоянии проникнуть всего того, что рассказано мною довольно подробно. Итак, рассказ Миловидина я начну от выезда его из Слонима в Москву с молодою его женой.

Глава XVI
Рассказ Миловидина. Нравственный автомат и его домоправительница Семья старой девы. Панорама московского общества. Дружеский кадриль Русская чужеземка. Общество на теплых водах. Взгляд на Венецию

— Приехав в Москву в намерении умилостивить дядю и получить от него помощь, я несколько дней скрывался пред знакомыми и, чрез одного старого приятеля моего отца, старался войти в переговоры с прежним моим благодетелем. Дядя отказался даже видеться со мною. Все усилия приятеля моего отца, чтоб помирить нас, остались тщетными. Вот причина сего неслыханного упорства. Дядя мой, человек холодный, равнодушный

ко всему, тяжелый и ленивый, был рабом своих привычек. Он тридцати лет сряду служил в одном присутственном месте, где вся его должность состояла в том, чтоб подписывать на бумагах: *верно с подлинным: Степан Милодидин*. Почти каждый вечер он проводил в Английском клубе, где величайшее его наслаждение состояло в том, чтоб пить клюквенный лимонад, играть в вист и прислушиваться к сплетням, которые он, возвратясь домой, пересказывал своей домоправительнице, Авдотье Ивановне. Эта женщина, вдова отставного коллежского регистратора, нанимала, лет за двадцать пред сим, квартиру в одном доме с моим дядею и, узнав, что он заболел опасно и что за ним некому ухаживать, кроме слуг, самовольно поселилась в его комнатах, при помощи квартального надзирателя подчинила служителей своей власти, ссорилась с больным и с доктором, а между тем не отходила от постели дяди, лила ему в рот лекарство и до того ему надоела, что он выздоровел. Из благодарности ли или из трусости, он не имел духу выгнать Авдотью Ивановну из своей квартиры и, видя ее брюзгливое

усердие к себе и шумное рачение в присмотре за хозяйством, оставил в ее распоряжении все, касающееся до устройства дома. Дядя мой вскоре почувствовал превосходство женского хозяйства пред домоводством старого холостяка. Белье его было в исправности, чай и кофе вкуснее, за столом всегда являлось какое-нибудь любимое его блюдо. Вскоре привычка одолела моим дядею до такой степени, что он не мог обойтись без Авдотьи Ивановны и все, что не было приготовлено и подано ее руками, казалось ему неприятным. Широкое, калмыковатое, покрытое рябинами лицо Авдотьи Ивановны, без сомнения, не могло прельстить моего дяди; но он так присмотрелся к нему, что ему непременно надлежало взглянуть ежедневно на ее кошачьи глаза, как щеголю в зеркало. Уши его так же привыкли к ее звонкому голосу, как слух старого солдата к звуку барабана; и он бы не уснул спокойно, если б в течение дня не услышал ее брани с служителями, соседками и разносчиками. Леность и нерешительность моего дяди имели нужду в возбудительных средствах, и Авдотья Ивановна вскоре до такой степени

овладела им, что он был в ее руках совершенным автоматом, не смел даже поправить своего колпака без ее совета, терпеливо слушал ее бранчивые увещания и все делал с ее позволения, кроме подписывания: *верно с подлинным*. Дядя мой почитал себя счастливым, что нашел существо, которое за него думало, желало, боялось и надеялось. Он с радостью отдал свое именье в распоряжение Авдотьи Ивановны, чтоб только не иметь дела с старостами, управителями и должниками, которые всегда выманивали у него что-нибудь, а притом и обманывали. Он благодарил судьбу, что Авдотья Ивановна позволила ему посещать Английский клуб, с условием: переносить ей все сплетни, — и с трепетом возвращался домой, когда, заигравшись в карты, пропускал мимо ушей занимательные рассказы и приходил без новостей. Другой, будучи на его месте, выдумал бы сам что-нибудь для успокоения злой бабы; но мой дядя так отвык от умственных упражнений, что заболел бы мигренью на трое суток, если б подумал три минуты о чем-нибудь другом, кроме наполнения желудка, козырей в висте и своего: *верно с*

подлинным.

У Авдотьи Ивановны была дочь от мужа ее, отставного коллежского регистратора; она была, по третьему году, когда маменька ее взяла приступом дом моего дяди. Само по себе разумеется, что она после того воспитывалась на счет моего дяди и что Авдотья Ивановна непременно требовала, чтоб ее Лиза говорила по-французски, играла на клавикордах по-немецки, пела по-итальянски и танцевала все заморские танцы, Всему этому научили Лизу за деньги, но как ум господа иностранцы привозят к нам не на продажу, а для собственного обиходу, то Лиза осталась дурочкою, как Бог ее создал.

Отец мой, будучи генералом в действительной службе, находился всегда в армии; матери лишился я в малолетстве, и так до десятилетнего возраста воспитывался у родственницы матери моей, старой девицы, вместе с двумя дюжинами обезьян, попугаев, собачонок, карлиц, калмычек и всяких других диковинок. Величайшая справедливость царствовала в сем зверинце: нас всех, то есть людей и зверей, равно любили, досыта кормили,

ласкали и били, смотря по расположению духа нашей благодетельницы. Обыкновенно, она тогда была весела, когда к ней доходили вести о расстройстве предположенной свадьбы, чьей бы то ни было, или о соблазнительном житье супругов. В бешенство же приходила она тогда, когда слыхала о свадьбах, родинах, крестинах и о счастливом браке. Разумеется, что самое лучшее время для нас было в посты, когда не бывает свадеб. В дни веселья всех нас: собачонок, обезьян, калмычек, карлиц и меня — кормили одинаковыми бисквитами и миндалем, а в дни гнева — всех секли одним пучком розог. Нас брали по очереди гулять в карете: один раз меня, другой раз мартышку и так далее. Недаром говорят, что равная участь соединяет сердца: наше ското-человеческое общество жило в величайшей дружбе и согласии, исключая одного злого сибирского кота и одной упрямой старой обезьяны, которые никак не хотели пристать к нашему союзу и за то получали побои от меня и калмычек, а мы за это были биты нашею *благодетельницею*. Я думаю, что я сам бы превратился в сибирского кота или в

обезьяну, если б долее пожил в этом доме. Но, по счастью, отец мой, приехав в Москву, взял меня оттуда, поссорившись с благодетельницею моею за то, что выхвалял перед нею супружеское состояние и утверждал, что он был счастлив с моею матерью. Отец мой прожил в военной службе часть своего родительского наследства; а дядя мой, подписывая *верно с подлинным*, умножил свой участок вдесятеро: он взялся платить за мое воспитание и содержать меня в службе. Меня отдали во французский пансион, как водится, — и по праздникам дядя позволял мне приходить к себе к обеду. Авдотья Ивановна, к удивлению всех, не только не завидовала тому, что дядя мой разделял свои благодеяния между мною и ее дочерью, напротив того, она очень любила меня, ласкала, дарила и обходилась со мною, как с сыном.

По определении моем в службу, уже по смерти моего отца, Авдотья Ивановна не только принуждала дядю моего снабжать меня всем нужным, но даже заставляла его давать мне более денег, нежели сколько было определено. Наконец открылась причина

этой нежности. Авдотья Ивановна имела намерение женить меня на своей Лизе, и, как скоро я женился на другой, она заставила моего дядю верить, что я впал в величайшее преступление, оказался неблагодарным и наконец, представив меня порочным и злонравным, принудила его отречься от меня и лишить наследства судебным порядком. Приятель моего отца доставил мне копию с сей пагубной бумаги, с подписью моего дяди: *верно с подлинным*. Это был приговор судьбы, ибо дядя скорее решился бы уничтожить солнце, нежели свою скрепу, почитая всегда копию важнее подлинника.

Узнав о приезде моем в Москву и о моем несчастии, некоторые друзья моего отца соединились, чтоб переменить намерение моего дяди. Они прибегнули к Авдотье Ивановне и, угрожая ей адом и уголовною палатою, успели наконец в том, что Авдотья Ивановна, в лице моего дяди, согласилась дать мне 25 000 рублей с тем, однако ж, чтоб я добровольно отказался от целого наследства, которое простиралось до миллиона рублей. Находясь в крайности, я на все согласился, уверен бу-

дучи, что сопротивлением ничего не выиграю. Мне отсчитали деньги, и я оставил дядю моего в покое думать и чувствовать головою и сердцем Авдотьи Ивановны, играть в вист, пить клюквенный лимонад в Английском клубе, прислушиваться к сплетням и подписывать: *верно с подлинным*.

Ты воспитывался в Москве, любезный Выжигин; но не знаешь этой древней нашей столицы, потому что был молод и неопытен. Разбойничий вертеп развратителя юношества, Вороватина, и приют для старых чтителей прекрасного пола у твоей тетушки суть две неприметные точки на московском горизонте. Что же касается до французского пансиона, в котором ты находился, то эти заведения в целой России так сходны между собою, как два белые листа бумаги. Петербург можно уподобить прекрасной молодой кокетке большого света, ищущей наслаждений со всеми приличиями, со всеми расчетами образованности. Москва-матушка похожа на пожилую, богатую вдовушку, которая, пожив в большом свете, удалилась внутрь России, в провинциальный город, лежащий посреди ее поместий,

чтоб играть первую роль в своем околотке, не прерывая, однако ж, сношений с столицею. Москва, любезный друг, из всех иностранных причуд и обычаев умела соткать для своего покрова свою собственную, оригинальную ткань, в которой чужеземцы узнают только нитки своей фабрики, а покрой одежды и узоры — принадлежат нашей родимой Москве. Лучшее московское общество составляют, *во-первых*, так называемые *старики*, отслужившие свой век И от усталости или других причин поселившиеся в Москве на временный покой, в ожидании вечного. Этот почтенный разряд составляет живую летопись последнего полувека, или, лучше сказать, живые ссылки (citations) в современной российской истории. Члены сего разряда образуют также ареопаг, или верховное судилище, где обсуживаются все современные происшествия. Они имеют свои заседания в Английском клубе и у почтенных пожилых дам первых трех классов. Чинопочитание соблюдается между ними с такою точно строгостью, как в хорошем полку, под ружьем. Политика, война, внутреннее устройство государства, определение

к местам, судопроизводство, а особенно награждения чинами и пожалование орденами, все подвержено суждению сего крикливого ареопага. В сем первом разряде даются балы, обеды, ужины и вечера для проезжающих чрез Москву важных лиц, первоклассных местных чиновников и лучшего дворянства. *Во-вторых*: чиновники, занимающиеся действительною службой в московских присутственных местах, которые отличаются тем только от чиновников петербургских и других городов, что живут роскошнее, имеют более влияния на дела и не занимаются другими посторонними предметами, как, например, литературою и науками, так, как некоторые молодые чиновники в Петербурге. *В-третьих*: чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки, то есть: задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепою фортуной. Из этих счастливцев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в почет русских антиквариев. Их называют архивным юношеством. Это наши петиметры, фашьонебли, женихи всех невест, влюб-

ленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произнесть: *oni* и *non*. Они-то дают тон московской молодежи на гульбищах, в театре и гостиных. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно чрез край, кроме здравого смысла; низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук. *В-четвертых*, огромное стадо всякого рода отставных чиновников, принадлежащих к старым фамилиям и дослужившихся до известных чинов, из которых кто проживает свое именье на досуге, кто без большого труда наживает картами и всякими изворотами, а кто просто живет, от дня до дня, на счет московского гостеприимства. *В-пятых*, помещики замосковных губерний, приезжающие в Москву, по зимнему пути, съедать деревенский запас и любоваться танцами своих дочек на балах Дворянского собрания или на званых вечеринках, пока какой-нибудь жених, прельстясь приданым (о котором словоохотные тетушки умеют весьма искусно разглашать во всех закоулках Москвы), не потребует прелестной руки, не знавшей от детства никакой

работы. *В-шестых*, приезжие из столицы и из армии искать богатых невест, которыми Москва славится издревле. Эти господа начинают обыкновенно свысока, а кончат на воспитанницах или купеческих дочках, которыми расчет гораздо вернее. Вот главные части нашего московского общества, которые, невзирая на свою разнородность, составляют одно целое, похожее на вечный маскарад или венециянский карнавал. Мне не к чему теперь рассказывать тебе все хорошее и дурное в этой смеси. Ты это сам увидишь со временем. Скажу только, что, верно, нигде нет столько добрых людей, невзирая на их странности, как в Москве. Главная черта Москвы — гостеприимство, или страсть кормить и поить встречного и поперечного. Любезный Выжигин! если б наша планета подверглась, по какому-нибудь несчастному случаю, десятилетнему неурожаю и съестные, припасы продавались на вес золота, то и в то время никто не был бы голоден в Москве, кроме барских слуг, которых, впрочем, и при общем довольстве не слишком откармливают, вероятно, для легкости в услужении. Хотя я не стати-

стик, но могу ручаться, что в одной Москве съедают и выпивают более в один год, нежели в целой Италии в два года. Напоить и накормить более, нежели досыта, почитается в Москве первым условием хорошего приема. Напиться и наесться до самого нельзя есть род наслаждения, в котором не отказывают себе даже люди образованные. Но я слишком заболтался о любезной нашей Москве и отступил от рассказа моих похождений.

Получив 25 000 рублей, я поступил с ними точно так же, как со всеми деньгами, которые переходили чрез мои руки, то есть: смотрел только на начало моего капитала и не хотел; взглянуть на противоположный конец, чтоб не огорчаться, впредь его уменьшением. Я нанял хорошую квартиру и экипаж в четыре лошади. Завел изрядного повара, назначил у себя один день в неделю, в который собирались у меня знакомые и приятели к обеду и на вечер, и пустился с визитами по Москве. Жена моя составила себе большую партию между мужчинами, а я — между женщинами. Первые находили мою жену *удивительно* прелестною, вторые называли меня *ужасно* лю-

безным, и мы, скоро познакомившись с лучшими домами в Москве, стали жить, как следует людям *порядочным*, то есть кормить и поить других, пресыщаться сами на чужих обедах и ужинах, танцевать везде, где только, желали этого, наряжаться, играть в карты в большую игру, а вслед за этим делать долги, не платить, и прочее, и прочее!

Всякий капитал в руках мота имеет два конца. На одном конце цепляются наслаждения и прихоти, на другом, если не поместится раскаяние, то пристают заблуждения, которые доводят часто до преступлений. Я опомнился при последней сторублевой ассигнации и пробудился из усыпления от пронзительного крика моих заимодавцев. К разорившемуся человеку, как к трупу, приползает всегда множество нравственных пресмыкающих и гадов, чтоб вовсе уничтожить его нравственное существование. Ко мне явилось множество ложных игроков, ростовщиков и всякого рода промышленников, чтоб увлечь меня на стезю порока. Они предлагали сделать из моего дома игорный вертеп, надеясь, что я привлеку к себе богатых людей из выс-

шего круга общества, а жена моя, красавица, будет вознаграждать проигравшихся нежными взглядами. Другие хотели, чтоб я позволил, за известные проценты, употреблять мое имя в бездельнических оборотах и т. п. Сознаюсь, я часто преступал правила строгой нравственности, из легкомыслия и страсти к издержкам, но никогда не унижал себя обманами и нарушением законов чести. Я прогнал всех моих соблазнителей и решился — я ни на что не решился, только отказавшись от собраний в моем доме и вымолив у извозчика карету в долг, пустился разъезжать по Москве более прежнего, в надежде наткнуться на счастье. Заимодавцев моих я упросил подождать, обещая уплатить им долги, как скоро поправлюсь в состоянии. Они, видя, что с меня взять нечего, согласились. По счастью, между ними не нашлось ни одного такого, который бы в утешение себе за потерянные деньги захотел посадить меня в тюрьму, с тем чтоб иметь удовольствие кормить на свой счет.

Хотя разорение мое не наделало большого шума, но в Москве ничто не утаится, и вскоре весть эта обошла шепотом целую столицу. Я

уже сказал, что в Москве более добрых, или, по крайней мере, снисходительных людей, нежели в другом месте. Поговорили, потолковали, покритиковали, побранили за глаза и замолчали.

Одна из пожилых богатых дам, которая находила меня *ужасно* милым, предложила мне свою дружбу и помощь; а муж ее, считавший жену мою *удивительно* прелестною, невзирая на свою старость и подагру, имел весьма нежное сердце и не мог хладнокровно переносить, чтоб прекрасная Петронелла нуждалась в нарядах. Мы подружились, составили одно семейство, самое согласное, и опять зажили припеваючи. Жена моя стала наряжаться богаче, нежели прежде, а я принялся угощать приятелей чаще и лучше прежнего, играть в большую игру и делать новые долги гораздо смелее, уплатив старые.

Родственникам графа и графини Цитериных весьма не нравилась наша тесная дружба. Они, чтоб развлечь и рассеять старика и старуху, упросили докторов присоветовать им ехать к минеральным водам за границу, обоим вместе и к одному целебному источни-

ку, думая, что я и жена моя, из приличий, останемся в Москве. Но где страсть или нужда, там не действуют светские приличия. Старик и старуха согласились ехать к минеральным водам из любви к жизни, но предложили нам ехать вместе с ними. Мы с удовольствием приняли это предложение. Чтоб избавиться от докучливой дружбы графининой в пути и за границею, я притворился больным, а между тем, охая и прихрамывая дома, пел и прыгал в других местах. В Карлсбаде мы провели время довольно весело. Общество на водах состояло: из увялых кокеток, ищущих на водах погибшей свежести; из игроков; из министров и вельмож разных дворов, лишившихся мест своих и силы, которых в начале немилости обыкновенно погружают в минеральную воду, как в Лету, чтоб у них испарилась память прежнего могущества; из молодых жен-красавиц, которые, из любви к добродетели, ищут рассеяния от печальной супружеской верности, *далеко* от своего отечества; из молодых и старых ветреников, ищущих приключений по белу свету; наконец, из множества слабонервных, исчахших больных

обоего пола, которые, по принятому правилу, почитали лекарством на водах рассеяние и наслаждение, и потому все, здоровые и больные, старались делать как можно более глупостей, приносящих пользу докторам, трактирщикам, игрокам и нимфам.

Я попал в свою сферу и, скучая в обществе моих друзей, графа и графини, щедро позна-граждал себя вне дома, за претерпенную скуку. Жена моя, с которой мы, между прочим, жили душа в душу, искала рассеяния своим чередом, и между нами не было ни ревности, ни расстройства. Но, любезный Выжигин, легкомыслие и распутная жизнь рано или? поздно вовлекают в бездну. Выслушай и удостоверься!

Между прекрасными посетительницами Карлсбада мне более всех нравилась графиня Сенсибили, приехавшая из Вены, с двумя малыми детьми, пользоваться от ипохондрии целебными водами. Муж ее, благородный итальянец, занимал важную должность в австрийских итальянских владениях и не мог ей сопутствовать. Какая-то томность разлита была на прелестных чертах графини; глубо-

кая чувствительность выражалась в ее взорах и сообщалась сердцу тех, на которых она устремляла большие черные свои глаза. Видев ее несколько раз в доме одной старой австрийской баронессы, я снискал благорасположение графини и получил позволение навещать ее. Я почитал ее италиянкою, но, вообрази мое удивление, когда я узнал, что она русская княжна, хотя не знала ни одного слова по-русски. Воспитанная в Петербурге француженкою, она, в доме родителей своих, природных русских, никогда не слыхала отечественного языка. В этом доме предпочтительно были принимаемы иностранцы, и молодая княжна от детства привыкла слышать, что русские варвары, не способны ни к чему, как только к платежу оброка и мелочной торговле, а что одни только чужеземцы *люди*, с которых русские должны брать пример, как жить в свете. Княжне натолковали, что русский язык может быть употребляем только между черным народом и что он так груб, что благовоспитанная дама может получить боль в горле от произношения остроконечных русских слов. Гувернантка княжны клялась, что

она целую неделю страдала зубною болью и опухолью языка от того, что силилась произнесть слово: *пощечина*, невзирая на то, что это так легко производить в действо над русскими служанками. Несчастная княжна (говорю несчастная, потому что почитаю таковыми тех, которые не знают и не любят своего отечества) чрезвычайно была рада, когда мать ее, по смерти своего мужа, выехала из России и, проехав вдоль и поперек Европу, поселилась во Флоренции. Старуха вышла там замуж за одного молодого французского мещанина, которому купили за деньги графское достоинство, там, где оно продается. На пятнадцатом году княжну Маланью отдали также замуж за графа Сенсибили, и вскоре наша одноземка, приняв все италиянские обычаи, позабыла даже о существовании России. Прошло десять лет от ее брака, и она почувствовала ипохондрию, также, кажется, от избытка супружеского счастья: поехала рассеяться в Вену, а оттуда в Карлсбад, где я оказал ей величайшую услугу, удостоверив ее, что русские могут любить так же нежно, сильно и пламенно, как итальянцы и французы, и

тем примирил ее с отечеством. Она даже стала учиться по-русски и нашла, что слово *люблю* чрезвычайно нежно и приятно для слуха.

Графиня Сенсибили должна была ехать в Венецию, к мужу. Я упросил графиню и графа Цитериных отправиться на зиму туда же. В этом городе я проводил время чрезвычайно приятно, посещая ежедневно милую графиню Сенсибили, под именем учителя русского языка. Я не хотел быть вхож в дом ее под своим именем, ибо тогда мне надлежало бы познакомить графа Сенсибили с нашим кадрильным семейством и ввести туда графиню, что могло бы сбить с такту наш дружеский кадриль. Мы видывались с графинею Сенсибили также в доме одной старой ее приятельницы и на всех городских увеселениях, которых в Венеции множество. Скажу тебе несколько слов об этом городе.

Гордая, некогда, Венеция, выветрев от политики и происков аристократии, потеряв силу и богатство, не лишилась страсти своей к забавам: напротив того, сделалась средоточием рассеяния и наслаждений. В Париже и Лондоне человек отвлекается от чувственных

наслаждений политикою, науками, изящными художествами и умными беседами. В Венеции, исключая музыки, располагающей душу к нежным ощущениям, не знают других удовольствий, кроме волокитства и любовных интриг. Любовь — атмосфера Венеции, и чужеземцы приезжают туда из далеких стран подышать воздухом этого нового Пафоса. Нигде женщины не пользуются такою вольностью, как в Венеции. Под легкими покровами они смело входят в кофейные дома, в казино и толпятся в народе на площади Св. Марка, в саду монастыря Св. Георгия или на Новой набережной. Женщин сопровождают не мужья, а кавалеры-прислужники (cavaliere-servente), которые отправляют ту же должность при венециянских дамах, как расторопные адъютанты при молодых женах старых генералов, то есть кавалер-прислужник должен неотступно быть при своей даме с утра до вечера, если ей не вздумается взять другого спутника, на некоторое время. Ты знаешь, что Венеция построена на отмелях, в море, и что там вместо улиц каналы, а вместо экипажей крытые лодки, или гондолы. Эти-то гон-

долы суть плавучие храмы любви и гробы супружеской верности. Прославленная ревность итальянцев сгорает при светильнике Гименея и превращается в дым и пар, из которых тогда только образуется гроза, когда поведение жены угрожает расстройством мужнину карману. В Венеции не имеют понятия о гостеприимстве. Там все жители проводят время вместе только в казино, кофейных домах, на площади или в театре; потчевают друг друга только мороженым, шоколадом и весьма редко обедами; а в домы посылают визитные карточки. Вообще итальянцы не созданы ни для тихой беседы, ни для скромной семейной жизни. Величайшим благом в жизни почитают они — ничего не делать (far niente), и самое наслаждение и прогулка называется у них работою. Не нужно тебе сказывать, что нет правила без исключения.

Я жил в Венеции как в раю, около года, как однажды…

Вдруг послышался голос Арсалан-султана, который звал меня к себе, и Миловидин должен был прекратить свое повествование.

Глава XVII
Решение старейшин киргизских относительно моего вознаграждения Продолжение рассказа Миловидина Дуэль. Бегство. Жид-ренегат. Прибытие в Константинополь [32] Что такое пера? Измена. Рабство. Освобождение

— Любезный Иван! — сказал мне Арсалан-султан. — Мы в совете старейшин решили твою участь. Я знаю, что ты томишься грустью по отечестве и если останешься между нами, то только из любви ко мне. Поезжай с Богом, Иван! Вот что постановлено нами, в рассуждении тебя.

Арсалан вынул из-за пазухи лоскуток бумаги, который был завернут в несколько платков, как величайшая редкость, и прочел

следующее:

«1) Пленник непобедимого, вольного и знаменитого Киргизского народа, Иван Выжигин, освобождается за оказанные им великие услуги превосходному племени Баганалы-Кипчакскому и за спасение драгоценной жизни Арсалан-султана.
2) Вольный Иван Выжигин объявлен сыном благородного и лучшего поколения Баганалы-Кипчакского. Когда б он, Иван Выжигин, прозрев очами мудрости, вздумал возвратиться в благословенную и лучшую под солнцем страну, степь Киргизскую, тогда каждый отец семейства должен принять его в своей юрте как родного сына, каждый воин Киргизский, как своего брата, а каждая девица Киргизская, как жениха или мужа, по воле Ивана Выжигина.
3) Целое превосходное племя Баганалы-Кипчакское обязано кормить, одевать Ивана Выжигина и отапливать его юрту, пока он не будет иметь взрослых детей или сам добровольно не откажется от предоставленного ему права.

4) Всю добычу Ивана Выжигина, равно как лошадей его и верблюдов, старшины берутся продать при первом случае в Оренбурге или в пограничных Русских укреплениях и деньги отослать к нему, куда он прикажет. Между тем на дорогу собраны ему тысяча червонных и дано двенадцать кип лучших товаров, которые и отдадутся ему немедленно.
5) Иван Выжигин имеет право вывезть с собою из степи своих Русских невольников и получает проводников и военное прикрытие до самой границы».

— Доволен ли ты нашим постановлением? — сказал Арсалан. Вместо ответа я бросился ему на шею и залился слезами. При одном воспоминании об отечестве, о России, все мое тщеславие исчезло как дым, и я решился немедленно отправиться.

— Когда же ты хочешь нас оставить? — спросил Арсалан.

— Завтра же, — отвечал я, потупив глаза, как будто стыдясь своей неблагодарности.

— Итак, я займусь приготовлением всего нужного к твоему отъезду, — сказал Арсалан

и тотчас подозвал к себе несколько старшин. Чтоб не мешать им советоваться, я удалился в свою юрту.

Когда я объявил Миловидину, что мы завтра же отправляемся в Россию, то он едва не лишился ума от радости: он плакал, смеялся, прыгал, пел и, наконец, успокоившись, поблагодарил Бога со слезами за свое избавление и называл меня своим благодетелем.

— Выжигин! — сказал Миловидин, прижимая меня к груди своей. — Ты возвратил мне отечество и свободу; но это сердце всегда будет твоею собственностью. Я твой навеки!..

Отставной солдат не менее обрадовался, что избавится от нехристей, и просил меня, чтоб я оставил его у себя в услужении, потому что у него на святой Руси нет ни кола ни двора.

Позавтракав жаренною на угольях бараниною и запив брагою, я просил Миловидина кончить свой рассказ.

— Однажды, — продолжал Миловидин, — когда я вышел из дому в сопровождении служителя, чтоб прогуляться в гондоле по взморью, мальчик отдал мне записку и скрылся. Я

думал, что это любовное письмо, и спешил прочесть. Но на этот раз обманулся в своей надежде. Записка писана была по-русски и заключала в себе следующее:

«Если в тебе сохранилась хоть капля русской дворянской крови и если честь твоя не совершенно померкла на поприще разврата, то явись завтра в 12 часов утра на твердой земле, в трактир Солнца, на берегу Бренты, с парою пистолетов, не объявляя никому о сем в доме. Ты узнаешь меня на месте, где один из нас должен погибнуть».

Не постигая, от кого мог быть этот вызов, я, однако ж, решился явиться в назначенный час и пошел тотчас к одному приятелю моему, англичанину, просить его в секунданты. Переехав в гондоле на площадь Св. Марка, я вошел в кофейный дом, под аркады, надеясь там найти моего приятеля, и у дверей получил другое письмо на французском языке, следующего содержания:

«Один из нас должен погибнуть, чтоб другой был счастлив. Завтра в 3 часа пополудни ожидаю вас со шпагою, на

твердой земле, в трактире Сирена, на берегу Бренты. Мы люди знакомые, и я не имею нужды подписывать своего имени, потому что при свидании вы узнаете, с кем имеете дело».

Две дуэли в один день, не шутка! Невзирая на то, что умею владеть шпагою и что я почитался в полку одним из искуснейших стрелков, я не мог, однако ж, преодолеть в себе смущения, получив вдруг два вызова. Как ни рассуждай, а весьма неприятно быть убитым или убийцею! Я догадывался, что волокитство мое вовлекло меня в это неприятное положение, но никак не мог проникнуть, какой случай вооружил против меня неизвестного мне земляка. Англичанин не только согласился быть секундантом, но и обрадовался, что будет свидетелем двух смертоубийств. Он признался мне, что национальная болезнь, сплин, уже начала мучить его и что он для того только предпринял путешествие по Европе, чтоб иметь более случаев познакомиться со смертью и возненавидеть жизнь.

Я провел целый день с англичанином. Он старался утопить в вине свой сплин, а я хотел

залить мое горе. Мы возвратились домой очень поздно. На другое утро я побежал с оружием к англичанину, и мы отправились тотчас на место свидания, чтоб иметь время позавтракать перед смертью.

Около 12 часов утра мы вышли на большую дорогу, ожидая нашего противника. Один итальянец, приятной наружности, подошел к нам и спросил, который из нас называется Миловидиным. После того он предложил нам прогуляться в парке, где ожидал меня противник. В конце рощи нашел я моего земляка, который прохаживался скорыми шагами, по небольшому лугу. Я подошел к нему и, приподняв шляпу, сказал:

— Милостивый государь! я не имею чести знать вас, и следовательно, не мог вас обидеть умышленно. Мне кажется, что было бы весьма благоразумно, если б мы прежде объяснились.

— Это вовсе не нужно, — отвечал мне земляк. — Обида, нанесенная мне вами, такого рода, что ее ничем нельзя загладить. До моего имени вам также нет нужды. Довольно того, что я русский дворянин, офицер и прибыл сю-

да нарочно для того только, чтоб драться с вами. Извольте становиться на позицию и стреляйте. Но помните, если вы захотите играть роль великодушного, то будете самоубийцею. Условие дуэли такое: секунданты наши должны отмерить пятнадцать шагов и мы по данному знаку вольны или тотчас стрелять в одно время с черты, или один из нас, дав выстрелить противнику, может подойти на один шаг и выстрелить в него, приставив пистолет ко лбу.

— Это не дуэль, а убийство! — воскликнул я.

— Что, неужели ты уже струсил, развратник! — сказал мой противник грозно. — Но если ты думаешь избегнуть наказания трусостью, то я тебе тотчас раздроблю голову! — Он, как бешеный, бросился на меня с пистолетом, и если б англичанин не успел схватить его за руку, то он, верно бы, в меня выстрелил. Кровь во мне закипела.

— Я покажу мою трусость! — воскликнул я и тотчас стал на черте.

Подали знак, я прицелился, спустил курок и — противник мой упал, облившись кровью,

не успев выстрелить. Я бросился, чтоб помочь ему, узнать его имя и причину его ненависти ко мне. Но он грозно возопил, чтоб я удалился и не осквернял своим присутствием последних минут его жизни. Секундант его не хотел также отвечать на мои вопросы и просил нас удалиться. Мы с англичанином возвратились в трактир, изумленные сим непонятным происшествием, и решились дожидаться срока другой дуэли, не возвращаясь в город.

Около условленного времени мы поехали к другому трактиру, где нашли также секунданта. Он ввел меня в комнату, где, к величайшему моему удивлению, застал я графа Сенсибили.

— Ваши уроки русского языка, — сказал он, обращаясь ко мне, — произвели такое действие над моею женой, что она вознамерилась, взяв свою часть имения и детей наших, отправиться в Россию. Итак, я решился, г. профессор, дать вам урок другого рода. Я мог бы вооружить против вас наемных убийц, как то делают другие наши мужья; но, быв в военной службе, я имею другие правила и хочу доставить себе удовольствие лично отмстить

вам за нанесенную мне обиду. Я все знаю!

— Об обиде ни слова, — отвечал я, — но если вы предполагаете, что я научил жену вашу оставить вас и отправиться в Россию, то клянусь вам, что вы ошибаетесь и что я в первый раз об этом от вас слышу.

— Полноте, сударь, полноте, — отвечал граф, — не украшайте ложью двойной своей измены; жене вашей — и... но я прибыл сюда не для объяснений. Пойдемте в сад.

Нельзя было отказываться, и я должен был драться на шпагах с несчастным мужем. Сначала я старался только защищаться и нанесть моему противнику легкую рану, чтоб прекратить бой; но граф так сильно напирал на меня и с таким жаром стремился лишить меня жизни, что я сам разгорячился и в свою очередь стал нападать на моего противника. В отчаянии он хотел ухватиться за шпагу мою и бросился на меня с размаху. Но острие моей шпаги вонзилось в грудь его, и он упал без чувств на землю.

Мы с англичанином перенесли раненого в трактир, послали за доктором и, оставив графа на попечении его секунданта, поспешили

в город. Приехав домой, я встретил жену мою, которая мне объявила, что граф и графиня Цитерины заперлись в своих комнатах и находятся в величайшей горести; что граф отказался даже видеть прелестную Петронеллу, а графиня не велела пускать меня к себе и просила перебраться на другую квартиру. Жена моя узнала от камердинера, что сын графа, бывший ротмистром в гусарском полку, которого мы прежде вовсе не знали, тайно приехал в Венецию, смертельно ранен на поединке и на одре смерти написал к родителям такое письмо, от которого графине приключились три обморока, истерика и нервный пароксизм, а граф почувствовал усиленный припадок подагры и род паралича. Я догадался тотчас, что мой непримиримый земляк был сын графа Цитерина, но скрыл это перед моею женой. Чрез полчаса я получил письмо от графини Сенсибили, в котором она упрекала меня в смерти отца ее детей, называла извергом, убийцею и запрещала являться на глаза. В отчаянии побежал я к приятелю моему, англичанину, и там узнал, что правительство ищет убийцу графа Сенсибили и приез-

жего иноземца и что если к вечеру я не убе-русь за границу, то буду арестован и заклю-чен в тюрьму. Я возвратился домой, собрал все наличные мои деньги и драгоценные ве-щи, написал к жене письмо, в котором уведо-мил ее обо всем случившемся, и советовал возвратиться в дом отца и ждать меня. После того я нанял гондолу и поехал на рейд. Один генуэзский корабль поднимал якорь, чтоб, воспользовавшись благополучным ветром, отплыть в Константинополь. Капитан, кото-рого я накануне потчевал в кофейном доме, согласился взять меня с собою, не спрашивая о паспорте. В 9 часов вечера я уже был в от-крытом море. Слезы полились у меня из глаз при мысли о моей несчастной жене, которой я не переставал любить и которую своим лег-комыслием и, сказать правду, беспутством увлек в пропасть! Но делать было нечего, и я, скрепя сердце, решился твердо перенесть мое несчастье. Раскаянье терзало меня, и я по-клялся исправиться.

В числе пассажиров находился один турок. Он говорил очень хорошо по-французски и по-итальянски и, видя мою задумчивость,

старался развлекать меня разговорами. Он был лет пятидесяти, много путешествовал по Европе и Азии, был в Египте и приобрел большие сведения чтением и наблюдением. Он признался мне, что он гамбургский жид, учился медицине в Лейдене и на тридцатом году от рождения, прибыв в Константинополь, решился принять магометанскую веру, из убеждения, а не из каких-либо видов. Не имея привычки спорить о религии, я не входил в расспросы по сему предмету; но, приметив, что он начинает чаще заводить разговор о вере, выхваляя исламизм, я объявил ему решительно, чтобы он никогда не говорил со мною об этом предмете, если желает пользоваться моею беседою. Ренегат исполнил мою волю и ограничился только похвалою турецкого правительства, что я слушал терпеливо для того только, чтоб знакомиться с правами и обычаями турок. Более всего он превозносил честность поклонников Магомета, их твердость в слове и утверждал, что исламизм излечил его самого от врожденных привычек израильтян, которые, по его мнению, поныне не перестали поклоняться золотому тельцу,

переделанному в червонцы.

Плавание наше было благополучно, и мы вскоре прибыли в Константинопольскую гавань. Я переехал в Перу, к одному итальянцу, который содержал род постоялого двора. Разбирая мой чемодан, я чуть не упал в обморок, не нашед в нем ни денег, ни драгоценных вещей. В отчаянье я побежал к корабельному капитану и объявил ему о покраже. Он ручался за свой экипаж, но не отвечал за пассажиров.

— Если б вы отдали деньги и вещи на сохранение мне, то, верно, с вами не случилось бы этого несчастья, — сказал он. — Теперь пеняйте на себя. Я сам человек небогатый и не могу вам помочь многим. Но вот десять червонных: вы мне отдадите, когда будете в состоянии.

С грустью в сердце возвращался я на постоялый двор и на пути встретил знакомого моего, ренегата, которому рассказал мое несчастье.

— Магомет повелевает помогать в бедствии, не только единоверцам, но и всем добрым людям, — сказал он. — Почитаю вас тако-

вым и предлагаю вам в моем доме квартиру и стол, без всякого вознаграждения. Впрочем, если вы когда-либо будете в состоянии заплатить мне, тогда я не откажусь от платы. А теперь об этом не должно и говорить. Возьмите свои вещи из трактира; я вас провожу в дом мой.

Я не знал, как благодарить ренегата за его великодушное предложение, и немедленно оным воспользовался.

Порта была тогда в войне с Россиею, и потому в Константинополе не было нашего посланника. Я никому не говорил, что я русский, и сказался славянином из Бока-ди-Катаро. В кофейных домах в Пере я познакомился с несколькими из Христианских жителей Константинополя, что доставляло мне некоторое рассеяние и даже пропитание. В доме ренегата я почти не видал людей; он редко говорил со мною, быв беспрестанно занят какими-то делами. Мне приносили кушанье в мою каморку; но хлеб подаяния был не только горький, но и слишком легковесный. Мне на день отпускали столько пилаву, сколько надобно было по расчету медицины, чтоб я не

умер с голоду, и если б я не имел помощи от греков, то, верно бы, получил чахотку от истощения.

Жизнь в Константинополе вряд ли может понравиться человеку образованному и чувствительному. Европейцы почти не имеют непосредственных сношений с турками, которые, в гордости своей и невежестве, презирают всех христиан и тогда только удостоивают их принятием в свое общество, когда предчувствуют какую-нибудь выгоду от сего знакомства. К тому ж образ жизни турок удаляет их от европейцев. Магометанин, если не занят какою-нибудь государственною службой, то проводит большую часть жизни в своем гареме и не знает другого наслаждения, как курить трубку и пить кофе в кофейном доме, смотря на конец своего носа и слушая вздоры трактирных болтунов или рассказчиков, составляющих особый класс. Турки весьма скупы на слова и тогда только многоречивы, когда бранят франков, то есть европейцев и всех гияуров, особенно раев, или христианских подданных Порты. Иногда и сам султан подвергается брани мусульман, особенно ес-

ли он предпринимает какие-либо нововведения, которые всегда почитаются нарушением ислама. В кофейных домах, под воротами сераля также смело бранят султана, могущего по произволу рубить головы кому заблагорассудится, как у нас в Европе, в так называемых оппозиционных журналах бранят министров. Впрочем, единообразная жизнь турок и их невежество не может доставить европейцу удовольствия в их обществе, и если иногда путешественники ищут знакомства с турками, то это из одного только любопытства, для наполнения своих путевых записок полуложными известиями.

Все дела в Константинополе, политические и торговые, исправляют пероты, или жители предместья, называемого Пера, составляющего не только отдельный город, но и отдельное царство, отдельный народ! Здесь живут потомки европейцев: итальянцев (большею частью венециан), илирийцев и других южных славян, армян, католиков, малого числа французов и еще меньшего англичан и немцев. Пероты могут гордиться тем, что предки их были равного достоинства с первы-

ми основателями Рима, во время Ромула, с тою разницею, что первые основатели Рима снискивали пропитание силою оружия и явно грабили на больших дорогах, а предки перстов делали то же украдкою. Пероты имеют и то преимущество пред римлянами, что они не переменили обычаев своих предков. Беспечность турецкой полиции в отношении к европейцам привлекла в Константинополь рыцарей промышленности и банкрутов всех наций, которые стали селиться в Пере, под защитою знамени Магометова. Язык перотов есть итальянский, всех наречий Италии, с примесью турецких, греческих и славянских слов, с особенным произношением. Невежество их во всем, что касается до наук и художеств, равняется турецкому, но хитрость заменяет все качества, а познание многих языков составляет всю их мудрость. Дети, едва начиная лепетать, уже приучаются говорить по-турецки, по-гречески, по-французски и по-итальянски. Это языкознание ведет перотов к богатству и почестям, предавая в их руки все дипломатические дела Порты, ибо из них избираются драгоманы, или толмачи, при евро-

пейских миссиях. Можно легко догадаться, с какою верностью служат они европейцам, когда удостоверятся, что перот ничего в мире не знает превосходнее своей грязной Перы, ничего величественнее турка, ничего мудрее и могущественнее султана и ничего хуже всех народов и всех людей, которые не исповедывают римско-католической веры или не имеют чести быть мусульманами. Честолюбие перота не простирается; далее места драгомана, а единственная цель жизни — накопление денег. Они также принимают на себя звание европейских торговых консулов и маклеров, а разбогатевшие, с грехом пополам, делаются банкирами. Пероты ненавидят греков и вредят им, где только могут, опасаясь влияния их на дела общественные. За то и греки платят им тем же. Греки оттого только не любят римских католиков, что их вера есть вера перотов. Между греками назвать кого перотом значит то же, что у нас назвать в укоризну иезуитом. Европейские путешественники и чиновники разных посольств более всего обращаются с перстами, потому, что образ их жизни более похож на европейский и что с

ними можно сообщаться без познания восточных языков. Женщины играют главную роль в обществе перотов. Все их упражнение состоит в том, чтоб летом сидеть целый день на софе, а зимою при тандуре. Этот тандур есть род четвероугольного низкого стола, покрытого ватованным одеялом, а сверху зеленым сукном. Под столом находится жаровня с раскаленными угольями, которая сообщает теплоту честной компании, помещающейся на малых софах вокруг тандура, спрятав ноги под стол и покрывшись до половины тела одеялом. Печей и каминов, как тебе может быть известно, нет в Константинополе. При сих тандурах играют в карты, рассказывают сплетни, восхваляют султана, когда он рубит головы и берет в казну имение своих подданных, не имеющих чести быть перстами, и заводят любовные интриги, передавая под одеялами записочки. Перотские женщины знамениты своею склонностью к любовным похождениям и по большей части помогают своим мужьям, братьям и отцам к возвышению, к обогащению и открытию политических таинств. По недостатку образованного европей-

ского общества, послы иностранные приглашают пероток на свои балы, для танцев, и они-то составляют константинопольский большой свет, смотря по достатку и связям. Меня ввел один грек в общество перотов, но как я не имел денег и не хотел более испытывать счастья в любви, то был принимаем сухо; мне самому не весьма нравилось в сих беседах, где я не находил пищи ни для ума, ни для сердца. Между греками я нашел более искренности, более ума и более обходительности, нежели между перстами. Гречанки почти все красавицы, когда, напротив того, между перотками красота есть редкость. Жены и дочери греческих бояр, или потомков древних греческих фамилий, отличаются умом и любезностью; но они не появляются в европейских обществах, потому что перотки стараются удалять их всеми средствами. Армяне занимаются только торговлею, променом и переводом денег, водятся между собою и живут по своему обычаю. Жиды, как повсюду, ветошники, брадобреи, мелкие продавцы, рассыльщики и плуты, исключая нескольких богатых ювелиров, которые отличаются тем,

что обманывают en grand, «оптом». Полиция турецкая весьма строго наблюдает за всем, что касается до торговли и городского порядка, имеющих влияние на спокойствие и потребности жизни мусульманина. На дела и поступки франков она не обращает ни малейшего внимания, пока не принесется жалоба на плутовство или на убийство. Но и тогда она позволяет откупаться деньгами. Оттого в целом мире нет такого раздолья для плутов, как в Константинополе. Это их отечество, и удивительнее всего, что, кроме чиновников европейских посольств и путешественников, самые честные люди в Константинополе суть неверные, то есть турки.

Я провел в Константинополе четыре месяца весьма скучно, не зная, на что решиться, как вдруг пронесся слух, что в некоторых частях города показывается чума. Зная, что бедному человеку, и притом христианину, трудно взять предосторожности от заразы, и не желая быть жертвою ее, я намеревался отправиться из Константинополя на острова архипелага или в Россию. Один приятель мой уверял меня, что я, как сын восточной церкви,

буду хорошо принят на островах, где следуют греческому исповеданию, но не советовал мне искать прибежища у греков римско-католиков. Я объявил моему хозяину о сем намерении. Но он сильно воспротивился этому.

— Ты не знаешь греков, — сказал он мне. — Выгода есть одно их божество, которому они постоянно поклоняются, а раздоры и несогласия одни только их знания в жизни. Без денег ты будешь принят как нищий, хотя б ты одарен; был всеми талантами в свете. Послушай меня: я давно уже пекусь о твоем жребии и наконец нашел для тебя местечко. Здесь находится персидский купец, один из первых богачей на Востоке. Он имеет нужду в европейском приказчике, для своей торговли. Отбрось на время свое дворянство и послужи у купца. Через пять или шесть лет ты будешь сам миллионщиком, возвратишься в отечество, снова прикроешься своею дворянскою мантиею и заживешь по обычаю вашей касты, переливая целый век из пустого в порожнее.

Подумав несколько, я согласился на предложение ренегата, и на другой день мы усло-

вились идти к персиянину.

Персиянин говорил немного по-русски и бывал несколько раз в Москве и в Петербурге.

— Мне нужен человек, знающий французский и итальянский языки, — сказал персиянин, — но тем лучше, что ты сверх того, знаешь еще по-русски. Завтра будь готов к отъезду с моим караваном. Если ты будешь хорошо вести себя, то тебе будет у меня хорошо.

Я хотел узнать, на каких условиях купец принимает меня к себе в службу. Но ренегат запретил мне это, уверяя, что я испорчу все дело видом корыстолюбия.

— Во всех не образованных по-европейски странах, — примолвил он по-французски, — купцы не платят известного годового жалованья своим приказчикам, но делят с ними барыши. Ты не должен показываться сребролюбивым; напротив, должен радеть только о выгодах своего хозяина, будто не помышляя о своих. Тогда купец примет тебя в долю и ты сделаешься его товарищем. Но пока он тебя узнает и полюбит, ты должен обходиться с ним раболепно, как водится на Востоке между господами и слугами. Решайся, любезный

друг, на малые неприятности для обеспечения твоего состояния на всю жизнь. Ты сам сказал мне, что у тебя нет состояния в твоем отечестве и что ты даже не имеешь никакой надежды приобресть там богатство. Нельзя же всегда жить на чужой счет и лучше всего быть самому себе обязанным своим достатком.

Слова ренегата: нельзя жить на чужой счет — заставили меня на все решиться. В тот же вечер я перешел в караван-сарай к персиянину и на другой день отправился с ним в путь.

Я не буду тебе описывать ни городов, ни стран, чрез которые мы прошли, ни обычаев разных племен азиятских, которых я видал на пути; это заняло бы много времени. Опишу тебе все виденное в нескольких словах. Невежество, жестокость, грубость нравов составляют главнейшие свойства сих народов, с тою разницею, что в азиятских городах, где торговля процветает, нега и малодушие заменяют в жителях любовь к познаниям, художествам и утонченной роскоши и что кочующие азиятские племена, напротив того, отли-

чаются дикою храбростью и хищничеством. Любезный друг! между европейцами есть люди, которые вопиют противу просвещения. Пусть они взглянут на Малую Азию и сравнят состояние, в котором она была под владычеством мудрых халифов, любителей и покровителей просвещения, с нынешним ее положением. Невежество унижает человечество до состояния бессмысленного животного, и самый опасный род зверей на земном шаре есть полупросвещенный народ, который, отступив от первой дикости, разбирает одни только буквы в *великой книге просвещения* и берет слова за вещи, а вещи за слова. Только одни порочные себялюбцы могут желать невежества, чтоб, пользуясь мраком, обманывать в промене своих поддельных товаров и фальшивой монеты. Но, любезный друг, я не могу лучше изобразить тебе пользы просвещения, как рассказав анекдот, который остался у меня в памяти от детства.

— С каким намерением заводишь ты академии, школы, распространяешь науки? — сказал визирь Муссафер халифу Аарону-Аль-Рашиду. — Не думаешь ли ты, госу-

дарь, что просвещенный народ будет лучше повиноваться тебе?

— Без сомнения, — отвечал халиф, — просвещенный народ будет лучше судить о справедливости моих законов и чистоте моих намерений.

— Но лучше ли он станет платить подати?

— Конечно: он в просвещении найдет более средств к своему обогащению и, сверх того, поймет, что я не требую лишнего.

— Воины твои лучше ли будут сражаться?

— Гораздо лучше, постигая, что счастье каждого семейства зависит от блага и славы отечества, и притом они будут сражаться успешнее, под предводительством искусных начальников.

— Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмешиваться в правление? не дерзнут ли они искать ошибок в делах твоих?

— Пусть ищут, находят и скажут мне: я буду осторожнее в будущем времени и поступлю лучше.

— Как! ты позволишь, о светильник мира! мудрецам своим говорить смело обо всем, что им придет на мысль?

— Иначе они не могли бы просвещать людей.

— Но разве самые мудрецы не могут ошибаться, не могут принять заблуждения за истину?

— Один ошибется, а другой заметит и поправит ошибку.

— Государь! я наконец должен открыть тебе все: с того времени, как народ твой стал просвещаться, некоторые дерзкие люди осмеливаются даже осуждать поступки твоих любимцев, облеченных твоею доверенностию, и даже меня, меня самого!

— Понимаю, — сказал халиф и вышел из комнаты.

Эту притчу я велел бы написать золотыми буквами на каком-нибудь публичном памятнике, для обличения ханжей и плутов, желающих водворить невежество, чтоб в мутной воде ловить рыбу. Желательно, чтоб все законодатели имели перед глазами примеры халифа Аарон-Аль-Рашида, который, водворив просвещение в грубом азиятском народе, доставил ему силу, богатство и славу. Упало просвещение в Азии, — упала и монархия ха-

лифов!

Множество купцов и странников соединились с нами для безопасного путешествия: ибо в странах невежества нельзя иначе путешествовать, как с прикрытием вооруженных воинов. Мы нанимали стражу от города до города. Хозяин мой поручил мне смотрение за караваном и обходился со мною весьма ласково, как с равным. Но когда мы приехали в персидские владения, то он объявил мне, что я его невольник и что он купил меня у жида-ренегата. Тщетно я уверял его, что ренегат не имел права продавать меня, потому что я никогда не был взят в плен, но приехал в Константинополь добровольно, как путешественник, под покровительством законов и прав народных. Персиянин возражал мне, что ныне война между турками и русскими, что ренегату известно, что я русский, следовательно, каждому турку позволено брать в неволю русского, где ни попало, и что, кроме того, я должен ренегату за квартиру и пишу столько, что во всю жизнь не в состоянии выплатить.

— Ты не торговался с ренегатом, — примолвил персиянин, — следовательно, он во-

лен поставить на твой счет миллион секинов!

Для большего убеждения меня в законности моего рабства, персиянин показал мне какую-то бумагу, которую он назвал купчею крепостью, засвидетельствованною Кадием в Константинополе. Надобно было молчать и повиноваться! Проехав чрез знаменитые персидские города, Тавриз и Тегеран, мы прибыли наконец в город Астрабад, где мой хозяин имел постоянное свое пребывание и вел обширную торговлю с Бухарой, Хивою и Россиею. Он вовсе не употреблял меня по торговым делам, но поручил мне обучать языкам сына своего, мальчика лет двенадцати, объявив, что всякое мое покушение избавиться рабства будет наказано смертию, а безропотное повиновение и смирение будут вознаграждены хорошим содержанием и ласковым обхождением. В самом деле, со мною обходились в доме довольно человеколюбиво, как наши помещики, находясь в хорошем расположении духа, обходятся с дядьками их сыновей или приходскими учителями.

Однажды я был в комнате моего хозяина,

когда пришел к нему купец покупать галантерейные вещи. Мой господин разложил на столе кучу перстней, серег и ожерелий европейских, и я весьма удивился, увидев между оными все мои вещи, украденные на корабле. Когда покупатель, поторговав и посмотрев вещи, вышел из комнаты, я сказал персиянину:

— Хозяин! между этими драгоценностями я вижу вещи, мне принадлежащие. Я не могу подозревать тебя в дурном поступке, потому что ты не был на корабле, на котором у меня похитили мою собственность. Но скажи, пожалуйста, каким образом ты достал эти вещи?

— Я купил их в Константинополе у прежнего твоего хозяина, жида-ренегата, — отвечал Персиянин.

— Итак, вот честность, которой научился жид в магометанской вере! — воскликнул я невольно.

— Приятель! — возразил персиянин. — Не вера виновата, а человек. Даю тебе совет: остерегайся всегда доморощенного волка и человека, из подлых видов своекорыстия переменившего веру.

Я с лишком три года пробыл в неволе и наконец решился бежать, невзирая на угрожающую мне смерть. Я познакомился с одним бухарским купцом и обещал ему богатый выкуп, если он проведет меня в Россию. По счастью, этот бухарец бывал в Москве и знал моего дядю, продав ему несколько шалей для его домоуправительницы. Бухарец вывез меня с собою из Астрабада и присоединил к каравану, идущему в Россию чрез киргизскую степь. Остальное ты знаешь. Тебе обязан я свободою. Возвращаясь в Москву, я намерен отыскать жену мою, исправиться совершенно от двух несчастных слабостей: волокитства и мотовства; определиться на службу и трудами снискивать хотя бедное, но честное пропитание.

— Аминь! — сказал я. — Похваляю твое намерение, а между тем, пора изготовляться в путь.

Глава XVIII
Выезд из степи. Опять капитан-исправник! Мытари. Пир приказных

Не стану описывать прощанья нашего с Арсалан-султаном, его семейством и целым аулом. Скажу только, что из сплюснутых карих глаз киргизов текли слезы гораздо искреннее тех слез, которыми орошаются наши траурные платья с плерезами, и хотя на киргизский язык не переведно ни прощаний Абелярда и Элоизы, ни прощаний Гектора и Андромахи, ни дружеских объяснений Ореста с Пиладом, но простодушные прощальные выражения доброго Арсалана и моих товарищей, наездников, растрогали меня до глубины сердца. Правду сказать, киргизские красавицы несколько гневались на меня за то, что я решился оставить степь, украшенную их прелестями, но в последнюю минуту все было забыто. Старики утешали других, повторяя: «Он возвратится к нам; увидите, что он возвратится. Невозможно, чтобы таком славно-

му малому нравилось что-нибудь более киргизской степи!»

Мы с Миловидиным ехали верхами. Отставной солдат, Никита Петров, которого я принял в услужение, вел трех верблюдов с нашими вещами. Тридцать удалых наездников составляли мое прикрытие и следовали за нами в некотором расстоянии. Погода была теплая, и странствие наше было весьма приятно.

Светский человек с добрым сердцем и умом только в удалении от общества познает истинную его цену. Мелочные заботы, связи, знакомства, искательства отвлекают ум от предметов важных, и только удар несчастия или уединение снимают с глаз очаровательную завесу.

— Теперь я чувствую в полной мере все ничтожество того, что почитал благами, — сказал мне однажды Миловидин, — и благодарю Провидение, что оно извлекло меня из пропасти порока посредством несчастия, которое я заслужил своим легкомыслием, или, лучше сказать, дурным поведением. Вот я в свете одинок, без жены, без родных, без друзей, без всякого состояния и даже не имею

права возбуждать жалость моим положением и утешаться воспоминанием моей невинности. Горькая участь! Чем бы я мог быть теперь, если б продолжал службу, употреблял мои способности на пользу общую и старался снискивать внимание и уважение людей почтенных, верных сынов отечества? Я искал в жизни одних наслаждений, одного рассеяния, не помышляя о будущем, не заботясь о настоящем. Что осталось мне от этих пустых знакомств, от связей, основанных на разврате? Пустота в сердце и раскаяние в душе. Я погубил жену мою, которой один порок — ветреность. Я мог сделать из нее добрую и счастливую супругу, украшение своего пола. Любезный друг! пусть мой пример послужит тебе уроком. В юности моей я не имел надежного путеводителя — вот причина всех моих несчастий! Живое мое воображение и пылкость характера не имели никакой узды. Никто не думал о том, чтоб вперить в меня какие-нибудь правила, которыми бы я мог руководствоваться в жизни. В юности моей я почитал синонимами: нравственность и скуку. Выжигин! ты находишься точно в таком по-

ложении, в каком я был в твои лета. Тебя также научили всему, кроме того, что тебе необходимо знать должно. Остерегайся людей, которые будут искать твоего дружества для того только, чтоб вместе искать наслаждений. Не следуй никогда первым внушениям и обдумывай средства прежде, нежели примешься за исполнение. Ты красавец! берегись женщин... Но ты зеваешь, Выжигин! Вижу, что нравоучение более действует на нас примерами, нежели словами.

В самом деле, не имея привычки слушать нравоучения, я едва не заснул на седле, когда Миловидин изливал чувства свои из глубины души.

— Любезный друг! — примолвил он. — Волею, или неволею, но я должен быть твоим путеводителем в свете. Если не прошедшая моя нравственность, то опытность, желание исправиться и любовь моя к тебе дают мне на то право.

Я подал ему руку, и он, хлопнув по ней, сказал:

— Навеки!

За час пути от первого русского форпоста

мы простились с киргизскою стражей. Когда мы увидели русского часового, сердца наши забились сильнее и мы сквозь слезы молились, благословляя любезное отечество. Надобно быть в отлучке, чтоб чувствовать приятность возвращения на родину. Первая минута, когда переходишь чрез рубеж, истинно очаровательна. Будущее представляется в самом блистательном виде, все тени исчезают в картине, и каждый человек, который говорит родным языком, кажется другом, братом!

Начальник форпоста, казачий офицер, принял нас очень ласково; но притом объявил, что как мы не имеем паспортов и возвращаемся в Россию с вещами, не бывшими еще в употреблении, то он должен представить нас, во-первых, местному начальству, где мы получим виды для свободного прожитья; во-вторых, в таможню, где пересмотрят наши товары, возьмут пошлину и приложат клейма. На другой день мы отправились в путь в сопровождении урядника и шести казаков.

Приехав в уездный город, мы явились к капитан-исправнику. Михаиле Иванович Шты-

ков был майором в пехотном полку и, вышед в отставку за ранами, принял должность капитан-исправника на своей родине, по просьбе дворян. Он был человек лет сорока. В чертах лица его изображалась некоторая угрюмость и важность. Приметно было, что он, сделав привычку начальствовать и повиноваться, требовал почтительности от тех, которых почитал младшими. Когда мы вошли к нему, он едва приподнялся с своего стула и, в вознаграждение за наши поклоны, только кивнул головою. Потом взял бумагу от урядника и когда вычитал в ней, что Миловидин отставной поручик, а я недоросль из дворян, привстал в другой раз, поклонился вежливо, хотя весьма сухо и, как говорится, свысока; потом сел и, указав на ряд стульев возле противолежащей стены, сказал протяжно:

— Милости просим садиться.

Между тем явился писец, который, вытянувшись струной, руки по швам, смотрел в глаза начальнику, ожидая приказаний.

— Милостивые государи! — сказал Штыков. — Бывали случаи, что бежавшие из России люди, даже преступники, укрываясь в

степях киргизских, возвращались оттуда, прибирая себе другие прозвания и даже сказывались чиновными. Для пресечения сего злоупотребления ныне постановлено выдавать не прежде паспорты русским выходцам, как удостоверившись, что показания их справедливы. Итак, извините, что я должен удержать вас в нашем городе, пока не придут ответы из Москвы и из губернского города на мои бумаги, которые я отправлю сегодня же. Знаю, что если б я стал дожидаться, пока получу судебное разрешение на выдачу нам паспортов, то вам пришлось бы здесь поседелть с горя и от старости. Но я позволяю себе некоторые отступления на пользу общую. К губернатору напишу я прямо в собственные руки, а в Москву — к приятелю моему. Если уверюсь в истине ваших показаний, то пройду штурмом чрез все формы. Теперь прошу одного из вас удалиться на другую половину, пока с другого возьмут изустное показание.

Служитель провел меня в другую комнату, чрез сени, и я от скуки стал рассматривать картинки, висевшие на стенах в деревянных рамочках, выкрашенных черною масляною

краской. Более всего обратила на себя мое внимание надпись за стеклом, написанная на пергамине буквами, составленными из человеческих фигур в разных положениях, вверх ногами, на коленях, ползком и т. п. Надпись гласила: *таков ныне свет*! Далее висели раскрашенные пальцем и гравированные гвоздем эстампы: *четыре времени года, четыре части света, приключения Женевьевы Брабинтской,* а в самом почетном месте, над большим стулом, портрет Петра Великого. В небольшом шкафчике стояло за стеклом несколько десятков книг, между коими я заметил: *Библию и Новый Завет; Ядро Российской Истории Хилкова; Российскую Историю Татищева; Памятник из Законов; Сочинения Ломоносова и Адрес-Календарь*. Чрез четверть часа позвали меня в комнату исправника, где я должен был отвечать на вопросные пункты. Я объявил только, что выехал из Москвы от тетки моей с Вороватиным в Оренбург, что заболел в этом городе и, пришед в чувство, очутился в плену у киргизов, сам не зная, каким образом. Я не хотел высказывать моих догадок на Вороватина и Ножова и того, что Арса-

лан-султан спас меня из рук извергов, хотевших лишить меня жизни. Это слишком далеко завлекло бы меня и могло бы навязать уголовное дело. Миловидин советовал мне помолчать до времени, пока мы не разведаем чего-нибудь сами или не встретимся с Вороватиным. Когда кончился допрос, исправник потребовал, чтоб я отдал ему в сохранение все свои деньги, и объявил, что он приискал для нас дешевую и покойную квартиру, где нам будут давать все в долг.

— Деньги отдам я вам тогда, — примолвил он, — как получу ответы из Москвы и от губернатора!

При сих словах Миловидин не мог удержать своего гнева и воскликнул:

— Как вы смеете грабить нас?

— Грабить! — повторил исправник, покраснев от досады. — Государь мой! я брал города штурмом, завоевывал провинции — и никогда не грабил. Благодарите судьбу, что ваше положение и мое звание не позволяют нам рассчитаться другим образом. Я действую по закону. Понимаете ли: по закону! Вы безпаспортные; я не знаю, кто вы, и потому

не могу оставить у вас денег, чтоб вы не уничтожили всех предосторожностей, взятых мною на ваш счет. Это все равно, если б я отдал пленным туркам ключи от порохового магазина в крепости. Извольте идти в свою квартиру!

Вспомнив о Савве Саввиче и думая, что все капитан-исправники на один покрой, я сказал ему:

— Послушайте, г<осподин> майор, кончим миролюбиво! Возьмите себе двести червонцев и отпустите нас, сегодня же, в Москву, без дальних хлопот.

Исправник снова покраснел, устремил на меня свои большие глаза и молчал.

— Если вам мало, — примолвил я, — возьмите еще сто и избавьте нас от всяких притязаний.

Тут исправник вспыхнул и, проговорив дюжины три ругательств, не относящихся, однако ж, ни к чьему лицу, а повторяемых нами иногда, вроде поговорок, закричал как исступленный:

— Молодой человек! замолчи, или я не выдержу! Как ты смеешь предлагать мне день-

ги? Ты, верно, провел молодость свою с плутами, или... — Он от досады не мог кончить своей речи. Я отвечал хладнокровно:

— Извините, я знал капитан-исправников, судей и даже прокуроров!

— Черт их всех побери и с вами! — воскликнул исправник. — Отдайте деньги и убирайтесь.

Делать было нечего, и я отдал мой мешок с червонцами. Исправник пересчитал в молчании деньги, дал мне расписку в получении и велел инвалиду проводить нас на квартиру, сказав, что этот служивый останется при нас для почетной стражи. Когда мы вышли на улицу, Миловидин сказал:

— Вот, брат, попали мы из одной степи в другую! Этот г(осподин) исправник, право, не вежливее киргизских наездников. Не видать нам червонцев, как ушей своих! Золото растает как масло, когда только станет переходить по рукам приказных. Проклятый капитан-исправник!

— Не сердись, любезный друг, и не спеши в суждениях, — отвечал я. — Правда, что этот исправник груб, как дикая лошадь, но ты ви-

дел, как он сердился, когда мы подозревали его во взятках.

— Все это одни только уловки, — возразил Миловидин. — Я давно уже перестал верить бескорыстию приказных и готов биться об заклад, что нам не видать более червонцев! У этого грубияна и пушечными выстрелами не выбьешь денег из кармана. На что ему было брать от тебя часть, когда он схватил целое; а ты знаешь математическую аксиому, что часть не может быть равна целому.

— А расписка?

— Важна ли расписка на лоскутке, когда и гербовая бумага в руках подьячих сгорает, как на угольях. Тебя так опутают, что ты сам отречешься от своей собственности, ради спасения души и сохранения тела.

— Увидим!

— Увидим!

Для нас наняли две чистые комнаты в доме купца, торгующего винами, сахаром, чаем и вообще пряными кореньями. Мы застали уже гг. таможенных чиновников, которые расхаживали вокруг наших кип с товарами, как лисицы вокруг курятника, а наш отстав-

ной солдат, как верный пес, сторожил нашу собственность, сидя на одной кипе и поглядывая искоса во все стороны. Лишь только мы вошли в комнату, таможенные чиновники явились к нам: один с клеймами, молотком и шнурками, другой с бумагою, третий с большою книгою под мышкою.

— Извините, милостивые государи, что мы должны обеспокоить вас, — сказал один из них с нежною ужимкой.

— Но мы скоро кончим, — возразил другой.

— И кончим как вам угодно, полагаясь на ваше слово, — примолвил третий.

— Должность наша сопряжена с большими неприятностями, — сказал первый, — но между честными и образованными людьми есть средства, есть способы смягчить и ускорить скучное и неприятное производство дела. Особенно в теперешнем случае должно быть снисходительными: вы не купцы, вы не знаете, что вам надобно подать объявление, приложить список товарам, означить цену, написать и подписать многое множество разных бумаг.

— Все это я беру на себя, — сказал другой, свертывая бумагу в трубку и вежливо поклонившись.

— Потом клейма, оценка, — примолвил первый.

— Это мое дело, — сказал третий, поклонившись.

— Наконец оплата пошлин: мое дело, — сказал первый, возвыся голос и посмотрев значительно на двух прочих.

— Господа! — сказал я. — Делайте, что вам следует. Мы ничего не понимаем в этом ремесле, но, видя вашу вежливость, надеемся, что вы нас не обидите.

— Обидеть, сохрани Бог! — воскликнули все трое вместе.

— Теперь позвольте нам заняться делом, — сказал первый, — и прошу быть свидетелями, потому что мы чужды всяких прижимок и не хотим даже возбудить подозрения в честных людях.

Мы вышли все вместе под навес, где лежали кипы с товарами. Несколько сторожей принялись их развязывать, и я, не зная сам, что в них находится, весьма обрадовался, уви-

дев целые кучи шелковых тканей, бухарских платков и даже одну кипу шалей турецких, отличной доброты. Я приметил, что краска выступила на лицах таможенных чиновников при виде этих товаров. Первый из них взял под руку меня и Миловидина, отвел в сторону и сказал:

— Пошлины за эти товары будут вам стоить ужасно дорого, почти половины всей цены. Но мы все это сладим так, чтоб и волк был сыт, и овцы целы. Однако ж для оценки позвольте нам взять на дом по нескольку штук из всех товаров: ибо оценяя при людях, вы понимаете, нельзя будет сделать что-либо в вашу пользу.

Я посмотрел на Миловидина; он улыбнулся и пожал плечами.

— Делайте что хотите, только кончите поскорее, — сказал я. Чиновник поклонился вежливо, и, возвратясь к кипам, прошептал своим товарищам по нескольку слов, и стал откладывать товары на сторону. Между тем другой писал, а третий клеймил. Дело горело в руках. Наконец смерклось, и господа таможенные чиновники ушли, оставив при това-

рах своих часовых. Когда же сделалось темно, то приехал чрез задние ворота ямщик, уложил в повозку отложенные в сторону товары и повез их со двора — для оценки!

На другой день, со светом, явился один из таможенных чиновников со множеством бумаг, на которых мне должно было подписаться. Наконец он представил оценку товаров и счет следующих с меня пошлин. Я написал записку к исправнику, прося его удовлетворить таможню, что он тотчас исполнил и, пришед к нам на квартиру, сложил все товары в амбар и запечатал, сказав:

— Товары ваши подвергаются одной участи с червонцами: вы будете иметь право распоряжать ими тогда, как я получу ответы.

Когда вся эта операция кончилась, хозяин наш, почтенный старик с седою бородой, вошел в нашу комнату и сказал, что если мы будем иметь в чем нужду, то относились бы к нему. Я просил его сходить к гг. таможенным чиновникам и попросить их, чтоб они отдали нам товары, взятые на дом для оценки.

— Что с возу упало, то пропало! — примолвил, улыбаясь, старик. — Невзирая, однако ж,

на это, с вас взяли пошлину вдвое против тарифу. Эти господа не забыли ни себя, ни казны.

— Это называется уменье соединять полезное с приятным! — сказал Миловидин. Я хотел было сердиться, жаловаться, но купец успокоил меня и удержал от всяких покушений, представив, что все это будет напрасно, потому что я подписал квитанции.

— Надобно терпеливо покоряться обстоятельствам, когда невозможно их избегнуть, почтенные господа! — сказал купец. — Например, если в доме двери низки, то каждый, кто чрез них желает войти, должен непременно поклониться, чтоб не удариться лбом. Если на мосту одно бревно положено выше других, то каждая повозка непременно должна встряхнуться, проезжая чрез него. Так точно в некоторых делах человеческих есть всегдашние злоупотребления, рождающиеся от удобности делать их; ни время, ни законы, ни силы не могут их искоренить. Еще во времена Апостольские мытари славились своим ремеслом, которое доставляло им богатство вместе с нареканиями народа. До сих пор со-

бирателя пошлин, во всех странах мира, поддерживают с блеском древность своего происхождения и подражают знаменитым предкам своим, как достойные потомки. Вы сегодня испытали это на себе, господа, а я испытываю целую жизнь. Впрочем, милостивые государи, не судите о всех по некоторым. Каждая вещь имеет лицевую сторону и изнанку, и между нынешними мытарями вы найдете людей, достойных всякого уважения. Но, по несчастию, свет идет таким порядком, что, где более случаев к греху, там более греха. Трудно кузнецу не обжечься, трудно рыбаку не замочиться. Вы понимаете меня, господа!

Первым нашим старанием было одеться по-европейски, ибо у нас не было другой одежды, кроме киргизской. Имея деньги, я хотел одеться по моде. Пока хозяин доставал нам сукна, мы несколько дней провели не выходя из дому и смотрели в окно на прохожих. Дом был на площади, на которой находился немецкий трактир. Здесь толпились чиновники и дворяне, приезжающие в город за делами или от безделья. Мы хотели присмотреться к модам, но никак не могли добиться

толку: в уездном городе всякий молодец на свой образец, в полном значении сего выражения. Молодые люди носили ужасные бакенбарды, усы, закоптелые от табачного дыму, и испанскую бородку. Растрепанная голова покрыта была картузом или фуражкою. Венгерка, то есть сертук, убранный шнурками по-гусарски, или казачий чекмень, длинные плисовые или нанковые шаровары и черный галстук составляли весь наряд уездного щеголя. Фраки хранились на важные случаи, балы, свадьбы и званые обеды. Каждый помещик запасался одеждою в столице, когда случалось ездить туда для займа денег в Опекунском совете, или выписывал платье чрез приятелей из губернского города. Оттого в уездном городе не было постоянного покоя и невозможно было узнать, которая из запоздалых мод была последняя. Кроме того, модные фраки и жилеты весьма часто переходили из рук в руки посредством меновой торговли, с помощью 52 раскрашенных листиков, и оттого платье не у всякого было по росту и по объему. Словом, мы были так несчастны, что не могли увидеть в течение

шести дней ни одного человека, одетого по моде, а трое городских портных, которых мы пригласили на совет, разногласили между собою. Наконец, приехавший из Москвы управитель одного вельможи вывел нас из недоуменья. Мы, взяв его за образец, оделись кое-как, на первый случай, и стали выходить из дому.

Первостепенные особы в городе были: городничий, уездный стряпчий, казначей и члены уездного суда: последние, однако ж, не имели сильного влияния на общество потому, что жили по деревням и приезжали в город только на сроки заседания суда. Представителем их был секретарь, который в своем лице соединял всю важность судилища в юридическом и светском отношениях. Капитан-исправник, хотя имел большое значение в уезде, но в городе власть его уступала власти городничего, и потому он был ни первым, ни вторым, но равным городничему, следовательно, естественным его соперником. В сем небольшом кругу большой свет (со всеми своими интригами, причудами и странностями) отражался:

«Как солнце в малой капле вод!»

По прошествии двух недель, капитан-исправник, будучи доволен скромным нашим поведением, укротил гнев свой и заставил сестру свою, жену стряпчего, пригласить нас к себе на именины. Мы пришли к самому обеду и застали уже многочисленное общество. Дамы, разряженные в блондовых чепцах, в богатых платьях, в турецких шалях, украшенные жемчугом и бриллиянтами, сидели особо и говорили громко между собою. Девицы составляли особый кружок и перешептывались, потупив взоры. Хозяйка не занималась сама с гостями, но перебегала по всем комнатам, суетилась и заботилась. Блондовый чепец ее несколько почернел от кухонного дыма, и локоны распустились от жару. Как скоро новая гостья входила в комнату, то маленькая дочь хозяйки тотчас давала ей знать об этом; она выбегала впопыхах из кухни, вся раскрасневшись; потом поздоровавшись с новоприезжею и указав ей место, снова поспешала к хозяйству.

Другие гостьи с жадностью осматривали новоприбылую приятельницу с головы до ног

и, казалось, взорами срывали с нее наряды. Мужчины, по большей части чиновники, были все в мундирах: они важно расхаживали по комнатам, часто останавливаясь возле столика, на котором стояла водка и закуски. Все знали о нашем приключении и о том, что у меня есть деньги и товары, а потому все обращались с нами довольно вежливо, однако ж с видом покровительства, ибо неизвестно еще было, буду ли я просителем или свободным от следствия и суда.

Я хотел послушать, о чем разговаривают между собою провинциальные чиновницы, и, остановясь в дверях небольшой гостиной, услышал следующее:

— Ах, матушка, какой у вас пребогатый чепец! Неужели это с ярмарки?

— Нет, мать моя; прямехонько из Москвы, с Кузнецкого мосту, от мадамы француженки.

— А ваше платье, сударыня, здесь ли шито?

— Помилуй Бог! Уж мне эти доморощенные швеи нашей дворянской предводительши! Режут да шьют, а фасону-то, матушка, не могут никак снять с модных картинок.

— Да ведь журналы-то писаны по-французски!

— Что за беда: сама Матрена Ивановна ведь только и дела, что сидит за французскими книгами. Могла бы растолковать своим швеям.

— Да ведь для швей-то пишут портные, так не всякой поймет, когда мастеровые заговорят своим языком.

— И то правда: недавно сынок Андрея Кузьмича читал мне описание модного платья. Носить так сношу, а понять, право, мудрено!

— Уж нечего сказать, мудреный народ эти французы, откуда слова берутся для названия каждого шва, каждой петельки, каждой складочки!

— Да вы, милая моя, и не похвастались новою своею шалью. Пребогатая!

— А где купили?

— Мой Сидор Ермолаевич привез ее с откомандировки.

— Дай Бог ему здоровья!

— А ваш фермуар где куплен, милая кумушка?

— В Петербурге.

— Да я видала его у жены откупщика.

— Мой Карп Карпыч взял его за долг и в дорогой цене, матушка.

— Так уж откупщик входит в долги?

— Уж не стряпчему же быть должным откупщику!

— И то правда, матушка.

— Ах, кстати, была ли у вас Акулина Семеновна Падчерицына: ведь идет следствие по делам ее мужа.

— Была.

— И у меня была.

— И у меня.

— Ах, матушка, что за женщина! Уж ей бы родиться приказным. Так и сыплет указами! Все охает да жалуется на бедность, на притеснения, а какие шали, какие жемчуги!

— Сказывают, что она не забывала себя, когда муженек ее был при месте.

— Как забывать, ведь она не дура!

— Сошлись по нраву и по сердцу!

— Слыхали ли вы анекдот про эти большие жемчуги, которые у нее висят на шее, как хомут, прости Господи!

— Нет!

— Ах, расскажите, расскажите!

— Как муж-то ее был в силе, то секретарь не смел написать заключения, не спросясь Акулины Семеновны, а просители должны были являться прежде к ней, чем в суд с челобитьем. Однажды пришла к ней старушка в платочке и в худенькой шубейке просить за внука, которого общество отдало в рекруты. Поклонясь в ноги, старушка подала Акулине Семеновне тавлинку, примолвив:

— Возьми, матушка: не тебе, так дочке пригодится.

Акулина Семеновна думала, что старушка дарит ей тавлинку с табаком, рассердилась, закричала во все горло, чтоб помещики, которые были в другой комнате, услышали о ее бескорыстии, и ударила старушку по руке. Тавлинка упала на землю, и по полу рассыпался жемчуг. Вот тут-то суеты! Акулина Семеновна сама бросилась на пол и давай подбирать жемчуг да кричать изо всей силы, чтоб дочка ее, Ашенька, подоспела к ней на помощь. Ашенька прибежала к ней из другой комнаты и позабыла прихлопнуть дверь, так

дворяне-то и увидели всю комедию. Один из них расспросил старушку на улице да и распустил весть по целой губернии.

— Ха, ха, ха!

— Вот те и наука, чтоб не пренебрегать малым. Недаром Сидор Карпыч всегда повторяет: «Всякое даяние есть благо, и всяк дар совершен».

В это время нас позвали к обеду. Дамы уселись на одной стороне, на верхнем конце стола, а мужчины поместились особо. Я занял место возле капитан-исправника. Обед начался огромным пирогом с рыбою, в котором могла бы выспаться сама почтенная хозяйка. Наливки всех цветов и названий поспешили на помощь пирогу и бросились опрометью и в большом количестве в горло гостей, чтоб предохранить их от вредных следствий недопеченного теста и полусырой рыбы. Вслед за пирогом следовали холодные: поросенок с хреном, студень, ветчина и т. п. Холодное надлежало разогреть, и опять прибегнули к наливкам и к мадере, которая весьма приятно светилась в пивных стаканах. Вкусные русские щи надлежало также развесть в желудке

мадерою, итак, пока дошли до первого кушанья после щей, уже лбы почтенных собеседников покрылись блестящим лаком, а носы зарделись как клюковки. Здесь-то я выразумел настоящий смысл русской пословицы: «Первая чарка колом, а вторая соколом». Разница в том, что летали соколом не чарки, а стаканы и бутылки. Пока несколько блюд с соусами обошли кругом до появления жаркого, все гости (исключая капитан-исправника, меня и Миловидина) были в таком расположении духа, что готовы были лезть на батарею. Вино размочило твердые приказные сердца, и откровенность поднялась из них в виде густого пара и осела на языке.

— Мартыныч! — воскликнул секретарь земского суда так громко, что окна затряслись в доме. — Мартыныч!.. Изменил ты мне, окаянный: выпустил медведя из моих тенет. Век бы тебе не простил, если б не жена твоя, моя кумушка.

— Полно, не сердись, Карпыч, — отвечал уездный стряпчий, — когда б ты один содрал шкуру с медведя, то нам не досталось бы ни клока шерсти. Нечего сказать, ты мастер по-

трошить просителей, Карп Карпыч, а у меня ведь также жена и детки хлеба просят.

Все засмеялись.

— Нечего сказать, мастер потрошить Карп Карпыч! — воскликнули со всех сторон. Секретарь гордо перевалился на стуле, погладил себя по голове и по брюху и важно сказал:

— Дело мастера боится.

— Почтенные господа! — воскликнул с конца стола сухощавый, лысый и черномазый подьячий, тонким и звонким голосом. — Вся мудрость человеческая выписана на голландском червонце. Вся латынь, которой обучался я в семинарии, не стоит одной этой надписи: Concordia res parval crescunt, сиречь: согласием вещи держатся. Это означает, что если господа судьи хотят иметь червончики, то должны жить мирно, согласно, решать дела единодушно и слушать секретаря. Ведь кавалер-то, изображенный на червонце, есть не кто иной, как секретарь, а пук стрел в руке его означает то, что он должен всех судей и все дела держать в руках!

— Браво, Климыч, браво! — воскликнули приказные в восторге.

— Держать в руках, — примолвил секретарь, — да еще и в ежовых рукавицах!

Между тем внесли корзинку с шампанским, и начались тосты. Выпив за здоровье хозяйки, хозяина и, наконец, каждого гостя и отдельно жены его, чад и домочадцев, принялись за питье, как за работу, как за очищение бутылок по подряду. Когда корзины кончили, тогда встали из-за стола и кое-как побрели в гостиную.

Я не упоминал до сих пор о соседе моем, капитан-исправнике. Он не принимал никакого участия ни в питье, ни в разговорах почтенной компании и молчал в продолжение обеда. Гости также не обращались к нему с речами, потому что, зная нрав его, опасались, чтоб он не сказал им в глаза какой-нибудь жестокой правды, обыкновенно называемой грубостью. После обеда капитан-исправник пригласил меня и Миловидина в садик, прилежащий к столовой зале, где, между рассеянными в беспорядке фруктовыми деревьями, произрастали подсолнечники, мак и пивонии. Мы сели на дерновой скамье, и капитан-исправник сказал:

— Я с удовольствием заметил, что вы не любите осушать стекло, по примеру любезных моих сослуживцев. Вы можете судить о моем горестном положении, — примолвил он, обращаясь к Миловидину, — видя, с какими людьми должен проводить жизнь старый служивый. Но нужда долбит камень. Эти приказные пиявицы давно бы задушили меня, если б, по счастью или по несчастью, я не породнился браком сестры моей с одним из их шайки и не был в милости у губернатора, прежнего моего генерала. Противу течения мудрено плыть. Довольно и того, что я успел оградить свою часть управления от их влияния. Дворянство меня выбрало и положило мне содержание, едва достаточное для прожитья. Поживите здесь, услышите более о Штыкове, а между тем прошу вас не заключать по виденному и слышанному о целом уезде. Здесь есть честные и благородные люди между помещиками и выбранными от дворянства чиновниками; но как, по несчастию, наши дворяне не учатся русскому законоведению и немногие из них привыкли к письменной работе, а те, которые служили в

гражданской службе, уклоняются от выборов, удаляясь в деревню на покой: то само по себе разумеется, что делами ворочают приказные. Это особая порода на святой Руси, которая живится, как моль, указною пылью. Советую вам идти домой, чтоб не быть свидетелями еще большего соблазна. Может случиться, что господа блюстители правосудия вцепятся друг другу в волосы, когда дойдет дело до объяснений.

Исправник встал, и мы последовали его совету. Между тем в сад вошли многие из гостей, держась за руки и напевая песни. Вошед в комнаты, чтоб отыскать наши фуражки, мы увидели, что уже на одном столике играли в банк, а на другом в горку и пучки ассигнаций начали переходить из рук в руки.

Пришед домой, мы попросили к себе хозяина, чтоб он объяснил нам некоторые непонятные для нас вещи:

— Растолкуйте, пожалуйте, — сказал я, — что за странный человек ваш исправник?

— Он слывет у нас чудаком, — отвечал хозяин. — В самом деле, Михайло Иванович Штыков не похож на своих товарищей, отто-

го и кажется всем странным. Он происходит из мелкопоместных дворян здешнего уезда. В военную службу вступил он с молодых лет и по смерти своих родителей отдал часть своего наследства сиротам, детям покойной своей сестры, бывшей замужем за одним честным, но бедным чиновником. Другую сестру его вы знаете. Дослужившись до майоровского чина и вышед за ранами в отставку, он жил здесь у меня в доме, небольшим своим пенсионом, пока дворяне не предложили ему места исправника. Михаиле Иванович объявил решительно, что он взяток брать не умеет и не хочет этому учиться, а потому не может и не желает принять места, с которым сопряжены излишние расходы. Дворянство упросило его наконец принять место и положило давать ему известную сумму на канцелярию и на разъезды, с ведома начальства. Вот уже десять лет, как он исправником и все честные люди его благословляют. Все земские повинности, починка дорог, подводы, постои распределяются у нас с величайшею точностью, по очереди и по числу душ. Взимание податей и недоимок производится без всякого по-

слабления, но с величайшим снисхождением к бедным. Беглые и праздношатающиеся не смеют появиться в нашем уезде; поселяне, зная, что поимкою их могут угодить доброму своему исправнику, которого они называют отцом, вовсе отреклись от пристанодержательства и тотчас представляют беглых в суд. Следствия производятся без угроз и побоев, но с неумытною справедливостью. На ярмарках Михаиле Иванович не берет с купцов денег за позволение торговать контрабандою или обманывать несведущих дурными товарами, но наблюдает за порядком, за весом, мерою и качеством товаров. При рекрутских наборах старосты и выборные в казенных волостях не смеют отдавать в солдаты не в очередь и лишать последней подпоры беззащитных родителей. Управители частных имений, которых хозяева живут в столицах, не могут угнетать крестьян и обманывать своих господ. Даже порочные или злые господа, которые, слава Богу, весьма редки, не могут обращаться противузаконно с своими креп постными людьми. Одним словом, Михаиле Иванович денно и ночно печется об искоренении

злоупотреблений, водворении истины и исполнении законов. Правда, он груб в обхождении, не любит терять напрасно слов, не умеет смягчать горькой истины сладкими речами и исполнять свой долг с комплиментами. Он строг с порочными, неумолим с злыми и снисходителен к одним слабостям, но на деле, а не на словах. Он бы давно погиб от козней приказных и замыслов злоупотребителен власти, если б его не поддерживал наш губернатор, человек честный и благонамеренный, также из военных, который знал его еще в полку. Все честные люди любят и уважают Михаила Ивановича, злые ненавидят его и боятся как чумы. Впрочем, он не вмешивается в чужие дела и требует только, чтоб другие не мешались в его управление. Вот каков наш чудак! Он поступил с вами несколько строго, но поступил законно и хотя обошелся грубо, однако ж и не обидел вас, и не лишит вас собственности, как наши вежливые мытари.

— Согласен, — примолвил Миловидин, — что горькое лекарство лучше, нежели сладкая отрава.

Глава XIX
Деловая беседа у русского купца. Беспокойный человек. Кончина злодея

Хозяин позвал нас к себе откушать чаю. Мы застали у него приходского священника и одного порядочно одетого человека средних лет, приятной наружности, которого обращение и приемы показывали, что он привык жить в хорошем обществе. Хозяин познакомил нас, назвав своего гостя Петром Петровичем Виртутиным. Мы сели вокруг дубового стола и, попивая чай, стали рассуждать о предметах, которые показались мне чрезвычайно важными потому, что я в первый раз слышал разговоры о делах общественных.

— Не казалось ли бы вам странным, даже непостижимым, господа! — сказал купец. — Если б во всех французских портах одни немцы и голландцы, а в английских портах испанцы и итальянцы производили внешнюю торговлю и чтоб французы и англичане, как верблюды, только перетаскивали на своих

спинах товары из внутренности государства к морскому берегу, для того только, чтоб чужеземцы пользовались неимоверными выгодами, без труда, без забот, без ответственности, потому единственно, что на дверях их жилищ прибита медная дощечка с надписью: *Контора*?

— Я бы сказал решительно, — отвечал Петр Петрович, — что если туземцы работают как быки, позволяя из себя вырезывать бифштекс иноземцам, то есть если туземцы трудятся для обогащения пришлецов, торгующих их трудами, то, верно, эти коренные жители не имеют ни довольно ума, ни довольно денег, и даже ни довольно честности, чтоб самим быть купцами.

— Это слишком строго, — отвечал священник. — Я бы сказал, что, верно, какая-нибудь другая господствующая страсть отвлекает туземцев от внешней торговли, предоставляя все выгоды встречному и поперечному.

— Вы оба имели бы права так думать, — сказал купец, — но, к счастью, вы правы, батюшка. Приведем дело в ясность. Я говорю о нашем любезном отечестве. Не странно ли,

не унизительно ли для народного самолюбия, что в России вся почти внешняя торговля производится посредством иностранных контор и факторий, находящихся во всех русских портах и даже в столицах, как будто бы Россия была Китаем или Японией? Чужеземные купцы и фабриканты имеют дело только с этими конторами, а мы, русские, должны смотреть в глаза гг. конторщикам, доставлять им, чего они потребуют для отсылки за границу, и покупать у них чужеземные произведения по ценам, какие им угодно назначать в общем их совете. Эти гг. иноземные конторщики, которых мы величаем негоциантами, не выше почитают русских купцов, как своих артельщиков или биржевых дрягилей, и как будто ради Христа делятся с нами сотою частью своих барышей. Скажите, господа, неужели этот порядок дел будет вечно продолжаться и неужели в отношении к торговле мы будем всегда на той самой степени, как во времена открытия Архангельского порта Ричардом Ченселором, при царе Иоанне Васильевиче? Кажется, у нас есть все средства, чтоб составить почтенное купеческое сосло-

вие. Уму, проницательности и сметливости нашего народа отдают справедливость сами иностранцы. Честь наша в торговле, право, не ниже добродетелей гг. иноземных конторщиков, а в капиталах мы всегда будем иметь преимущество, имея в своих руках сырые произведения нашей земли и русский товар. Напротив того, у конторщиков, при начатии их дел, все богатство составляет медная дощечка с надписью: *Контора*, и несколько рекомендательных банкирских писем.

— Несколько рекомендательных банкирских писем! Вот в этом-то и вся сила, — воскликнул Петр Петрович. — Скажи, любезный Сидор Ермолаевич, кому бы ты более поверил: старожилу ли здешнему, которого ты знаешь давно с хорошей стороны, или приезжему торговцу, которого ты вовсе не знаешь?

— Разумеется, я скорее бы поверил старожилу, — отвечал купец. — Но позвольте, Петр Петрович, если это сравнение клонится к нашей речи, то, кажется мне, что русских купцов скорее можно сравнивать с старожилами.

— Так бы следовало, но не так в самом деле, — возразил Петр Петрович. — Ты, Сидор

Ермолаевич, лет пятьдесят как торгуешь и знаешь всех лучших купцов в Москве и Петербурге. Насчитай же мне, пожалуйста, полдюжины русских фамилий, которые известны в торговле от прадеда?

— Признаюсь, я не знаю ни одной, — отвечал Сидор Ермолаевич. — У нас, как скоро купец разбогатеет, то или обанкрутится оттого, что перестает водиться с своею братьей, пренебрегает делами, живет на барскую стать и отдает дочек за голеньких князей и графов, или спивается с кругу, от чванства и радости, оставляя именье на расхищение плутам приказчикам и мотам деткам, которые уже стыдятся быть купцами и лезут в чины; или, наконец, сам добивается до личного дворянства разными проселочными путями, под вывескою усердия и пожертвований! Правда, у нас нет старых купеческих домов и едва ли есть один знаменитый торговый русский дом в России, который начинает свою родословную далее царствования императрицы Екатерины II.

— Торговля поддерживается кредитом, а кредит известностью и древностью рода, —

сказал Петр Петрович. — В Англии, во Франции, в немецких ганзеатических городах, в Голландии, в Швеции, в Дании вы найдете купеческие домы, которых фирма известна в течение целых столетий и возбуждает более доверенности, чем гербы княжеские. А у нас купцы — перелетные птицы в коммерции. Наш купец покажется на сцену, разжиреет, пустится в гору, а потом падает или разгуливает, напудрившись геральдическою пылью.

— Правда, совершенная правда! — примолвил купец, поглаживая бороду.

— Замечу еще одно обстоятельство, — сказал Петр Петрович. — У нас немногие русские богатеют от биржевой торговли, а по большей части от подрядов в казну. Подрядчики же и откупщики, по моему мнению, не могут называться купцами, или, как говорится, негоциантами. Ибо тот только приносит существенную пользу отечественной торговле, кто имеет дела за границею и споспешествует сбыту наших произведений в чужих краях. Итак, иноземные богатые купеческие домы и фабриканты, поневоле, должны производить свои дела в России посредством конторщи-

ков, рекомендованных им старыми купеческими почтенными фамилиями, у которых эти конторщики прежде были приказчиками. Как заводить большие обороты с русскими купцами, когда они появляются неизвестно откуда и исчезают неизвестно как и куда с поприща коммерции?

— И то правда! — сказал священник. — Однако ж не обвиняйте слишком купцов. Есть весьма много обстоятельств, которые заставляют их выходить из своего звания при первом удобном случае. Во-первых…

Вдруг поднялся шум в сенях. Хозяин хотел поспешить туда, но едва он вскочил со стула, как дверь отворилась с треском и в комнату вбежала с лаем ужасная меделянская собака. Потом явился какой-то господин, одетый по-дорожному, с трубкою в зубах, а за ним лакей его и полицейский служитель. Между тем как собака обнюхивала углы и господин ее раздевался без околичностей, полицейский служитель сказал:

— Вот тебе постой, Сидор Ермолаевич. Его высокоблагородие приехал из Петербурга по казенной надобности, и ты так счастлив, что

ему понравился с виду твой дом.

— Помилуйте, у меня уже квартируют шесть человек служивых, — возразил хозяин, — да сверх того, капитан-исправник велел мне принять в дом вот этих двух господ.

— Молчи, борода! — сказал чиновник, посмотрев грозно на почтенного старца. — Я знать не хочу твоего капитан-исправника и тебя и останусь здесь потому, что мне так угодно.

Хозяин обратился к полицейскому служителю и сказал:

— Но соседние домы не имеют постоя…

— Как тебе равняться с соседями, Сидор Ермолаевич? — возразил полицейский служитель.

— Эти господа чиновные, знатные дворяне; ты знаешь, что у них останавливается губернатор, прокурор… да полно, полно, Сидор Ермолаевич; ведь если не купцам отвечать за всех, так и порядку не будет. Ведь сильному-то и мешок на плечи, а вы богаче всех.

Полицейский служитель вышел, а чиновник сказал:

— Шевелись, старина! Видно, вашу братью

здесь балуют крепко, что вы еще смеете спорить!

— Я не спорю, сударь, — отвечал купец, — но у меня с семейством остались только три небольшие комнаты, и я не знаю, где поместить вас.

— Я займу две, а ты помещайся в третьей, — сказал чиновник, — а если тебе тесно, так ступай в чулан. Смотри, пожалуйста, как этот мужик чванится!

— Я не мужик, сударь, а купец.

— А разве это не все равно? — возразил чиновник с насмешкою. — Не дворянин — так тот же мужик!

Мы вышли из комнаты, и хозяин последовал за нами.

— Господа! — сказал он. — Мы исчисляли причины, почему купцы не любят оставаться в своем звании. Вот вам малый образчик того уважения, которое имеют к нам другие сословия. Но вы еще не видели и тысячной доли, а когда увидите, вспомните добром — и не пеняйте на нас!

Священник пожал плечами и, не сказав ни слова, пошел к себе домой; хозяин должен

был остаться у себя, чтоб поместить нового жильца; а мы с Петром Петровичем пошли прогуляться за город.

— У нас так, как и везде, до тех пор все будет идти не своей колеей, — сказал Петр Петрович, — пока просвещение не разольется на все сословия. Только просвещенный, образованный человек может в полной мере чувствовать свои обязанности в отношении к другим и уважать все сословия. Просвещенный человек знает, что в благоустроенном государстве каждое звание почтенно и столь же нужно, как все струны в инструменте, для общего согласия. Невежество полагает преграду к сближению, и точно так же, как турок почитает христианского подданного Порты нечеловеком, так наши гордые невежды пренебрегают всеми, кто им не родня и кто не может давать им чинов и орденов. Например, ваш хозяин, не почтенный ли человек во всех отношениях? От чего же это? От того, что он умен и образован. Жаль, что он не получил систематического образования в юности; тогда бы он был отечеству полезнее во сто раз. Сидор Ермолаевич происходит из экономиче-

ских черносошных крестьян. Он остался сиротою после родителей, пошел в приказчики к дальнему своему родственнику, купцу, и трудами, прилежанием и хорошим поведеним составил себе порядочное состояние, образовав себя чтением, обхождением с умными людьми, размышлением и опытностью. Сыновей своих он воспитывает в университете, убедившись, что первое благо на земле, первая потребность души бессмертной — просвещение. Вы видели почтенного священника, отца Евгения. Он также может служить примером, что просвещение не препятствует исполнению священных обязанностей его звания: напротив того, возвышая духовную особу в глазах народа, утверждает его более в вере и нравственности, красноречиво объясняемых пастырями церкви и подкрепляемых примером беспорочной их жизни.

Разговаривая о различных предметах, мы дошли по порядку до обстоятельств жизни самого Петра Петровича Виртутина. Мы крайне удивились, когда он сказал нам, что он не здешний уроженец, но живет здесь противу своей воли. Мы просили его объяснить нам

причину сей странности, и Петр Петрович рассказал нам следующее:

— Отец мой был бедный дворянин и не имел к пропитанию никакого средства, кроме небольшого своего жалованья. Он женился на дочери достаточного купца и получил в приданое около пятидесяти тысяч рублей. Мать моя скончалась, родив меня на свет; отец мой оставил службу и занялся моим воспитанием. Для преподавания наук имел я учителей, но отец мой сам был наставником моим в отношении к нравственности. Он вперил в меня беспредельную преданность к престолу, с убеждением, что пространная Россия, составленная из разнородных племен, не может быть ни счастливою, ни сильною иначе, как под властию монархическою, единодержавною. С юных лет отец мой внушил мне, что в мире нет возвышеннее нравственности — как евангельское учение. Он позволял мне читать все философические сочинения, но повторял часто:

— Сын мой! Апостол Павел говорит в Послании к фессалоникийцам: «Все испытывайте; хорошего держитесь». В творениях мудре-

цов ты найдешь много ума, еще более остроумия, но нигде не найдешь таких правил для жизни, как в Евангелии. В твореніях мудрецов ты найдешь также советы добродетели, но нигде не найдешь такой возвышенной нравственности, столько удивительных истин, как в учении Апостольском. Вся нравственность, разлитая мудрецами в тысячах книг, заключена Апостолами в немногих словах: «И как хотите, чтобы поступали с вами другие, так и вы поступайте с ними». (Еванг. от Луки. Гл. VI.) «Но говорю вам, слушающим: любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас». (Там же.) Любезный сын! исполняя сии два правила, ты исполнишь все свои обязанности. Отец мой был не святошею, не ханжою, но истинным христианином и примером собственной жизни укреплял меня в преподаваемых им правилах.

Кончив мое воспитание, я вступил в военную службу. При отправлении в полк отец благословил меня образом Спасителя, с надписью из Апостола: «Посему отвергнув ложь, все говорите истину пред ближним своим». (Посл. Ал. Павла к Ефес. Гл. IV.)

С летами, я более утверждался в правилах, посвященных в сердце моем достойным моим родителем, и более убеждался в истине, что человек для того только создан на свет, чтоб помогать своим ближним всеми зависящими от него средствами. Каждая несправедливость, оказанная кому бы то ни было и кем бы то ни было, производила во мне сильное впечатление: по несчастию, я не мог воздержать языка своего и вопиял громко противу всяких злоупотреблений. Мы стояли в плодоносной Украине, и богатые поселяне делились своею пищею с нашими добрыми солдатами, которые в свободное от службы время помогали им в полевых работах. Поселяне не хотели получать казенного провианта, и я настаивал, чтоб он всегда был продаваем в пользу солдат. При расчете амуничных и артельных денег, при уплате жалованья я, как говорится, резался за солдатскую копейку. Правду мудрено всегда облекать в нежные, мягкие формы, и я часто принужден был говорить горькие истины, спорить и жаловаться, когда меня не слушали. Я прослыл беспокойным человеком и принужден был выйти в от-

ставку.

Отец мой, который был стар и слаб, хотел, чтоб я жил при нем. Я определился в гражданскую службу в столице, по судной части, чтоб не терять времени без пользы отечеству. Здесь-то открылось обширное поле для моей деятельности. Отец мой нимало не сокрушался тем, что я невольно должен был оставить военную службу.

— Ты исполнял свой долг — вот твоя награда и утешение, — сказал он, обнимая меня. Когда мне надлежало знать новую мою должность, он призвал меня к себе в кабинет и, указав на раскрытый Новый Завет, велел прочесть в Послании Павла к Тимофею, в главе V, стих 20: «Согрешающих обличай пред всеми, дабы и прочие страх имели». Потом он прижал меня к сердцу, благословил и сказал:

— Ступай с Богом ратовать за истину!

Я был как пес на страже у храма правосудия: лаял на бессовестных злоупотребителей законов, не пускал сильного злодея во внутренность святилища и защищал от грабителей несчастную вдову и сироту. Ябеда и лихоимство восстали противу меня с ожесточе-

ним. Деловые люди, без которых начальники не могли обойтись, не зная сами дела, объявили, что они не могут жить с таким беспокойным человеком, как я. Мне велено было удалиться.

Между тем отец мой скончался, и я остался на свете одинок, с порядочным состоянием. Отец мой не старался умножать своего капитала, полагая, что мне довольно будет приданого моей матери, и употреблял остальную от прожитья часть доходов на вспоможение бедным. Я последовал его примеру и делился побратски с неимущими и страждущими и защищал их также от притеснения сильного. Я не мог отказать несчастному в совете и даже сам писал просьбы для беззащитных, не умеющих отразить ябеды и угнетения силою красноречия юридических доводов; я сам хлопотал за бедных и иногда устрашал самых закоренелых лихоимцев моею настойчивостью. Тысячи неприятностей сносил я ежедневно, но, проведя день в трудах, утешал себя тем, что исполняю волю моего родителя и что моею горестью доставляю сладкое утешение страждущим. Я был счастлив! Несколько доб-

рых друзей, науки и литература услаждали жизнь мою, которую злобные люди хотели отравить клеветою.

Облака образуются из паров; дождь состоит из капель; беда образуется из клеветы, изветов и наущений, и злобные слова в совокупности составляют громовую тучу в нравственном мире, извергающую перуны на безвинных. Я не давал обедов, полагая, что лучше от избытков кормить бедных, нежели пресыщать сластолюбцев; не давал взаймы денег мотам: меня назвали *скупым*. Я ходил молиться в церкви общественные, вместе с народом, а не являлся в мундире в домашних церквах вельмож, — меня назвали *безбожником*. Зная, что монархическое правление не может иметь другой цели, как благо подданных, я никогда не роптал на правительство, но громко вопиял противу злоупотребителей власти, которые, почитая места свои как бы откупами, помышляют единственно о своем обогащении и помещении своих родственников, — меня назвали *возмутителем*. Я от всего сердца хвалил добрых вельмож, честных чиновников и выставлял их в пример, в про-

тивоположность злым и корыстолюбцам, — меня назвали *интриганом* и *пристрастным*. Часто, не будучи в состоянии умерить моего негодования, я обнаруживал истину в выражениях сильных, в писанных мною для других просьбах и называл вещи их настоящими именами, — меня назвали *ябедником*. Изо всех приписанных мне качеств составилось одно название: *беспокойного человека*, и меня выслали на житье в этот город, под надзор полиции. Признаюсь, я сперва сокрушался, но добрый священник Евгений утешил меня и успокоил.

— Вы трудились не для мира, а для души своей, — сказал отец Евгений. — Следовательно, в душе своей найдете награду. Вспомните, что говорит апостол Лука: «*Но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте, ничего не ожидая; и будет вам награда великая, и вы будете сынами Всевышняго: ибо Он благ и к неблагодарным и злым*». Не смущайтесь несчастием и не ослабевайте на пути к добру, помня слова апостола Павла: «*Правда, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но впоследствии до-*

ставляет мирый плод праведности тем, кои посредством онаго образовались».

Теперь я спокоен и счастлив, ибо счастие у всякого в сердце, а на земле нет населенного места без добрых людей. Я нахожу наслаждение в дружбе честного капитан-исправника, почтенного священника Евгения и купца, вашего хозяина; провожу время в чтении и прогулке и делаю столько добра, сколько позволяют мне средства мои. Не примите моего рассказа за самохвальство. Нет! я чужд этого порока и объявил вам истину для вашего поучения потому только, что вы этого требовали. Придет время — и правда всплывет наверх, как елей над водою, и рано или поздно, но всегда восторжествует над злобою и ложью!

Возвратясь в город с прогулки и проходя мимо городского острога, почтенный Петр Петрович предложил нам зайти туда и бросить семена утешения в жилище плача, как он изъяснялся. У меня было в кошельке несколько червонцев, и я с радостью согласился пойти в острог, чтоб облегчить подаянием участь несчастных. Этот острог был не

иное что, как простая изба, обнесенная тыном. За теснотою невозможно было разделить содержащихся под стражею по роду преступлений, и от того случалось, что молодой легкомысленный мальчик, бежавший из шалости от господина, помещался на нарах возле закоснелого в пороках вора или разбойника и нечувствительно заражался правилами злодейства. Чистоты также невозможно было требовать при недостатке помещения. Караульные солдаты расположены были в сенях, а по обеим сторонам, в двух избах содержались колодники, как сельди в бочке. Мне сделалось дурно от духоты и от сильного впечатления, произведенного видом зверских лиц. Я просил моих товарищей выйти скорее на свежий воздух. Вдруг услышали мы в чуланчике пронзительные стоны и страшные вопли. Любопытство повлекло нас туда, и ужасное зрелище представилось взорам моим. В темном углу, на соломе, лежал полуобнаженный человек, иссохший как скелет и скованный по ногам и по рукам. Лишь только свет проник в его конуру, он приподнялся, присел и устремил на нас ужасный взгляд. Взоры наши

встретились, и я затрепетал всем телом, как от взгляда василиска. Черные волосы и борода у несчастного были всклочены, лицо покрыто смертною бледностью, и глаза, налившиеся кровью от бессонницы и страданий, светились как раскаленные уголья. Помолчав немного, несчастный прикоснулся скованными руками сперва ко лбу, а после к сердцу и сказал потихоньку:

— Огонь, огонь! — Потом, разинув рот, прошептал: — Воды!

Унтер-офицер подал ему деревянную кружку, и он, напившись, толкнул его от себя и громко воскликнул:

— Прочь, прочь, кровь! кровь!

Вдруг волосы его поднялись дыбом, лицо скривилось от судорожных движений, глаза сделались неподвижными, пена появилась на устах; он заскрежетал зубами, быстро приподнялся и воскликнул:

— Я Ножов — берите меня!

— Ножов! — воскликнули мы в один голос с Миловидиным. Это был злодей Ножов, которого я не мог сперва узнать в таком положении; но когда он произнес свое имя, я тотчас

припомнил его черты. Между тем несчастный снова упал на солому и завопил ужасным голосом:

— Не жгите меня, не жгите, а убейте одним ударом! Ноги мои чуть не подкосились от ужаса; кровь приступила к сердцу, и голова закружилась; но я стоял на месте, ожидая, что Ножов придет в себя из беспамятства и скажет мне имя графини, моей неприятельницы. Преступник снова замолчал и закрыл глаза; тогда Миловидин кликнул его по имени. Ножов открыл глаза и как будто прислушивался.

— Ножов! — сказал Миловидин. — Выжигин прощает тебя за все зло, которое ты ему сделал.

Ножов опять присел на соломе и, озираясь кругом, сказал:

— Где Выжигин? Он умер в степи. Я сам бросил его в яму! Графиня не велела убивать его... — При сих словах Ножов снова упал навзничь, закрыл глаза и страшно захрипел. Я не мог долее выдержать этого ужасного зрелища и вышел из острога.

— Вы знаете этого злодея? — спросил Петр

Петрович.

— По несчастию! — отвечал я. — Завтра я расскажу вам подробности моего с ним знакомства; но теперь я так расстроен, что не могу собрать мыслей.

Петр Петрович проводил нас до дому. Я весь вечер не; выходил из комнаты и провел ночь без сна, мучаясь нетерпением узнать от Ножова тайну моего преследования. Поутру я послал в острог узнать о здоровье несчастного, но мне сказали, что он испустил дух в ужасных мучениях, вскоре после нашего ухода.

Петр Петрович, которому я рассказал часть моих приключений и который знал понаслышке Вороватина, советовал мне быть весьма осторожным при открывании тайны, чтоб не попасть в большую беду.

— Судебным порядком вы ничего не выиграете с Вороватиным, — сказал он, — потому что у вас нет свидетелей; Вороватин может сказать, что киргизы взяли вас в плен силою. К тому ж если вы замешаете в ваше дело какую-нибудь знатную фамилию, то не оберетесь от хлопот. Лучше всего старайтесь пораз-

ведать стороною, и если только узнаете имя своей гонительницы, то тайна откроется сама собою. Вы видели из примера Ножова, что дерзость порока и закоснелость в злодеянии кончится на одре болезни и в ту минуту, когда для добродетельного страдальца сияет в полном блеске надежда на лучшую жизнь и услаждает его последние минуты, для злодея вместе с гробом предстоят угрызения совести, ужаснейшие самых адских мук. Вороватин, при первой тяжкой болезни или при первой опасности, окажет столько же малодушия, как и все злодеи, и откроет вам истину. Закоснелому пороку есть конец — твердость свойственна одной добродетели!

Глава XX
Помещик, Каких дай Бог Более на Руси. Каков поп, таков и приход

Поведением нашим и предстательством доброго Петра Петровича мы снискали благорасположение капитан-исправника, который иногда заходил к нам, приглашал к себе на чай и позволял отлучаться за город. Однажды, когда мы были у него с Петром Петровичем, речь зашла о том, как трудно земской полиции соблюдать порядок на обширном пространстве, в стране малонаселенной, пересекаемой непроходимыми болотами и лесами.

— Прошу поймать беглого, — сказал капитан-исправник, — если помещик и поселяне захотят скрыть его! Надобно несколько тысяч войска для поимки одного человека в лесу, простирающемся верст на полтораста!

— Вообще на помещиках лежит большая ответственность пред Богом, государем и отечеством за все, что делается в их поме-

стьях, — сказал Петр Петрович. — От помещика зависит все счастье его поселян, их нравственность, просвещение и благосостояние, следовательно, от поместного дворянства в совокупности зависит нравственность, просвещение и благосостояние целой России. Правительство ничего не щадит, чтоб открывать дворянству все пути к просвещению и к благосостоянию. Ни один чадолюбивый отец не печется столько о воспитании и счастье своего любимого сына, как русские государи пекутся о русском дворянстве. Но неужели русское дворянство должно уподобляться тому человеку в притче Евангельской, который зарыл в землю талант, полученный им от господина для умножения его богатства? Дворянин, получая, должен делиться, должен водворять в народе привязанность к престолу, любовь к отечеству и своим примером побуждать к нравственности.

— Справедливо, — сказал капитан-исправник, — а в противном случае, дворянин похож будет на ту бесплодную смоковницу, о которой упоминается в Евангелии от Луки, в главе XIII. Дворянин, как избранный сын ча-

долюбивого отца, должен быть всю жизнь на службе, для исполнения воли и благих намерений общего отца России. Дворянин, проживая в своих поместьях, должен почитать себя в столь же действительной службе, как если б он заседал в Совете государством или предводительствовал войском. Дворянин есть первый полицеймейстер в своем поместье, сборщик государственных податей, надсмотрщик за исполнением земских повинностей, мирный судья между своими крестьянами, попечитель об их здоровье, охранитель их имущества, надзиратель приходского училища.

— Прекрасно, прекрасно, Петр Петрович! — воскликнул капитан-исправник и бросился обнимать Виртутина, примолвив: — Точно так! Земская полиция была бы тогда тем, чем она быть должна, властью исполнительною, которая по востребованию помещика водворяла бы порядок и благочиние силою закона там, где бы не действовала сила убеждения!

— Так и будет со временем, — сказал Петр Петрович, — когда созреют плоды просвещения, беспрерывно насаждаемые мудрыми на-

шими монархами; когда мы будем иметь достаточное число отличных русских учителей для образования нашего юношества в русских нравах, а не на английский или французский манер.

— Уж мне эти русские чужеземцы сидят костью в горле! — сказал капитан-исправник. — Я более уважаю французского кучера или повара, нежели русского князька, подражающего лордам и маркизам в их причудах и странностях. Недавно поселился у нас в уезде, в своих поместьях, молодой вертопрах, который почел себя обиженным по службе от того, что начальник сказал ему, что он не может занимать значительного места и получать наград потому, что не умеет написать трех строк с логикою и грамматикою. Князь Слабоголовин, прочитав несколько книжонок французских о политике, при помощи своего гувернера и подписываясь на несколько английских газет, вообразил себе, что он сам великий политик и рожден быть законодателем своего отечества. Вместе с парами шампанского он вбивал в голову своих незрелых товарищей правила филантропии и мудрость

философического словаря Вольтерова и прослыл либералом, оратором, защитником человечества. Когда же он, споткнувшись на пути честолюбия, приехал в свою деревню, то — знаете ли, чем кончилась его философия?

— Без сомнения, он начал учреждать сельские школы, радеть о благе своих крестьян, — сказал Миловидин.

— Не тут-то было! — воскликнул капитан-исправник, громко засмеявшись.

— Правительство, пекущееся о благе подданных на деле, а не на словах, принуждено было взять в опеку имение красноречивого оратора человечества за жестокое обхождение с крестьянами и разорительное управление имением. Послушайте всех этих крикунов за вкусным обедом или на вечере, в толпе молодых людей: они вопиют о благе человечества, о законах; а дома у себя и в каждом месте, подчиненном их начальству, хотят быть самовластными пашами. Истинный друг человечества не кричит, не вопиет против законов и учрежденного порядка; но, сообразуясь с оными, делает столько добра, сколько может, а добра всегда и везде можно

много сделать, была бы охота! У нас же еще много можно и должно сделать добра на практике, прежде чем придется подумать о теориях. Знаете ли что, Петр Петрович! Свозите этих господ к приятелю нашему, Александру Александровичу Россиянинову. Вы увидите, какие у нас люди скрываются в захолустье. Я вам дам своих лошадей. Прогуляйтесь, господа; вы засиделись в нашем городишке!

На другой день, утром, мы отправились в гости к г. Россиянинову, жившему в своей деревне, в 25 верстах от города. Проехав верст 15, мы заметили удивительное различие в обработке полей. Везде на низких местах выкопаны были каналы, для стока излишней воды с пашней. Поля были порядочно размежеваны и унавожены; луга очищены от кочек и бесполезных кустарников. На берегу крутого ручья, на пастбище сделан был, мощенный камнем, спуск для поения стад, чтоб скотина не вязла в грязи и не засыпала землею источника. Дорога по обеим сторонам усажена была деревьями; мостики были в исправности, и топкие места устланы фашинами.

— Примечаете ли, — сказал Петр Петро-

вич, — что мы въехали во владения порядочного человека?

Приехав в деревню, Миловидин всплеснул руками от удивления и воскликнул: — Вот какова может и должна быть целая Россия!

Деревянные прочные избы выстроены были в один ряд, по обеим сторонам дороги. Окна обложены были разными украшениями, дворы все загорожены высокими заборами, с красивыми воротами с навесом. Домы построены были на некоторое расстояние один от другого, из предосторожности от пожара. Между домами находились садики с плодовыми деревьями. Позади крестьянских дворов были овощные огороды, а за ними гумны. В конце деревни возвышалась прекрасная каменная церковь, осененная высокими липами. Дом священника отличался чистотою и красивою наружностью. Возле церкви находилось несколько красивых домиков, для общественной пользы. В одном из них была учреждена госпиталь и аптека, в другом богадельня для безродных, хворых и престарелых, в третьем запасный сельский магазин и лавка с товарами, необходимыми в крестьян-

ском быту, и с первыми потребностями жизни; в четвертом сельское училище и словесный суд. В конце деревни была кузница, а посредине большой колодезь. Поселяне обоего пола имели здоровый вид, и молодые женщины отличались красотою, ибо наружная красота бывает следствием довольства. Мы не встречали на улице ни грязных детей, ни оборванных баб, ни пьяных мужиков. Крестьянские лошади и скот были отличной породы, упряжь и земледельческие орудия в исправности. Мы вошли в один крестьянский дом, чтоб увидеть домашнее устройство. Дом был с подвалом и разделялся на две половины: светлую и курную. В первой, состоящей из трех перегородок, помещалось семейство хозяина, а во второй пекли хлеб, варили кушанье и пойло для скота, просушивали мокрую одежду, возвращаясь с работы в ненастную погоду, и т. п.

— Я знаю некоторых помещиков, — сказал Миловидин, — которые, прельстясь иноземщиною, вздумали строить для русских мужиков немецкие домы и требовать от них такой же чистоты, как в Германии. Это невозмож-

ное у нас дело и не только не составляет счастия поселянина, но стесняет его в жизни. Наш климат и местные обстоятельства требуют другой постройки домов, чем в Германии и Англии. Каменных обширных домов для поселян у нас строить невозможно, потому что не везде есть материал для этого, что содержание дома стоит дорого и что у нас поселяне не живут большими семействами, а потому и не имеют нужды во множестве комнат, которые должно отапливать, в большей части России, 8 месяцев в году. Без курной избы также трудно обойтиться русскому крестьянину в нашем сыром и холодном климате, в северных губерниях; без этого он не будет иметь места, где обсушиться. Желание добра часто не приносит пользы, если выполнено без познания местностей. Но этот г. Россиянинов, видно, мастер своего дела. В сенях мы увидели лапти.

— Вот это отзывается еще варварством, — сказал Миловидин. Петр Петрович рассмотрел прилежнее эту обувь и сказал:

— Это не лапти, а шмоны[33], то есть обувь из пеньки. Употребление лаптей невыгодно

потому более, что этим истребляется много леса.

— Когда ваши мужики носят шмоны? — спросил он у крестьянина. — Я вижу, что на улице они все в сапогах.

— На рыбной ловле, родимой, в мокрое время на лугах да в лесной работе: ведь сапогов-то не наносишься; да и ноги-то не убережешь в сапоге так, как в смоленом веревочном лапте.

— Видите ли, что они употребляют эту обувь только при работе, и она гораздо удобнее деревянных башмаков французских и немецких поселян. Если крестьянин, будучи в довольстве, не отказался от этой обуви, то это знак, что она ему полезна и удобна.

Вокруг крестьянского двора был навес, где стояли телеги, сани, сохи и бороны и где ставили лошадей на время. В конце двора были хлева и конюшня, а за домом баня. Я спросил у хозяйки, чем они зимою освещают избу.

— Соседи наши, — отвечала она, — крестьяне других помещиков, жгут лучину, батюшка, а мы освещаем избу ночником с конопляным маслом. Ведь конопляного-то мас-

ла не покупать стать, родимой; а у нас всякая баба сама делает масло из семени.

— Есть ли у вас питейный дом в селе? — спросил Миловидин.

— Избави Бог от этого, отцы родные! — отвечала поселянка.

— В старые годы, при старом господине, был здесь питейный дом: так мужики только и знали, что пировали в праздничные дни да опохмелялись в будни. А ныне, слава Богу, вывелось это. И священник-то наш, дай ему Господь здоровья, толкует нам в церкви, что великий грех упиваться вином, и подлекарь наш говорит, что с вином жить не долго, и господин наш запрещает пить и не любит пьяниц; так пьянство-то и вывелось, а за этим и копейка не так скоро катится из дому. Иное дело Светлый праздник, или свадьба, или крестины, тогда варят пиво, а вино сам барин отпускает со двора. В осеннюю работу или зимой барин также велит рабочим людям пить по чарке вина, но не больше. Дай Бог ему здоровья — отец родной, а не господин!

Верстах в пяти от деревни, на возвышен-

ном берегу реки, стоял господский дом, деревянный на каменном фундаменте, выкрашенный зеленою краскою, с красною кровлей. Позади дома, к реке, простирался обширный сад. Вокруг двора расположены были хозяйственные заведения. Соразмерность частей составляла все достоинство архитектуры, чистота и прочность — все наружное украшение зданий. На крыльце встретил нас служитель, одетый чисто, хотя весьма просто. Он сказал нам, что сам хозяин поехал в поле, а хозяйка присутствует при уроках своих дочерей. В комнате встретил нас старший сын хозяина, юноша лет шестнадцати, и просил нас подождать терпеливо, пока мать его кончит свое занятие. Высокий рост юноши, румяные его щеки и ловкость показывали, что об его физическом воспитании имели столько же рачения, как и о нравственном. Петр Петрович, который был коротко знаком в доме, предложил нам осмотреть комнаты и сад. Сын хозяйский, Алеша, взялся быть нашим путеводителем. Прошед чрез три гостиные комнаты и залу, которых все убранство составляла необыкновенная чистота, мы вошли в каби-

нет г. Россиянинова. Это была обширная комната, вокруг которой стояли огромные шкафы с книгами на латинском, греческом, французском, немецком, английском, итальянском и русском языках. Посреди комнаты находились три стола; на одном лежали новые журналы и газеты, на другом бумаги, на третьем новополучаемые книги. В другой комнате, прилегающей к кабинету, находились, в шкафах же, физические инструменты, химические аппараты, модели разных машин; на столах стояли глобусы; на одной стене развешены были географические карты. Небольшой шкафик вмещал в себе собрание минералов.

— Здесь пахнет Европою! — сказал Миловидин.

Из этой комнаты мы вошли в сад. В нем не было ни искусственных прудов, заражающих воздух вредными испарениями, ни дорогих мостиков на суше, ни причудливых беседок варварской архитектуры, ни новых развалин. Сад наполнен был плодовыми деревьями и разными ягодами, посаженными с необыкновенным искусством. Ореховые и липовые ро-

щицы доставляли приятное убежище в жаркие дни, а большая аллея вокруг сада, осененная высокими деревьями, служила для прогулки. В куртинах устроены были качели и разные игры для детей. В конце сада, на полуденной стороне, находилась оранжерея, не большая, но прекрасно устроенная.

— Это уж роскошь! — сказал Миловидин.

— Роскошь, не только извинительная, но даже полезная, — отвечал Петр Петрович.

— Может ли быть что приятнее для северного жителя, как лелеянье нежных произведений благословенных климатов? Самое воззрение на разнообразие, богатство и щедрость природы возвышает душу и сближает человека с Творцом. Среди этих растений различных стран мысль летает по земному шару. Скажу более: зачем лишать себя удовольствия отведать иногда нежных плодов, в которых нам отказала северная природа? Это не есть удовлетворение постыдного обжорства, но успокоение позволительного любопытства. Впрочем, мне кажется, что гораздо лучше заниматься воспитыванием растений, нежели держать в неволе множество живот-

ных и травить слабых зверей.

Вдруг послышался голос позади нас. Мы увидели человека с веселым и здоровым лицом, в сафьянном картузе и зеленом камлотовом сюртуке, который поспешал к нам. Это был сам хозяин.

— Здравствуй, друг! — сказал он, простирая руку к Петру Петровичу, который представил нас хозяину и в кратких словах рассказал наши похождения.

— Я уже слыхал отчасти, — примолвил хозяин. — Здесь поневоле услышишь то, чего бы и не хотел слушать. Словесные газеты у нас в лучшем обращении, нежели печатные. Если кто хочет знать истину, тот должен верить только сотой части провинциальных вестей. Мне рассказали, что двое русских дворян прибыли чрез киргизскую степь из Индии, где один был владетельным князем, а другой его министром, и что они привезли с собою целые бочки червонцев и целые возы шалей. Я уверен, что если эта весть долетит до другой губернии, то одного из вас произведут в Великие Моголы, а другого в страшные завоеватели; сокровища ваши умножатся до

миллионов червонцев и бочки наполнятся бриллиантами. Но милости просим в комнаты. Пора обедать.

В комнатах любезный хозяин представил нас своей жене и двум дочерям, из коих старшей было четырнадцать, а меньшей двенадцать лет от рождения. Меньшой сын был лет десяти. К удивлению нашему, хозяйка заговорила с нами по-русски и вовсе не была разряжена в деревне как на куртаге, хотя принимала в доме своем в первый раз гостей, которые прослыли миллионщиками. Хозяин представил нам также учителей детей своих; француза мосье Энстрюи и немца г. Гутмана, которых он назвал своими друзьями. Мне показалось странным, что г. Россиянинов, которого Петр Петрович описал мне необыкновенным патриотом и врагом иноземного воспитания, держит у себя чужеземцев, для образования своих детей. Петр Петрович приметил мое удивление из косых взглядов, которые я бросал на чужеземцев, и сообщил мое наблюдение хозяину. Г. Россиянинов вывел меня и Миловидина в другую комнату и сказал:

— Не удивляйтесь, господа, что я употреб-

ляю иноземцев при воспитании своих детей. Поверять юношей безусловно на руки иноземцев есть величайшая глупость наша, от которой произошло все зло для русского дворянства; от сего оно сделалось почти чужеземною колониею в России, не зная почти языка отечественного, ни обычаев, ни истории, приучившись от детства любить все французское и английское и презирать все русское. Но употреблять иноземцев под надзором родителей можно и должно, избирая для этого людей почтенных нравственным своим характером и образованием, а не искателей приключений, не шарлатанов. Без познания чужеземных языков человек никогда не может образоваться, как прилично европейцу. Другие народы опередили нас в просвещении и имеют более средств подвигаться беспрестанно вперед, на поприще наук. Переводить все, что появляется важного и любопытного в чужих краях, невозможно. Выдумывать самим то, что давно уже открыто и обдумано, было бы смешно, итак, надобно приобрести легчайшее средство, одним взглядом обнимать обширное царство просвеще-

ния, и это средство есть познание чужеземных языков. Зная многие языки, вы делаетесь гражданином мира: согласитесь, что прежде надобно быть человеком, а потом уже русским или французом. Я люблю Россию более моей жизни; желаю ей блага более, нежели собственным своим детям, и готов принести ей в жертву жизнь мою и детей моих, именье и все блага жизни, но из этого не следует, что я должен не любить иностранцев и не пользоваться произведениями их ума и промышленности. Это было бы варварство, достойное турок, китайцев и алжирцев. Первые предметы при воспитании моих детей суть познание отечественного языка, истории и статистики России, и первое и главное мое старание состоит в том, чтоб вперить в детей моих беспредельную привязанность ко всему отечественному. Этим занимаюсь я сам. При всем этом я не скрываю пред ними, чего нам недостает еще к достижению той степени образованности, на которой находятся другие народы, а напротив того, возбуждаю желание стремиться к возвышению отечества распространением в оном всего доброго и полезного.

Теперь домашнее воспитание моего старшего сына кончено, и я будущею зимою отправляю его в университет.

Нас позвали к столу, и г. Россиянинов прекратил свое объяснение.

Обед состоял из четырех блюд, приготовленных со вкусом и изобилием. Вина не лились чрез край, как говорится; но после каждого блюда всем собеседникам (исключая детей и дам) наливаемо было по большой рюмке отличного вина. Кроме того, на столе стояли графины с водою, легким пивом, квасом, яблочником и вкусным питьем из разных ягод, которое искрилось и пенилось в рюмке как шампанское и показалось мне гораздо вкуснее вина. Для десерта подали прекрасные, спелые плоды. Кроме семейства г. Россиянинова, двух учителей и нас, за столом было двое отставных за ранами, пожилых офицеров, две старушки, дальние родственницы хозяйки, и приходский священник. Я с удовольствием заметил, что всем гостям и домашним, без исключения, подносили одни блюда и всех потчевали одним вином. Это не всегда делают господа, дающие за своим столом ме-

сто бедным людям. Г. и г-жа Россияниновы, напротив того, обходились с ними необыкновенно вежливо, и хозяин не изощрял своего остроумия на счет бедных людей, которым он предложил гостеприимство.

За столом разговор был общий. После обеда мы все вышли в сад и в ожидании кофе поместились под тенью густых лип. Вдруг у Миловидина навернулись слезы на глазах. Все обратили на него внимание с участием, и хозяева пришли в беспокойство.

— Вам грустно? — сказала хозяйка.

— Нет, сударыня, это слезы умиления, а не грусти. Я восхищаюсь семейным вашим счастьем, благополучием ваших крестьян, порядком, устройством вашего именья и радуюсь, что вы русские!

Хозяин пожал руку Миловидина и примолвил:

— Ваша правда: мы, или, по крайней мере, я, счастлив моим семейством!

Г-жа Россиянинова, вместо ответа, с нежностью поцеловала своего мужа, дети бросились ему на шею, восклицая:

— Папенька, ты составляешь все наше сча-

стье, всю нашу радость!

Один из отставных офицеров пожал руку г-на Россиянинова, другой возвел взоры на небо и перекрестился; воспитанницы бросились целовать руки почтенных супругов. Старый служитель, принесший кофе, прослезился в молчании. Г. Россиянинов был тронут до глубины сердца.

— Вы видите теперь, счастлив ли я! — воскликнул он.

— Может ли быть блаженство выше, как быть любимым добрыми существами? Не подумайте, однако ж, чтобы счастье стоило мне больших трудов. Нет, это милость Провидения, за которую я не престаю благодарить Его. Я старался только по возможности исполнять мои обязанности, — ничего более. Если вы любопытствуете, я в кратких словах расскажу вам мою историю.

Отец мой служил в морской службе, женился по любви и не имел никаких способов к содержанию своего семейства, кроме своего жалованья. Он дослужился до генеральского чина в сем положении дел и потому не мог дать мне и двум моим сестрам блистательно-

го воспитания. Храбростью своею он приобрел богатство, взяв несколько богатых призов в Турецкую войну. Расстроенное его здоровье не позволяло ему служить далее: он вышел в отставку, купил это именье, состоящее в 500 душах, и поселился в деревне. Сестры мои вышли замуж, как скоро родители в состоянии были дать им хорошее приданое. Я определился в гвардию, но имел несчастье ушибиться, упав с лошади, и должен был, по совету врачей, выйти в отставку. Мне тогда было не более 19 лет от роду. Мне советовали прожить несколько лет в теплом климате, для укрепления сил и пользования минеральными водами. Я употребил это время на образование себя и слушал курсы в Болонском университете, а потом довершил свое перевоспитание в Париже. Возвратясь в отечество с восстановленным здоровьем и новыми познаниями, я хотел быть полезным отечеству службою гражданской. В это время я имел несчастие лишиться моих родителей и остался одинок в свете. Прослужив несколько лет в незначащей должности и видя, что ни старания мои, ни усердие и, смею сказать, ни способности и

познания высшие, нежели познания моих товарищей, не могли выдвинуть меня из толпы, я стал охладевать в моей ревности к общей пользе. Один старый приятель моего отца, которому я жаловался на мое положение, вывел меня из заблуждения и указал истинный путь к счастью.

— Любезный друг! — сказал он мне однажды. — Ты не имеешь никаких родственных связей, не принадлежишь к числу тех счастливцев, которых все достоинство состоит в имени, следовательно, ты вечно будешь осужден вывозить на своих плечах, из канцелярской грязи под гору фортуны, чужую неспособность, для увенчания ее твоими заслугами. Надобно дождаться необыкновенного случая, одного из тех чудес, которое записывается в календарях, чтоб лучи солнца проникли сквозь густую атмосферу *племянничества* (nepotisme) и озарили тебя, безродного дворянина. Бывают примеры, не спорю, но на это надобно железное терпение, а у тебя его нет. Чего ты ищешь? Быть полезным государю и отечеству; не правда ли? Средство у тебя в руках. Ты имеешь 500 душ крестьян. Посвя-

ти себя их счастью. Верь мне, что тебе долго ждать, чтоб достигнуть до такого места, где б счастье 500 душ мужеского и, вероятно, стольких же женского пола зависело от твоей воли. Ты хорошо учился, много читал, путешествовал, следовательно, имеешь много способов устроить твое хозяйство, сделать благополучными твоих крестьян, и, что более, быть примером для других. Хозяйство есть вещь нетрудная, и твой староста, при познании местных обстоятельств, будет тебе полезнее, нежели два курса агрономии. Главное дело, соразмерять расход с приходом и все излишнее, остающееся от необходимого, употреблять на улучшение имения и благосостояния крестьян. Ограничь нужды твои, отбрось прихоти, и ты будешь иметь излишнее; употреби излишнее на полезное, и оно принесет тебе довольство, спокойствие и счастье!

Подобно слепому от рождения, который, прозрев после счастливой операции, восхищается и удивляется видом предметов, о которых он имел превратное понятие, я прозрел умом от слов истинного моего друга.

— Вот дочь его! — примолвил г. Россияни-

нов, указывая на жену свою. — Я женился, вышел в отставку и поселился в деревне. Отец мой, будучи стар и хвор, в то время, когда удалился в деревню, не мог сам заниматься хозяйством и оставил мне именье в таком виде, как купил. Поля были не удобрены, крестьяне в бедности и в полудиком состоянии, в отношении к нравственности. В 20 лет, при помощи Божьей и при усердных наших с женою трудах, мы успели довести именье до такого состояния, в каком вы его видите. Я не имел капиталов и усовершал именье из одних доходов, постепенно, поспешая без торопливости, занимаясь сперва существенным. Бог благословил мои начинания. Ныне все молодые люди в моем именье знают грамоту и постигают свои обязанности в отношении к Богу, к государю, к помещику и к своим равным. Без грамоты, господа, невозможно посеять ни нравственности в народе, ниже возбудить понятия об его обязанностях к властям, для собственного же блага. Людей нельзя обучать по слуху и по привычке, как дрессируют пуделей. Надобно, чтоб человек мог *читать*: тогда только он будет *помнить*; и кроме того,

время, употребленное на чтение, не есть потерянное, ибо большая часть людей только от праздности предается разврату. Добрые мои крестьяне вскоре постигли, что я желаю им добра, и усердно принялись помогать мне. В этом я обязан также и почтенному нашему священнику, который, при всей своей бедности, вел себя таким образом, что крестьяне не могли не уважать его. Он не участвовал в их пиршествах и забавах, но посещал их только для подания духовной помощи, для совета, увещания или исполнения церковного обряда. Почтенный пастырь в поте чела снискивал свое пропитание, обрабатывая небольшой участок земли; но кроме положенного по закону, никогда не брал ничего от поселян. Он мирил ссоры, сам никогда не подавая повода к неудовольствию, и пресекал своим присутствием все непристойные шутки, а не возбуждал их. Одним словом, отец Симеон был и есть таков, каким быть должно сельскому священнику: кроток, воздержан, человеколюбив и важен в обхождении. Вы видели его за столом, господа. Теперь состояние его улучшилось, вместе с состоянием всех нас. Я

полагаю первым долгом помещика привести священника в такое состояние, чтоб он мог жить, не заимствуясь ничем от крестьян: тогда только он будет уважен прихожанами и может действовать на их нравственность.

Следуя совету моего тестя, я начал хозяйничать не на английский или немецкий манер, но сообразуясь с нашим климатом, с почвою земли и обычаями. Все нововведения не иначе приводимы были мною в исполнение, как после многих опытов. Наконец, все мы обстроились, удобрили свои поля, и теперь только остается нам поддерживать то, что мы сделали.

Мы провели время в обществе доброго г-на Россиянинова и его семейства самым приятным образом и при закате солнца отправились в город, хотя хозяева старались удержать нас. Я торопился в город, ибо завтрашний день был почтовый, и я с нетерпением ожидал писем из Москвы. Мы обещались в другой раз приехать на несколько дней к почтенному Александру Александровичу и отправились с грустью в сердце, как будто из родительского дома. Когда мы выехали за во-

рота, Миловидин перекрестился и, возведя взоры к небу, произнес:

— Господи, благослови Россию и дай ей по-более таких помещиков!

Глава XXI
Удалой помещик Сила Минич Глаздурин

Мы поехали другою дорогой, чтоб сократить путь. Выехав из поместья г-на Россиянинова и приближаясь к роще, мы услышали звук охотничьих рогов, лай собак и клики охотников. Вдруг из опушки леса выскочила лисица и помчалась чрез пашню, засеянную хлебом. Вскоре за нею показалось несколько борзых собак и с дюжину всадников. Один из них скакал стремглав впереди, без шапки, с развевающимися волосами, в длинных усах, кричал как исступленный: *ату ево! ату ево* ! — хлопал арапником и шпорил своего коня. Лисица, чтоб избежать неминуемой гибели, изворотами, как то бывает и с людьми, вдруг повернула на большую дорогу; собаки и охотники устремились за нею, настигая утомленное животное. Наконец лисица, перепрыгнув через ров, бросилась прямо под ноги наших лошадей: собаки за нею, и поймали. Неистовый охотник, как вихрь, перелетел через ров

и, видя, что собаки терзают лисицу, стал их стегать арапником с ужасным криком. Наши лошади испугались и начали становиться на дыбы, лишь только под их ногами раздались визг и грызня собак, но когда охотник ударил их арапником по ногам, они бросились в сторону, бричка наша опрокинулась и мы упали в ров.

По счастью, мы не ушиблись, но только попали по шею в грязь и не могли освободиться из-под брички. Мы лежали под нею, как мухи под стаканом. Вокруг нас раздавался крик и хохот. Миловидин ужасно сердился и говорил, что он разможжит голову негодяю, который был причиною нашего несчастного приключения. Я проклинал охоту и охотников, а Петр Петрович молчал. Наконец бричка начала шевелиться над нами. Охотники своротили ее на бок, и мы вылезли из рва, мокрые и грязные, как раки. Человек двадцать охотников собралось на большой дороге, и один из них, тот самый, который был впереди, подошел к нам и, прохохотав громко, сказал: «Извините, господа! Виноваты мои борзые. Не будь я Сила Глаздурин, если в целой России

есть такие собаки, как мой *Залет* и моя *Винтовка*. Проклятая лисица бросилась под ноги ваших лошадей, а *Залет* и *Винтовка*, хоть из волчьих челюстей, добудут дичь!» Петр Петрович шепнул Миловидину, чтоб он не сердился и не бранил счастливого хозяина *Залета* и *Винтовки*, а я с удивлением смотрел на этого чудака. Круглое, красное его лицо покрыто было крупным потом и пылью. Между длинным красным носом и толстыми губами помещались длинные русые усы, как два беличьи хвоста. На всклоченных волосах надет был небольшой смятый кожаный картуз зеленого цвета. Одет он был в короткий зеленый стамедный чекмень и в пестрые шаровары. В наружном боковом кармане была у него трубка, чрез правое плечо на ремне висел охотничий рог, а чрез левое баклага, обтянутая в сафьян. В левой руке он держал арапник, а правую протянул к Петру Петровичу и снова завел речь:

— Дай руку, брат, и не сердись. Велика беда, что вы полежали во рву! Да здесь нет рва и ямы на 20 верст кругом, где б я ни валялся, гоняясь за зайцами и лисицами. А вы, брат-

цы, что на меня смотрите как на зверя? — примолвил он, взглянув на меня и на Миловидина. — Полно сердиться! моя ли вина, что вы попали в грязь? По мне, так я лучше бы хотел окунуть вас в пунше. Ведь на грех мастера нет!

При сих словах Глаздурин, взяв свою баклагу, потянул из нее, потом снял с плеч и, подавая Петру Петровичу, сказал:

— Пей, брат, славная анисовка! Это освежит вас.

Петр Петрович отдал ему обратно баклагу и от имени всех нас отвечал:

— Милостивый государь! неосторожность ваша причиною нашего несчастного приключения. Но как вы это сделали не с умыслу, то мы охотно извиняем вас и просим, чтоб вы, в награждение за претерпенное нами от вашей страсти к охоте, дали нам во что переодеться и немедленно отправили в город в своем экипаже.

— Изволь, любезнейший! — воскликнул Глаздурин. — Дам мою московскую коляску и шестерку моих диких киргизов. Дом мой в трех верстах отсюда, садитесь на лошадей мо-

их охотников, и едем сей же час. Да пейте же; ей-ей, славная анисовка!

— Мы вовсе не пьем водки, — сказал Миловидны.

— Как водки не пить, пустое! — воскликнул Глаздурин. — Стыдитесь, ведь вы не красные девицы!

Мы снова отказались, тогда Глаздурин стал потчевать своих товарищей, представляя нам поодиночке человек десять окрестных дворян, называя каждого по имени и по отчеству. После того он спросил нас:

— Ас кем имею честь познакомиться: нельзя ли узнать чин, имя и фамилию? Да из каких мест изволите быть? Кажется, вы не здешние?

Петр Петрович, опасаясь, чтоб Миловидин в гневе не сказал неприятностей Глаздурину, взялся отвечать за всех.

— Эти господа (он назвал нас по фамилиям) приехали в наш город по своим делам, а я уже три года живу в нем и удивляюсь, что ни вы меня не знаете, ни я вас не имел чести видеть до сих пор, почтенные господа.

— Да вы разве не бываете в трактире у

немца Шнапса? — спросил один из приятелей Глаздурина.

— Нет, но я знаком во многих домах, — отвечал Петр Петрович.

— Мы не разъезжаем по домам в городе, — возразил Глаздурин. — С подьячими управляются наши поверенные, а с своей братьей встретишься на медвежьей или волчьей охоте да на выборах. Да выпейте, братцы, анисовки; право, чудесная!

На повторенный наш отказ Глаздурин воскликнул:

— Постойте же, я вас употчую дома такими наливками, каких нет в целой губернии. Жена моя сама их делает. Она воспитывалась в Петербурге и сперва было падала в обморок от запаха винного спирту и табачного дыму, а наконец я ее так нашколил, что теперь едва сама со мною не курит и с утра до вечера только и работы, что делает для меня наливки да настойки. Но пора домой. Гей, народ! оботрите травою грязь с господ. Филька *сиволапый*, Сенька *косой* и Митька *рыжий*, ступайте пешком домой. Лаврушка пострел, скачи в лес да труби позыв. Собак смыкай, и домой!

Мужики пусть также идут по домам, а послезавтра чем свет — все в поле. Надобно обступить рощу, что за Сидоровым полем, да пустить собак. Петрушка видел свежий волчий след, три дня сряду. Подавай лошадей. Господа, в поход!

Заднее колесо и ось у нашей брички были сломаны. Охотники подвязали жердь и бричку потащили в кузницу. Мы поехали с Глаздуриным верхами на охотничьих лошадях. Один из гостей предложил ехать через поле.

— Какой ты, брат, хозяин, Анисим Степанович! — сказал Глаздурин. — Другое дело, проскакать по хлебу, гоняясь за зверем, тут и греха нет; иное дело, когда нет нужды. Нет, поедем дорогою, а между тем молодцы мои распотешут вас. Гей, ребята, гаркните-ка: во лузях!

Лишь только охотники пропели песню, Глаздурин остановился, и мы все последовали его примеру.

— Сафрон, подай-ка *свежей* анисовки! — сказал Глаздурин. Один из охотников отвязал от седла баклагу и подал своему господину, который, напившись водки, стал потчевать

своих товарищей.

— На охоте надобно пить, — сказал Глаздурин, обращаясь к Миловидину. — Водка укрепляет силы и освежает кровь.

— Напротив того, кажется, спирт горячит кровь и расслабляет тело, — возразил Миловидин.

— Пустое, брат, пустое! — воскликнул Глаздурин. — То ж твердит и немец доктор, да мы его не слушаем. Мусье Вассерброд водки в рот не берет, а чахл и сух, как запаленная лошадь; Сила Глаздурин пьет водочку, как и все грешные, а здоров и силен, как трехгодовалый медведь. Не верь, брат, немцам. Они хотят только сбывать с рук свой товар, и мусье-то Вассерброд от того хочет поить меня декоктом, вместо водки. Да, Сила Глаздурин себе на уме. Труби в рога, марш в галоп!

Надобно с волками выть по-волчьи. Мы пустились в галоп за толпою. Подъезжая к деревушке, мы встретили тощее стадо, возвращающееся с поля. Борзые, которые были спущены со свор, бросились на баранов и растерзали пару на месте. Пастух не смел отгонять барских собак, и охотники остановились,

чтоб насладиться этим зрелищем, которое приводило в восхищение Глаздурина.

— Браво, Залет! ай да Винтовка! ату ево, ату ево! — кричал он изо всей силы. Когда эта травля кончилась, мы въехали шагом в деревню, принадлежащую Глаздурину.

Первое, что нам бросилось в глаза, был питейный дом, возле которого толпились крестьяне.

— Вы позволяете содержать кабак в вашей вотчине? — сказал Петр Петрович.

— Какой вопрос! — воскликнул в удивлении Глаздурин. — Ведь за это откупщики платят, так, по мне, хоть на носу заводи кабак!

— Убедительная логика, — сказал мне Петр Петрович.

Деревня Глаздурина составляла совершенную противоположность с деревней г-на Россиянинова. Здесь лачуги были полуразрушенные, дворы полуогороженные, соломенные крыши в некоторых местах светились насквозь. Улица была непроходима от грязи. Полунагие ребятишки, завидев нас, с воплем бежали в избы, боясь собак и арапников. Мужики были оборваны и имели угрюмый, непри-

ятный вид; женщины были в рубищах, и от того почти все казались дурными. Правда, несколько приятных лиц показались из окон и несколько красивых девок, одетых довольно пестро, выбежали за ворота при нашем приближении, чтоб поклониться Глаздурину, который весьма фамильярно здоровался с ними и грозил им пальцем с улыбкою. Выехав за деревню, мы увидели в стороне господский двор. Глаздурин велел трубить в рога и скомандовал в галоп, и мы пустились во всю конскую прыть. Прискакав на двор чрез полуразрушенные ворота, мы остановились, а Глаздурин из молодечества вскочил на коне на шаткое крыльцо и въехал в сени. Толпа оборванных слуг встретила нас. Трудно было догадаться, какой цвет имела ливрея и какой металл употреблен был на галуны, которые от древности украшали лохмотья, в виде бахромы. Глаздурин едва переступил через порог, как поднял ужасный крик и стал бранить всех, что на стол не накрыто. Дворецкому погрозил конюшнею, лакеев разогнал толчками, а жену попотчевал за глаза несколькими изречениями, которые еще ни разу не появля-

лись в печати. В доме засуетились: слуги, служанки и собаки бегали с шумом по комнатам, двери хлопали, стулья трещали, и среди этой суматохи раздавалась брань Глаздурина, как команда корабельного капитана во время штурма. Наконец накрыли на стол и подали поздний охотничий обед. Гости собрались в залу, и г-жа Глаздурина, прекрасная, молодая женщина, появилась с двумя дочерьми, от 7 до 9-летнего возраста. Хозяин не заботился о том, чтоб представить нас жене своей; он только тащил всех к столу, на котором стояли графины с водкою, и рекомендовал всем свою любимую анисовку. Мы сами подошли к хозяйке и рассказали, по какому случаю попали к ней в дом, дав почувствовать осторожно, что мы не принадлежим к числу приятелей хозяина, познакомившись с ним на большой дороге. Едва г-жа Глаздурина промолвила несколько слов, Виртутин воскликнул:

— Как, вы не узнаете меня, Анна Львовна?

— Это вы, Петр Петрович!

Пошли объяснения, и мы узнали, что Петр Петрович был другом отца хозяйки и носил ее на руках. Хозяйка чрезвычайно обрадова-

лась этой встрече и даже прослезилась при воспоминании о прошедшем, которого Вирту-тин был свидетелем. Глаздурин, вместо неж-ностей и вежливостей, схватил Петра Петро-вича за руку и, потащив к столику, воскли-кнул:

— Да выпей анисовки, старый приятель моего тестя! Когда попросили садиться за стол, все гости бросились на тот конец, где по-мещался сам хозяин, избегая соседства дамы, как будто какой неприятности. Мы хотя были не голодны, но сели за стол возле хозяйки. Стол окружали слуги, выстроившись в одну шеренгу. На каждого собеседника приходи-лось по два лакея; они поспешали только прибирать тарелки, на которых оставалось кушанье, и весьма медленно исполняли при-казания гостей. Собаки теснились под столом и вокруг собеседников, чтоб полакомиться костями, которыми их потчевали охотники. Стол уставлен был разного рода наливками, которые хозяин рекомендовал гостям весьма усердно и пил еще усерднее для приохочива-ния приятелей. Разговор был самый занима-тельный и жаркий. Каждый хвалил своих со-

бак, лошадей, свои ружья и своих охотников, рассказывая любопытные анекдоты о травле зайцев и лисиц, о знаменитых победах, одержанных над волками и медведями. Каждый хвастал своею ловкостью, неустрашимостью, исчисляя опасности, случившиеся с ним на охоте. Но Глаздурин если не переспорил, то перекричал всех и остался победителем в споре. Но как один из гостей никак не хотел уступить, утверждая, что его собака лучше Залета Глаздурина, то положено было после обеда разыграться в карты, чтоб обе славные собаки принадлежали одному лицу, для уничтожения всякого соперничества.

Встав из-за стола, гости перешли в другую большую комнату, куда принесли трубки и кофе. Вдруг дверь с шумом отворилась и вбежала толпа цыган и цыганок, с балалайками, наигрывая и напевая: «*Ай жги, ай жги, говори* !» Не ожидая приказания, одна половина цыган и цыганок пустилась плясать, а другие, встав в кружок, начали петь плясовую песню, с аккомпанементом балалаек, вскрикиванием и свистом. Гости, развалясь на диванах с трубками, восхищались ловкостью плясунов

и цыганских красавиц, а Глаздурин гордо похаживал вокруг пляшущих и прикрикивал:

— Славно, славно, лихо, чудо, шибче!

Петр Петрович, Миловидин и я пошли в гостиную, где хозяйка сидела одна.

— Извините нескромность, — сказал Виртутин, — но мне, право, непонятно, как вы, будучи воспитаны для жизни тихой, для высшего круга общества, можете переносить этот кордегардный тон ваших гостей и буйную жизнь вашего мужа?

Хозяйка покраснела и, помолчав немного, отвечала:

— Это правда, что муж мой несколько шумен, но он человек не дурной, и образ жизни его есть следствие воспитания и дурных примеров. Он остался сиротою в малых летах и попал в опеку к дяде, который был уверен, что дворянину более ничего не надобно знать, как подписывать свое имя и быть хорошим псовым охотником; что не только земля, но и светила небесные созданы для удовольствия дворян и что жить значит: есть, пить и веселиться. Однажды губернатор, будучи недоволен им, когда он был по выборам су-

дьею, спросил его в Дворянском собрании: «Скажите, Фрол Тимофеевич, для чего дана человеку голова?» — «Для шапки и для хмелю», — отвечал преважно почтенный дядюшка. Поэтому вы можете судить, какое воспитание должен был получить мой муж под надзором такого опекуна и наставника. Необыкновенный случай, или, лучше сказать, судьба, соединила меня с Силою Миничем. Вы знаете, что отец мой жил одним жалованьем и что сама покойная матушка занималась моим воспитанием. По смерти моих родителей, меня взяла к себе тетка моя, вдова, которая любила меня с нежностью матери. Она была недостаточного состояния и жила, по кончине своего мужа, в небольшой деревушке, в здешнем уезде. Покойный муж ее должен был дяде моего мужа сумму, которой она никогда не была бы в состоянии уплатить и лишилась бы последнего убежища на старости, если б муж мой, получив в наследство векселя, представил их ко взысканию. Посещая мою тетушку, он полюбил меня и предложил мне свою руку. Я… но зачем продолжать объяснения — я вышла за него замуж, и векселя были уни-

чтожены. Доставив спокойствие моей благодетельнице, я счастлива. Впрочем, муж мой любит меня, и долг мой… сносить терпеливо небольшие его слабости. Все мы имеем свои недостатки!

Глаздурин вошел в комнату.

— Ашенька! — сказал он. — Поди-ка да вынь из комода две тысячи рублей.

Мы пустились в *картеж*. Я проиграл тысячу рублей Травлину, да зато выиграл у него чудесную собаку, *Вихоря*. Он в отчаянье, а я намерен праздновать это происшествие. Теперь у меня две первые собаки в целой России! Да сделай нам, Ашенька, пуншу, покрепче. А вы, господа, что сидите как постники и не хотите веселиться? Банчик порядочный — приставьте!

Мы поблагодарили хозяина и просили позволить нам удалиться на покой. Мы обедали очень поздно и, будучи измучены приключением того дня, вознамерились лечь спать, чтоб отделаться от привязчивости хозяина и чтоб не быть свидетелями его шумного веселья. Нам отвели комнату во флигеле.

— Глаздурин и его приятели суть гири,

удерживающие стремление России на пути к образованности, — сказал Петр Петрович. — Одна польза от них: пример. Точно так, как на общественной трапезе в Спарте, кругом столов водили пьяного Илота, чтоб показать юношеству гнусность сего порока, мы должны указывать на Глаздурина с братьей, чтоб отвлечь от подобной ничтожной жизни людей, которые еще сами не превратились в зверей на вечной охоте и у которых кровь не сделалась наливкою.

Всю ночь раздавались в комнатах песни, стук и крик. Когда цыганы утомились, Глаздурин велел своим охотникам петь песни, а служанкам и деревенским девкам плясать. Глаздурин проиграл в ночь несколько тысяч рублей, коляску, в которой обещал нас отправить в город, и шестерку лошадей; но он был чрезвычайно весел и доволен, выиграв *Вихоря*, и праздновал это приобретение пышнее, нежели рождение первого своего сына. С восхождением солнца тишина водворилась в доме.

Мы хотели уехать, не простясь с хозяином, но бричка наша еще не была готова и нам надлежало ждать противу воли. Около полу-

дня Глаздурин проснулся, и мы, прогуливаясь по двору, встретили его возле конюшни. Охриплым голосом он подозвал нас к себе и насильно потащил в конюшню, где мы должны были выслушать повествование о качестве каждой лошади и быть свидетелями, как он целовал и стегал хлыстом каждую из них. Потом он повел нас в комнаты к завтраку, где мы нашли уже всех гостей, бледных, с красными глазами. Дрожащею рукой принялись они за разноцветные водки и соленые закуски, и вскоре крепость спирта восстановила расслабленные их силы. Как уже поздно было выезжать на охоту, то положили до обеда скакать на лошадях. Хозяин и все гости (кроме нас троих) сложились по сту рублей, и эта сумма долженствовала служить наградою тому, чей скакун опередит других. В общем совете решили, что тот, кто получит приз, должен после скачки заложить банк. Между тем бричку нашу починили и мы уехали, не дожидаясь обеда, который не поспел в назначенное время потому, что повар, запевала домашнего хора, слишком неосторожно смачивал горло, во время ночного празднества, и к

утру едва мог держаться на ногах. Принявшись стряпать кушанье, он сбился с толку и клал в одну кастрюлю то, что надлежало класть в другую, все перепортил, сжег, не доварил и за это посажен был под стражу на скотный двор, а обед сызнова велено готовить ключнице.

Возвратясь в город, мы узнали от нашего хозяина, что приехавший из Петербурга чиновник перевернул все вверх дном в присутственных местах, желая отыскать упущения по службе капитан-исправника, на которого тайно жаловался управитель одного знатного барина. Почтенный М. И. Штыков наказал этого управителя за противозаконные поборы с крестьян. Но все дела капитан-исправника были в исправности. Следственный чиновник, в досаде вышед из суда, спросил у собравшейся толпы мещан:

— Довольны ли вы начальниками?

— Нет, — отвечали из толпы. — Полиция нас обижает.

— Что же она делает с вами?

— Чистоты спрашивает!

Следственный чиновник не мог не расхо-

хотаться от этой жалобы на полицию. Видя наконец, что ему нельзя здесь выслужиться обвинением капитан-исправника, он, как обыкновенно водится, принял его сторону и обвинил управителя: ибо ему, для показания своего усердия, непременно надобно было сыскать виноватого; иначе следствие почиталось бы неконченным. Следственный чиновник вдруг переменился и сделался чрезвычайно вежливым со всеми, даже со своим хозяином, купцом. Друзья капитан-исправника взялись вознаградить его за путевые издержки, на которые он весьма трогательно жаловался, представляя свое недостаточное состояние. Но все это скрывали от капитан-исправника, который, если б узнал намерение друзей своих, вероятно бы, поссорился с ними, а может быть, и подрался с следственным чиновником.

На другой день, поутру, капитан-исправник пришел к нам и принес паспорты, подорожную в Москву и мои деньги. Мы бросились обнимать доброго Штыкова, который сам был чрезвычайно рад, что это дело кончилось благополучно. Одно беспокоило меня:

я писал несколько раз к тетушке и не получал ответа. Печальные предчувствия тяготили мое сердце, и только в дружбе доброго Миловидина я находил утешение. Наконец, распростившись с капитан-исправником, Петром Петровичем, священником и нашим хозяином и написав прощальное письмо к почтенному г-ну Россиянинову, мы отправились в Москву на почтовых, в купленной нами повозке, а товары послали с извозчиками.

Глава XXII
Рассказ отставного солдата. Прибытие в москву. История тетушки
Я нахожу свою мать. Обольститель. Убийцы

В дороге иногда самые угрюмые нелюдимы сближаются с своими слугами. Я и Миловидин, напротив того, почитали Петрова более товарищем нашего общего несчастья, нежели слугою, и обходились с ним весьма ласково и дружелюбно.

— Откуда ты родом, Петров? — спросил его однажды Миловидин.

— Из Польской Украины, — отвечал отставной солдат.

— Я бы никак не догадался, что ты из этого края, — возразил Миловидин, — у тебя настоящее великороссийское произношение.

— Это оттого, ваше благородие, что я смолоду обучался парикмахерству в Петербурге и рано вступил в службу.

— Итак, ты из дворовых людей?

— Да, сударь.

— Как же звали твоего пана?

— Я крепостной человек одной богатой русской барыни, поселившейся издавна на Украине.

— Каким же ты образом попал в солдаты?

— Я вам расскажу это, если прикажете.

— Говори.

— Отец мой был надворным казаком.

— А что это значит? — спросил я.

— Богатые помещики в Польской Украине дворовых людей своих одевают по-казацки и держат для рассылок, розысков, экзекуций и т. п. У нашей барыни было до полусотни казаков, под начальством моего отца, который носил звание асавула, или капитана. Наряд этих домашних казаков точно таков, говорят старики, как прежнего малороссийского войска: широкие турецкие шаровары, куртка, баранья шапка. Казаки бреют головы и носят на маковке длинный хохол, завивая его за ухо: этот клок волос называется оселедец. Бороды также бреют, оставляя длинные усы. В надворные казаки выбирают обыкновенно са-

мых расторопных и красивых людей. Невзирая на запрещение, иногда вооружают их пиками, саблями, пистолетами, а всегда нагайками. Обширные поместья моей барыни все отданы были в арендное содержание разным мелким помещикам, а корчмы и шинки в местечках на откуп жидам. Украинцы народ добрый, но упрямый. Украинский мужик не так терпеливо сносит обиды, как мужик литовский или белорусский. В поместьях моей барыни крестьяне часто противились самовластному управлению арендаторов и их приказчиков, и казакам всегда была работа и пожива при усмирении непокорных и при экзекуциях, то есть в буйных постоях, в наказание за ослушание. Казаки должны были также взыскивать недоимки с жидов. Если б отец мой был воздержан, он мог бы составить себе большой капитал, по примеру своих товарищей, из которых многие откупились на волю, и дети их, обучившись грамоте, называются теперь шляхтичами в дальних от родины странах. Многих из товарищей моего детства я встречал в Петербурге: большая часть из них занимается ходатайством по тяжеб-

ным делам, и они живут как паны. Но, по несчастию, отец мой был пристрастен к карточной игре и все, что выручал в целый год, проигрывал на Киевских контрактах, куда он ездил с конвоем при казне нашей барыни. Нас было пятеро сыновей у отца. Барыня выбрала меня с полсотнею других мальчиков, для отсылки в Петербург, обучаться разным ремеслам. Дворецкий, который доставил нас в Петербург, был приятель моего отца и потому назначил меня обучаться самому легкому ремеслу, которое могло меня сблизить с господами. В лавке моего хозяина я научился плутням и обманам, о которых прежде не имел понятия. Отец мой велел обучать меня грамоте на свой счет, но я лучше любил карты, нежели книги, и помогал товарищам своим обманывать хозяина, чтоб иметь, на что играть целые ночи напролет. Пять лет прошли скоро, и меня потребовали домой. Я должен был выдержать экзамен перед барыней и причесать по новой моде одну из горничных девушек. Но я лучше умел играть в три листа и в орлянку, чем завивать волосы и взбивать тупей. Я прижег щипцами лоб горничной и

лишил ее прекрасных пуклей. Барыня дала мне пару пощечин и отослала на задний двор, впредь до приказания.

У барыни моей не только сундуки, но и целые бочки наполнены были серебром; невзирая на это, она не упускала случая, где можно было поживиться копейкою, и из огромных своих доходов не издерживала и сотой части. Хотя во дворе было множество людей и за господский стол садилось также много слуг из шляхтичей и родни, но барыня умела кормить весь этот народ дешевым образом. Съестные припасы в наших местах весьма дешевы, и все, что следовало к барскому столу, как-то: кур, гусей, индеек, масло, яйца, грибы и т. п., — доставляли мужики в виде податей, называемых *даниною*. Вина, сахару, чаю, кофе и всяких пряностей для кухни барыня также никогда не покупала: это должны были дарить ей жиды, при заключении контрактов на арендное содержание корчем и шинков. Барыня наша ничем не занималась, как только приемом и считанием денег, поверкою счетов и осмотром своих сундуков. Она имела особенное удовольствие принимать от дере-

венских баб яйца. Для этого у нее была особая мера, род деревянного стаканчика без дна, чрез который она пропускала яйцо в кадь с водою. Если яйцо не приходило в меру, то крестьянка должна была дать взамен другое.

Из числа разного рода поборов и доходов с именья, которых я не упомню, а отчасти и не знаю, один доход был выдуман самою барыней и доставлял много денег. Каждый крестьянский двор должен был раз в год дать лошадиный хвост, и каждая крестьянская девка должна была, по крайней мере, раз в жизни обрезать свою косу и подарить барыне. Лошадиные хвосты покупали русские купцы, а с косами отправляли человека в Москву и в Петербург, для продажи их парикмахерам, на парики, шиньоны и фальшивые локоны. Как барыня не знала за мною другого порока, кроме неловкости в причесывании по новой моде, то чрез несколько времени мне поручено было стричь этих двуногих овечек и возить волосы в столицы. Несколько лет исправлял я дела порядочно, но однажды попал к игрокам и проиграл три пуда самых лучших волос, между которыми был целый пуд рыжих, ко-

торые были тогда в большой моде. Не смея воротиться к барыне, я долго скитался в Петербурге, наконец попал в полицию, как беспаспортный, и отослан по пересылке домой. В это время был рекрутский набор и меня отдали в солдаты. Служба исправила меня от порока, да я и сам, вошедши в лета, образумился. Десять лет прослужив порядочно, произведен я был в унтер-офицеры. Полк наш стоял на кавказской линии, где в сражении с горцами я получил тяжелую рану и выпущен в отставку. Я вздумал идти в Москву и приняться за ремесло сапожничье, которому научился в службе. На Нижегородской ярмарке меня приманил в службу к себе бухарский купец, обещал золотые горы и, по прибытии в Бухару, продал как невольника узбеку, или тамошнему дворянину. Я должен был работать в поле, как лошадь, в жестокий зной; усталость мою выгоняли палками, а кормили меня хуже домашнего скота. Наконец я заболел от голоду и изнурения и хозяин мой променял меня на быка другому купцу, который, по выздоровлении моем, взял меня с собою, для провожания верблюдов в киргизскую степь. Я

уже несколько раз бывал в караванах, назначенных в Россию, но бухарские купцы оставляют русских пленников в степи у своих знакомых киргизов и берут своих рабов, возвращаясь в Бухару. Таким образом весьма трудно спастись бегством, и я, верно, кончил бы жизнь у этих нехристей, если б, по счастью, они не передрались между собою, как собаки за кость, и если б его благородие, Иван Иванович, не был между киргизами. Правда, есть везде добрые и злые люди, и в Бухаре я видел добрых господ, и у нас есть господа не лучше моего узбека. Но придет уровень — смерть, а там перекличка и разбор по формулярным спискам: кому галуны, а кому стойка. Кто бывал в сраженьях и походах, тот знает, что на свете все пустое, трын-трава! На биваках столько же надобно дров, чтоб согреться генералу, как и солдату, а чтоб выспаться, никому не надобно более земли, как в рост человека. Сухарь ли в животе или сдобный пирог, все равно, был бы человек сыт, а как придется потчеванье свинцовыми орехами, так всем равная доля. Главное дело — чтоб совесть была чиста, тело здорово, да был паспорт за па-

зухой. Хлеба и работы на Руси довольно!

Наконец мы завидели московские колокольни и в безмолвии бросились в объятия друг другу. Я был как в лихорадке, и, когда застава поднялась перед нами, слезы полились из глаз моих. Мы остановились в трактире, и как еще было не очень поздно, то каждый из нас, взяв извозчика, поехал на поиски. Миловидин горел нетерпением узнать, что сделалось с его женою, графинею и графом Цитериными и дядею. Я поехал отыскивать тетушку. На прежней квартире не знали, куда она переехала и что с нею сделалось. Вороватина я также не нашел в прежнем его жилище. Хозяин сказал мне, что Вороватин, возвратясь из Оренбурга, продал все свои вещи и уехал из Москвы неизвестно куда. Он советовал мне справиться о тетушке в полиции. Я возвратился домой весьма печален и застал Миловидина еще печальнее. Граф и графиня Цитерины померли; сын их, ротмистр, которого он почитал убитым, был только тяжело ранен, выздоровел и получил все именье своих родителей. О жене своей Миловидин не имел никакого известия, кроме того, что она не

возвращалась в Москву из-за границы. Дядя его вышел наконец в отставку, устав подписывать: *верно с подлинным*, и поселился в Киеве, с своею домоуправительницей, которая так привилась к нему, как хроническая болезнь. Дочь ее вышла замуж за одного из тех женихов, которые от юношеского возраста начинают искать невест между *воспитанницами* богатых людей или *домоправительницами* старых холостяков. У Миловидина не было ни копейки и никакой надежды к приобретению денег. Я предложил ему мою казну и на первый случай дал сто червонных. Это несколько утешило его в горе. На другой день я поехал в полицию и нашел чиновника, который взялся отыскать жилище тетушки. Разосланы были приказания ко всем частным приставам, чтоб они немедленно дали знать в управу, где проживает г-жа Баритоно. От всех съезжих дворов получены рапорты, что в такой-то части упомянутой Баритоно на жительстве не имеется. На другой день, после получения рапортов, трактирный лакей, которому я также поручил отыскивать тетушку, уведомил меня, что она живет в двадцати ша-

гах от трактира, в доме, принадлежащем жене частного пристава, рядом с тем самым квартальным надзирателем, который сочинял от своего квартала рапорт, что г-жи Баритоно на жительстве не имеется.

Я полетел к тетушке. По грязной лестнице я вошел в галерею, или, лучше сказать, под навес второго этажа, и едва мог добраться до конца, пролезая между ушатами, кадками, ведрами, чугунниками и горшками. Отворяю дверь в темную кухню; старуха в лохмотьях с удивлением смотрит на меня и кланяется в пояс.

— Здесь ли живет Аделаида Петровна Баритоно?

— Здесь, батюшка!

Сердце мое сжалось, ноги тряслись: я отворяю двери в комнату — Боже мой! какое зрелище! В небольшой светелке, с одним окном, на грязной постели лежала женщина с опухлым лицом, покрытым красными пятнами. Она была накрыта старым салопом, голова ее повязана была платком, потерявшим цвет. Она смотрела на меня неподвижными глазами, приподнялась, отворила уста, чтобы про-

молвить что-то, и молчала.

— Тетушка, вы ли это? — воскликнул я и бросился к ней; но она упала на подушку и закрыла глаза. Трепет пробежал по всему ее телу, холодный пот выступил на лице, уста скривились от судорожного движения. Я думал, что она умирает, и в отчаянье не знал, что делать. Со мною был трактирный лакей, который дожидался меня на галерее. Я выбежал к нему, велел немедленно привести доктора и бросился помогать тетушке. Старуха кухарка между тем сбегала к соседке, жене квартального надзирателя, которая прибежала немедленно с спиртами и своими стараниями привела тетушку в чувство. Она залилась слезами, и это облегчило ее сердце.

— Ваня, — сказала она наконец, — итак, ты не забыл меня! Я отвечал одними слезами.

— Благодарю Тебя, Господи, что Ты позволил мне еще раз в жизни прижать к сердцу того, кто мне всего дороже! — сказала тетушка. — Добрый Ваня, ты застал меня в нищете, в болезни: я заслужила это и не пеняю на Провидение. Оно милостиво ко мне, возвращая мне тебя. Теперь я умру спокойно!

Добрая соседка нас оставила, и я, пришед несколько в себя, окинул взором это убежище нищеты. Стены светелки были черны как в кузнице. Окно составлено было из обломков разнородных стекол и в нескольких местах заклеено сахарною бумагой. Один сосновый стол, два стула и небольшой сундук составляли все мебели. В углу теплилась лампада перед образом. На окне стояли: фаянсовый чайник без крышки, фаянсовая белая чашка, стакан, кувшин с питьем и сальная свеча в бутылке. Осмотрев все это имущество, я прижал тетушку к груди моей: не помню, что говорил, но горько плакал. Наконец, успокоившись несколько, я пошел приискивать приличное жилище для тетушки, оставив ей мой бумажник с деньгами на уплату доктору и на лекарство.

Того же дня к вечеру тетушка моя переехала в чистую и хорошо меблированную квартиру и нашла в комодах все нужное на первый случай; кроме того, чистую постель, в кухне посуду, сервиз, серебро и для услуг ловкую служанку, искусную кухарку и проворного лакея. Я до времени остался жить в трак-

тире с Миловидиным, который разделял со мною радость мою и сам приискал и меблировал наскоро квартиру и купил что нужно (разумеется, на мои деньги) для тетушки. Он был в этом весьма искусен, разорившись несколько раз и заводясь многократно новым хозяйством.

Чрез две недели тетушка оправилась от болезни, и доктора объявили, что опасность миновалась. Она даже могла прохаживаться по комнате. Я прежде не хотел ей рассказывать моих приключений, чтоб не произвесть вреда раздражением ее чувствительности. Наконец, когда силы ее укрепились, я рассказал ей все, случившееся со мною от самого отъезда из Москвы, и заключил мое повествование просьбою, чтоб она объяснила мне причину расспросов и подозрений Вороватина насчет моего отца и преследование какой-то графини. Тетушка задумалась, и наконец бросилась мне на шею, и зарыдала.

— Ваня, — сказала она. — Я хочу открыть тебе душу мою, в которой хранится тайна целой моей жизни. Не презирай меня, но пожалей о несчастной: я жертва легкомыслия и су-

етности. Слушай!

Тебе, может быть, неизвестно, что в Белоруссии есть много селений или слобод, в которых живут великороссияне, выходцы из разных стран России, по большей части староверы, укрывавшиеся в бывшей Польше из опасения преследования. Одна Русская слобода находится в десяти верстах от имения г-на Гологордовского. В этой слободе был зажиточный крестьянин, по имени Петр Севастьянов, по прозванию Крутоголовый, который извозом и торгом щетиною, полотнами и льном составил себе хорошее состояние. Он был вдов. Хозяйством управляла сестра его, Аксинья. У него было двое детей, дочь Дуня 16 лет и сын Василий 19 лет от роду. Эта Дуня — я!

— Как! вы, тетушка! — воскликнул я в удивлении. — С таким воспитанием, с такою ловкостью! Этому трудно верить... Итак, я принадлежу также к крестьянской семье, — примолвил я, покраснев и потупя взоры. — Но я родной ваш племянник по сестре, а вы говорите, что у вас не было родной сестры. Как же это?..

— Будь терпелив и выслушай, — сказала

тетушка, — и не стыдись своего происхождения. Мы не вольны избирать себе родителей; но от тебя зависит облагородить род твой; слушай терпеливо до конца и после говори и делай, что тебе угодно.

В окрестностях наших стоял на квартирах гусарский полк, и в нашем селе расположен был один эскадрон, которым командовал ротмистр князь Милославский. Он только что приехал из гвардии и удивлял не только нас, но и помещиков богатством своих экипажей, красотою лошадей и своими издержками. Князь был красавец, молод, ему было тогда 25 лет от рождения, ласков со всеми, любезен и большой волокита. Он дарил всех девиц в селе лентами, бисером, сластями, кланялся всем вежливо, играл в хороводы, а крестьян поил водкою и платил за все наличными деньгами. Его все любили в селе, старые и молодые. Только я одна не получала от него подарков и никогда с ним не говорила. Я была боязлива, и князь казался несмелым со мною одной. Каждый день он проезжал верхом или проходил пешком мимо моих окон, слезал нарочно с лошади, будто поправить что-нибудь,

или останавливался поговорить с отцом, а в самом деле для того только, чтоб посмотреть на меня. Как ни просты деревенские девушки, но они читают в глазах влюбленных, как в книге, и не надобно девушке опытности, чтоб догадаться, с каким намерением мужчины на нее посматривают. Я не могла сомневаться, что князь для того только ездит и ходит мимо нас, чтоб видеть меня, ибо если я отходила от окна и пряталась за воротами, то он двадцать раз кружил возле нашего дома, чтоб только взглянуть на меня. Но мне досадно было, что он, будучи так разговорчив, никогда не сказал мне ни слова. Правду сказать, я не понимала тогда, что значит любовь, но мне очень весело было, когда я смотрела на князя, и весьма скучно, когда я не видала его несколько дней или даже хотя одно утро. Он мне часто виделся во сне с своим белым личиком и черными усиками, и когда случалось, что он в сновидении поцелует меня, чего мне очень хотелось, то я целый день была весела и довольна. В селе нашем было много красавиц и пригожих молодцев, но все лица казались мне несносными, и я находила удо-

вольствие глядеть только на два лица, на свое собственное в мое маленькое зеркальце и на лицо князя. Не одно мое маленькое зеркальце говорило мне, что я красавица. Все молодые крестьяне наши, все офицеры и помещичьи сынки, которые останавливались у нас, ездя на охоту, повторяли мне одно и то же, и верст на пятьдесят кругом я известна была под названием *прекрасной крестьянки*.

Отец мой был весьма строг и угрюм: он был ревностный старовер и отрекся бы от меня, если б узнал, что я осмелилась взглянуть на человека не староверческой секты. Он повторял мне это несколько раз. Князь знал о строгости моего отца и закоснелости его в предрассудках, а потому именно избегал со мною встречи, довольствуясь одними взглядами. Таким образом прошло около полугода: князь оставил все свои знакомства, все занятия и не выезжал из села, находя все наслаждение жизни в том, чтоб видеть меня несколько раз в день на улице или чрез окно. Я только и думала, что о князе, и образ его был беспрестанно перед глазами моими днем и ночью. Настало лето. Отец мой поехал по

торговым делам в город, а я, оставшись под надзором одной тетки, выпросилась у ней пойти с подружками в лес по ягоды. Мы разбрелись по лесу, и я, напевая заунывную песню и думая о князе, рвала ягоды, как вдруг что-то зашевелилось в кустарнике; я ахнула от страха и хотела бежать: ветви раздались, — явился князь, и я невольно осталась.

— Милая Дуня, я люблю тебя! — сказал мне князь, подошед ко мне. Я молчала, стояла неподвижно, потупя взоры, но чувствовала, что колена мои трясутся и что щеки горят. — Дуня, я умру, если ты не будешь любить меня! — Я все молчала. — Да посмотри же на меня, — сказал князь. Я подняла глаза, посмотрела на него и должна была утереться рукавом, чувствуя, что глаза мои наполнились слезами. Князь взял меня за руку, посадил возле себя на колоду и стал со мною разговаривать. Я не помню, что он говорил мне и что я ему отвечала. От руки моей, которая была в руках князя, распространилось пламя по всем жилам моим, и сердце мое так сильно билось, что я слушала его удары и была как в лихорадке. Князь долго говорил со мною, долго

ласкал меня, и наконец, когда поцеловал меня в лицо, свет затмился в глазах моих: я думала, что умру на месте от страха, и бросилась в объятия князя…

Недолго мы находились в забвении: дни улетали, а с ними улетала и радость. Вскоре почувствовала я, что природа назначила мне быть матерью, и почти в то же время полк получил повеление выступить в поход, против турок. Где скрыться от стыда? Как избегнуть строгости отца? В один день вдруг вся деревня узнала с удивлением, что прекрасная Дуняша пропала из родительского дома. Я вела себя так осторожно, что никто не подозревал меня в добровольном бегстве. Разнеслись даже вести, будто меня насильно увезли из дому и убили. Подозревали князя, подозревали многих из окрестных помещиков. Отец мой не искал меня, а чужие люди поговорили да и замолчали.

В пятидесяти верстах от нашего села, в лесной деревушке, находилась корчма. В ближнем городе жиды рекомендовали князю содержателя этой корчмы, как человека честного, скромного и услужливого, на которого во

всем можно положиться. Князь поместил меня в этой корчме, приставив ко мне старуху, которая называла себя повивальною бабкой; дал мне шкатулку с своими драгоценными вещами, между которыми находились два его портрета и 10 000 рублей ассигнациями. Князь приказал мне, как скоро я оправлюсь после родов, ехать с ребенком в Москву и ожидать его возвращения, оставив свой адрес в приходе Иоанна Предтечи, в Кречетниках. Князь отправился в поход, дав клятву составить мое счастье и никогда не покидать дитяти. Расставаясь с князем, я думала, что расстаюсь с жизнью.

У меня была особая светелка в уединенном углу дома. Приставленная ко мне старуха помещалась в чуланчике. Целое семейство жида услуживало мне с большим усердием. Сам хозяин слыл доктором и лечил окрестных мелкопоместных дворян. Наконец я родила на свет сына... Ваня! ты сын мой и князя Милославского!.....

Я вскочил со стула.

— Как, вы мать моя! — воскликнул я в сильном волнении чувств. Мать моя сидела

неподвижно и, закрыв лицо руками, плакала. Я бросился в ее объятия, и слезы наши смешались.

— Сын мой, — сказала матушка, — не обременяй меня упреками и не презирай меня. Я следовала внушению природы, и вся вина лежит на том, который силою своего ума и характера мог бы удержать меня от преступления. Но его уже нет в живых... почтим его память. Он был виновен, но не сердцем!

Когда мы несколько успокоились, матушка продолжала рассказ:

— Ты уже знаешь, что родился с наростом на левом плече, который прижег тебе хозяин мой, жид-доктор. Впрочем, ты был здоров и крепок. Я уже начинала оправляться от болезни и намеревалась в скором времени отправиться в Москву. Ужасное происшествие разлучило меня с тобою.

Приставленная ко мне повивальная бабка, невзирая на ее услужливость и ласкательства, была мне несносна. В лице ее, покрытом морщинами, выражались злоба и зависть. Всякий раз, что взоры наши встречались, трепет пробегал по всем моим жилам. Я стара-

лась избегать ее присутствия и все время проводила одна в моей светелке с тобою или с портретом твоего отца. Однажды вечером, в осеннюю пору, я мучилась головною болью и легла рано в постелю. Но, чувствуя нестерпимый жар, я встала и вышла на свежий воздух. Прислонившись к стене, неподалеку от окна хозяйской комнаты, я услышала, что произнесли мое имя. Я подошла к окну и услышала разговор, который едва не лишил меня чувств.

— Я осмотрела весь сундук этой девчонки, — сказала повивальная бабка, — и нашла в нем несметные богатства. Целые пуки белых ассигнаций, целые горсти золотых перстней, колец с дорогими камнями!

— Ну, так возьми и беги, мы скроем тебя, — сказал жид.

— Нельзя, — возразила старуха. — У меня в городе семья, дети и внуки. Девчонка найдет кого-нибудь, чтоб написать к князю, а он приятель с маршалом, с городничим, даже с самим губернатором: будет беда!

— Ну, так сбыть с рук девчонку, — сказал жид.

— Это всего лучше, — отвечала старуха. — Здесь пусто и глухо. Девчонку на тот свет, мальчика подкинем кому-нибудь, деньгами и вещами поделимся и — концы в воду. Пускай приезжает князь: мы скажем, что она уехала в Москву; пускай тогда ищет. Мертвые молчаливы!

— Славно, славно, Василиса! — сказал жид. — Когда же начать работу?

— На что откладывать? — отвечала старуха. — Она сегодня больна и спит теперь: возьми топор, стукни раз, потом тело в мешок, да и в озеро.

— И правда, незачем откладывать; поди ты к дверям, а я возьму топор и тотчас ее отправлю.

Ты можешь легко представить себе, в каком положении находилась я, слушая это адское совещание. Я бросилась в беспамятстве бежать к лесу, и, невзирая на холодную, сырую погоду, на темноту ночи, шла наудачу, пробиралась между кустарниками. Выбившись из сил, я прилегла под деревом и пришла несколько в себя. Я упрекала себя, что оставила тебя в руках убийц; но, раздумав хо-

рошенько, успокоилась. Я была почти уверена, что они не посмеют убить тебя, когда я избегнула от их сетей. Я решилась идти в город, открыть все губернатору, который, как я услышала, был приятелем князя, и просить его о возвращении мне сына и об отправлении меня в Москву. На мне были большой платок и душегрейка. Помолившись Богу, я заснула под деревом.

Глава XXIII
Окончание истории Аделаиды Петровны. Замужство. Перевоспитание Вольная жизнь. Пагубные следствия легкомыслия. Я вступаю в свет. Визиты

С рассветом я проснулась от холода и снова пошла лесом, без дороги. Жажда мучила меня, но сильное нравственное потрясение сделало перелом в моей болезни. Испив дождевой воды из лужи, я почувствовала себя сильнее и бодрее прежнего. Но вспомнив, что ты остался без кормилицы, я горько заплакала и поручила тебя попечению Того, Который питает слабых птенцов и несчастных сирот. Отдыхая несколько раз и продолжая путь с напряжением сил, я к полудню очутилась на большой дороге. Опасаясь погони, я не смела идти большою дорогою, а шла опушкою леса. Вдруг услышала я звук колокольчика. Я прилегла в кустах и, увидев, что в бричке, запря-

женной четверкою, сидит какой-то господин с лакеем, выбежала на большую дорогу, бросилась на колени и, воздев руки, закричала: «Спасите, спасите несчастную от смерти!» Бричка остановилась, господин вышел из нее, подошел ко мне и стал меня расспрашивать. Я рассказала ему всю свою историю и, упав к ногам, просила помощи и защиты. Господин этот тронулся моею юностью и моим несчастьем: он посадил меня рядом с собою, и мы помчались в город.

Избавитель мой был родом итальянец и назывался Баритоно. Он был в доме одного богатого помещика учителем музыки и капельмейстером и, пробыв шесть лет в провинции, возвращался в Москву с небольшим капиталом, чтоб по-прежнему заняться в столице преподаванием уроков. Баритоно был уже пожилой человек, лет за сорок, но приятной наружности и веселого нрава. Он говорил довольно хорошо по-русски и утешал меня как мог. Приехав в губернский город, он явился к губернатору и рассказал ему мое приключение. Губернатор был человек добрый и справедливый: он сам захотел видеть меня;

так же, как Баритоно, пленился моею наружностью и был тронут моим несчастьем. Тотчас же выслал он чиновника с приказанием взять под стражу жида и повивальную бабку и доставить немедленно моего сына и все мои вещи. Но, вероятно, по не скромности извозчика, при котором я рассказала мое приключение Баритону, весть о моем спасении дошла и до жида. Чиновник нашел корчму опустелую. Семейство жида, повивальная бабка исчезли вместе с тобою и с вещами: и я больше о тебе не слыхала!

Баритоно привез меня в Москву и обходился со мною, как нежный отец с дочерью. Он написал письмо в полк к князю Милославскому, но вместо ответа мы получили письмо обратно, с известием, что князь Милославский убит в сражении.

Баритоно не хотел расставаться со мною. Он назвал меня Аделаидою, нанял для меня учителей и сам занимался обучением меня музыке. Чрез пять лет я выучилась русской грамоте, французскому, итальянскому языкам, танцевать, петь и играть на фортепиано. Природа, столь щедрая к русскому народу, не

требовала больших усилий к моему образованию. Я полюбила чтение и вскоре познакомилась со всем, что должно знать светской женщине. Баритоно восхищался своим созданием, и все приятели его удивлялись моей ловкости, понятливости и дарованиям. Я имела много обожателей, но благодарность привязывала меня к моему избавителю. Он предложил мне свою руку, и я с радостью согласилась быть его женою, чтоб любовью моею хотя несколько вознаградить моего благодетеля за все его обо мне попечения.

Баритоно был человек добрый и любил меня нежно. Я не могла быть в него влюблена, но была к нему привязана и все обязанности жены исполняла с величайшим усердием. Между тем муж мой, устав бегать по городу за билетами и ссориться с учениками и их родителями для получения денег за уроки, притом же чувствуя, что здоровье его ослабевает, вздумал завести магазин ниренбергских товаров и отказаться от учительства. Он издержал весь свой небольшой капитал на устройство магазина и на покупку товаров; но как он не имел кредита, будучи новичком в торговле, и

не знал всех коммерческих уловок, то вскоре торговля наша упала. Баритоно так огорчился этим, что заболел нервною горячкою и умер.

Положение мое было самое неприятное. Я осталась с тысячью рублями, спасенными мною из всего капитала, без всякой надежды на будущее, без друзей и покровителей. Круг моего женского знакомства ограничивался несколькими иностранками, магазинщицами и актрисами. Из мужчин я не знала никого, кроме нескольких музыкантов и земляков моего мужа. Но меня знали все любители прекрасного пола, гонялись за мною толпами на прогулках, не сводили глаз с моей ложи в театре и беспрестанно бегали мимо окон. Я имела множество неизвестных мне обожателей. Некоторые из них, еще при жизни Баритоно, писали ко мне письма, которые я, не распечатывая, отдавала моему мужу; другие чрез знакомых женщин объяснялись в любви, но я с первого слова налагала молчание на услужливых приятельниц и таким образом прослыла по справедливости скромною, что, впрочем, редко случается. После смерти Баритоно мои приятельницы и приятели моего мужа

приступили ко мне с советами, или, лучше сказать, с наущениями, чтоб я приняла благодеяния, предлагаемые мне великодушными людьми, которые сгорают от любви ко мне. Не видя вокруг себя ничего лучшего и наслышавшись анекдотов о знатных дамах, пользующихся, однако же, уважением в свете, я думала, что все это в порядке вещей и согласилась принять предложение князя Чванова, который требовал от меня не любви, но только позволения любить меня и за это, так сказать, осыпал золотом. Ты знал этого доброго старичишку. Он издержал все свои доходы на женщин, из одного тщеславия, чтоб прослыть волокитою! При всех своих слабостях и странностях, он имел доброе сердце, и если б он был жив, я не была бы доведена до крайности, в которой ты нашел меня.

Не зная ни цены денег, ни недостатка в них, я издерживала столько, сколько мне попадалось в руки. Получив деньги, я почитала обязанностью немедленно истратить их и не знала других расходов, кроме как на наряды и на щегольство. Богатством нарядов я думала прикрыть тайну моего поведения, и уваже-

ние, оказываемое мне по платью и экипажу от незнакомых людей, утешало меня в малых неприятностях, получаемых в публичных собраниях от гордых взглядов замужних женщин, которые, прикрываясь именем мужа, как ширмами, порицают в других то, чего сами втайне придерживаются.

Не имея знакомства, куда бы я могла выезжать, я составила мужской круг знакомства из самых приятных и любезных людей столицы. Ты был свидетелем наших музыкальных вечеров, Ваня, следственно, я не стану тебе их описывать. Будучи молода, я не могла ограничиться полуплатоническою любовью князя Чванова и сперва для рассеяния, а после по привычке, искала сердечных связей. Семен Семенович Плезирин обещал жениться на мне, как скоро князь Чванов исполнит свое обещание и устроит судьбу мою. Но дела князя Чванова начали упадать: часть его имения была заложена, а другая в процессе, и он, невзирая на добрые желания, не мог обеспечить судьбы моей. Семен Семенович познакомил меня с Грабилиным, этим разбогатевшим подьячим, который грубостью своею и

притязаниями сделал мне жизнь несносною. После твоего отъезда в Оренбург я решительно отказалась от его дружбы и намеревалась даже выйти замуж за одного трудолюбивого и влюбленного в меня смертельно живописца, как вдруг жестокая болезнь свалила меня в постелю. Я получила природную оспу, и столь сильную, что все тело мое покрылось корою. Я была в горячке, в беспамятстве, и жестокосердный подьячий, Грабилин, воспользовался этим случаем, чтоб отнять у меня последние вещи. Семен Семенович, один из тех вечно подчиненных чиновников, которые везде ищут женщин, в связях с знатными и богатыми, чтоб чрез них получить покровительство за обещание жениться, Семен Семенович первый оставил меня в нищете. Другой приятель, аббат Претату, также отрекся от моей дружбы, и я бы умерла без всякого пособия, если б одна русская дама, которая гневалась на меня за то, что муж ее хаживал ко мне на вечера, не отомстила мне благодеянием. Хозяин не хотел держать меня на квартире без денег, и меня в болезни перенесли в ту комнату, где ты нашел меня, и бросили на

произвол судьбы. Русская дама, узнав о моем положении, прислала мне несколько денег и своего доктора; наняла женщину, чтоб ухаживать за мною: но, будучи сама небогатою, она не могла сделать для меня много. В этом бедствии Промысл Всевышнего послал мне помощь и утешение в тебе, сын мой! Я уже навсегда лишилась красоты и с нею того тщеславия и легкомыслия, которые были причиною моих проступков. Отныне обращаюсь на путь раскаяния и любовью к Богу, любовью к моему сыну наполню пустоту сердца. Ваня, сын мой! ничего не может быть несчастнее, как женщина, которая одну красоту почитала достоинством и пользовалась ею, как товаром, как средством к минутным наслаждениям. Я это чувствую теперь в полной мере. Что была бы я теперь, если б Бог не послал мне тебя!

Матушка, кончив свой рассказ, бросилась на колени перед образом и со слезами стала молиться. Молитва облегчила ее сердце: она успокоилась.

— Любезная маменька, — сказал я. — Забудем о прошедшем и станем помышлять о на-

стоящем и о будущем. В вашем повествовании я не нашел ключа к открытию таинства моего преследования. Я не сделал зла никому: какая же это графиня, которая столь пламенно желает моей погибели? Не было ли у вас какой неприятельницы?

— На меня могли гневаться многие знатные женщины, — отвечала матушка, — но я не думаю, чтоб которая-нибудь из них захотела мстить мне погибелью моего племянника. Тайна твоего рождения известна только мне одной. Ни один из бывших моих приятелей даже не догадывался о том, что ты сын мой. Не постигаю, откуда противу тебя такая злоба в этой графине. Не ошибка ли это?

Прошло еще два месяца, и матушка совершенно выздоровела. Но красота ее исчезла: лицо покрылось глубокими рубцами и рябинами, волосы внезапно поседели, глаза потеряли живость, прекрасные округлости упали. Матушка казалась десятью годами старее, нежели была в самом деле. Потеря наружных достоинств привела ее на путь мудрости. Она сделалась богомольною и оделась в черное платье с ног до головы; все время проводила в

церквах и в чтении божественных книг.

Между тем товары мои прибыли в Москву, и я немедленно их продал. У меня было около сорока тысяч рублей всех денег. Я нанял небольшую, но чистую квартиру, разделенную на две половины: в одной жила матушка, в другой я с Миловидиным. Отставной солдат Петров остался при мне, в звании камердинера. Мы проводили время довольно скромно. Миловидин беспрестанно писал письма во все концы России, чтоб узнать об участи жены своей, о которой не было никакого слуха. Я отыскивал Вороватина, чтоб узнать об имени неприятельницы моей, графини. Мы прогуливались, читали вместе, философствовали и составляли планы в будущем, и, по правде сказать, скучали. Миловидин привык к рассеянной светской жизни; моя душа требовала деятельности. Несколько приятелей узнали Миловидина и открыли его убежище, а видя его порядочно одетого, издерживающего деньги в кофейных домах и трактирах, стали навещать нас. Рассказы о прежних связях, о большом свете снова возбудили в Миловидине желание возвратиться в прежний круг

знакомства.

— Послушай, Выжигин, — сказал мне однажды Миловидин. — Ты хочешь вступить в службу, приобресть какое-нибудь звание в свете. Похвально! У нас в России порядочный человек без чина почти то же, что в других странах без паспорта. Но без покровительства трудно чего-нибудь добиться. Где власть имеют мужчины, там управляют женщины; а где властвуют женщины, там управляют мужчины. Надобно искать в женщинах, любезный друг! Для вступления в свет ты имеешь два важные преимущества: деньги и приятную наружность. Ты более знаешь, нежели нужно знать в свете. Довольно было бы одного французского языка и танцеванья; а ты, сверх того, музыкант и хорошо играешь в коммерческие игры. Все это составляет высочайшую премудрость большей части людей из знатного круга, которым открыт путь честолюбия до первых степеней в государстве. Тебе недостает только той ловкости, той самонадеянности, которые приобретаются посещением обществ высшего круга. Но этими качествами весьма скоро можно запастись, с умом и со

смелостью, в которых у тебя нет недостатка. Итак, послушайся меня и вступи в свет. Я познакомлю тебя с двумя дюжинами моих тетушек и кузин и несколькими полновесными законодателями обществ; с молодежью ты сам познакомишься. Потакай старшим, играй в бостон и вист со старухами, никогда не гневайся за картами и не спрашивай карточного долга; потчевай молодых людей и разделяй с ними их удовольствия; не спорь, соглашайся всегда с большинством голосов в собрании товарищей, с хозяином в его доме и со всяким наедине. Не делай сам сплетней и не клевещи ни на кого, но слушай терпеливо все сплетни и клеветы; извещай о сплетнях намеками, всегда скрывая имена; забавляй выдумками и никогда не прислуживайся правдою; хвали все чужое и порицай все свое; называй всех болтунов умными, всех чиновников деловыми и трудолюбивыми, всех судей честными, всех богачей благодетельными, всех пожилых дам добрыми, всех молодых женщин и девиц красавицами, всех детей амурами и гениями. Знай наизусть дни именин и рождения всех твоих знакомых и не пренебрегай

визитами. Научись хохотать до слез, когда тебе рассказывают скучное под именем смешного, и умей морщиться, когда кто-нибудь поверяет тебе грусть свою. Подаваясь вперед, старайся показывать, что ты всегда стоишь позади. Всякий успех свой приписывай другим и благодари всех. Сноси терпеливо небольшие оскорбления, а мстить за себя предоставляй другим. Проси всегда за других и заставляй других просить за тебя. Никогда ни в чем никому не отказывай; обещай все и всем и после извиняйся невозможностью исполнения, показывая вид, будто ты все сделал, что от тебя зависело, хотя бы вовсе не начинал. Помни мои наставления и верь, что, если будешь им в точности следовать, превзойдешь всех камер-героев мире и получишь чего пожелаешь!

Я открыл другу моему, Миловидину, тайну моего рождения. Сердце мое имело нужду облегчиться доверенностью. Мы посоветовались с матушкою, и она благословила меня на новое поприще. «Ты встретишь, может быть, своих родственников в свете, — сказал Миловидин, но как ты не имеешь никаких доказа-

тельств, что ты сын князя Милославского, и как отец твой ничего тебе не оставил, то это ни к чему тебе не послужит и даже может навлечь неприятности. Я представлю тебя в свете под именем русского дворянина, имеющего жалованные имения в белорусских губерниях. Вообще русские фамилии, поселившиеся в новоприобретенных областях, имеют мало связей в столицах: нам поверят. Те же, которые почитают тебя племянником Аделаиды Петровны и видели тебя у нее в доме, не знают ни твоего, ни ее происхождения. Они, без сомнения, узнают, что Аделаида Петровна живет теперь отшельницею и что ты содержишь ее на своем иждивении. Это еще более утвердит их в мнении насчет твоего дворянства. Впрочем, любезный друг, только в среднем сословии люди взыскательны и любопытны насчет других. В высшем кругу каждый думает о себе самом и не беспокойся о другом, если тот не загораживает ему дороги».

Наконец настал день, назначенный для визитеров. Я нанял карету четвернею, одел лакея в ливрею с галунами, и мы пустились в

путь. Дорогою Миловидин сказал мне: «На нем посещения с графини Протрубиной. Это *запевала* между московскими старухами: по ее камертону воет полсотни крикуней, и этот хор составляет репутацию молодых людей, а особенно молодых супругов. Вот дом ее: видишь ли, сколько здесь карет перед крыльцом? Не так опасно прогневить начальство, как этих гарпий, которые за малейшее упущение готовы растерзать добрую славу порядочного человека».

— Принимает! — сказал швейцар, занимавшийся почин, кою сапогов в своей каморке. Мы вошли в залу, расписанную за полвека пред сим. Вокруг стен стояли огромные стулья, покрытые чехлами из пестрой холстины, а в углу большие голландские часы, в дубовом резном футляре.

— Пожалуйте! — возгласил камердинер, отпирая двери в гостиную. Мы вошли. Графиня, старая женщина, сидела, скорчившись на софе, обложенная подушками, вышитыми по канве ее внучками и воспитанницами. Под ногами была также огромная вышитая подушка. На коленях ее покоился шпиц, высу-

нув голову из шали. Перед ней на столике стояли фарфоровые чашки с визитными билетами, табакерка и колокольчик. Кругом в креслах сидело несколько дам и мужчин.

— Здравствуйте, тетушка, — сказал Миловидин, поцеловав у нее руку.

— Откуда, батюшка? — спросила графиня, подняв голову и смотря пристально на Миловидина.

— Из далеких стран, тетушка, и первым долгом почел явиться к вам.

— Спасибо, что не забыл.

— Позвольте, тетушка, поручить вашему покровительству друга моего, белорусского помещика, Ивана Ивановича Выжигина, которому я весьма много обязан.

Графиня посмотрела на меня и кивнула головою, а я поклонился.

— Милости просим: мы рады добрым людям. Прошу садиться. Что, ты один в Москве или с женою? — спросила графиня.

— Один, тетушка; жена моя осталась за границею, по слабости здоровья.

— Тем лучше, что ты один. А где служить изволите? — сказала графиня, обращаясь ко

мне.

— Я теперь только намереваюсь вступить в службу, — отвечал я, — и по сие время занимался науками.

— А, из ученых! Понимаю, — примолвила графиня, понюхав табаку. — А много ли за вами душ? — спросила она.

Миловидин не дал мне отвечать и сказал:

— Полторы тысячи.

— А много ли детей у родителей? — спросила графиня.

— Он один и — сам хозяин, — отвечал Миловидин.

— Не дурно, — проворчала графиня, снова понюхав табаку.

Я посмотрел на других гостей и заметил, что матушки подталкивали дочек и дочки выпрямливались, поднимали глаза, опускали взоры, склоняли грациозно голову на плечо, а те, которые имели хорошие зубы, улыбались.

— Полторы тысячи душ для одного человека довольно изрядно, — сказала про себя графиня, потирая свою табакерку.

— Как бышь фамилия, извините?

— Иван Иванович Выжигин, — повторил

громко и протяжно Миловидин.

Я снова заметил, что все гостьи шевелили губами, как будто повторяя для памяти мое имя.

— Я всякий день обедаю дома, — сказала графиня, — и кроме двух дней в неделе и необыкновенных случаев, всякий вечер принимаю. Мне приятно будет видеть вас у себя в доме, Иван Иванович; а тебя, Александр, звать не к чему: ты у меня домашний, пока снова не заветреничаешь.

Миловидин снова поцеловал руку графини, а я отпустил такой складный комплимент, что графиня даже кивнула головою, в знак согласия, и удвоила прием табаку, в знак своего удовольствия.

— Дело сделано, — шепнул мне Миловидин. — Теперь все запоют на одну ноту.

Так и случилось.

— Александр Иванович, — сказала Миловидину одна толстая дама, пожилых лет, сильно разрумяненная, в огромном чепце, торчавшем на самом почти лбу, — давно ли вы заспесивились и не узнаете старых знакомых?

— Помилуйте, сударыня, — отвечал Миловидин, — я вам кланялся, и, будучи занят разговором с ее сиятельством, не имел времени обратиться к вам с засвидетельствованием моего почтения, намереваясь, впрочем, исполнить это в вашем доме.

— То-то, — примолвила толстая женщина. — Прошу не оставлять нас по-прежнему. Милости просим и с приятелем вашим.

Я снова выстрелил комплиментом, и толстая дама сделала гримасу, которую, вероятно, какой-нибудь льстец назвал бы приятною улыбкой. Миловидин знал всех гостей. Начались объяснения, и мы были приглашены с первого визита ко всем *всякий* день обедать и *каждый* день на вечер. В полчаса я сделал одиннадцать знакомств.

— Многое переменилось с тех пор, как ты оставил Москву, — сказала Миловидину графиня. — Кузина твоя, Ашенька, вышла замуж за богатого чиновного человека. Кузина Полина разъехалась с мужем, который потерял место директора таможни. Кузина Катиш чуть не вышла замуж за полковника; уж мы было все сладили, да проклятые сплетни Ку-

кушкиной расстроили дело, и она навязала жениху свою жеманную племянницу, у которой нет ничего, кроме денег. А ты знаешь, что порядочный, благовоспитанный человек не женится на деньгах, — примолвила она, посмотрев на меня. — Не правда ли, Иван Иванович?

— Денежный расчет в супружестве качество низких душ, — сказал я.

— Как умно! — сказала толстая дама, посмотрев на своих дочек.

— Чувствительно и остроумно! — воскликнула сухощавая дама, возле которой сидели четыре дебелые девы.

— Все вы говорили, что из моего внука Кокко не будет проку, — сказала графиня Миловидину, — а мы его пристроили порядочно. Он при особых поручениях при князе Связине в Петербурге, и уже титулярный, да в нынешнем году получил крестик за поездку в Москву, с каким-то секретарем или прокурором на следствие. Жаль, что он приехал сюда по окончании следствия, а то бы еще схватил что-нибудь. Мы прочим его в камер-юнкеры. Князь Связин теперь в силе, а он мне свой че-

ловек. На днях отправляю к нему внука моего, Жака, сына несчастного Благородова, который, говорят, с ума сошел от книг, поселился в деревне и отказался от чинов. Жак, слава Богу, не в отца. Прекрасный молодой человек, хочет служить в Иностранной коллегии и мастер своего дела. На мои именины сочинил по-французски куплеты на двух листах, которые пропели три мои внучки. На последнем бале всех удивил мазуркою, и, кроме того, весьма учен: как сказывают, знает орфографию и мифологию! Из него будет человек! Но за то про тетку его, графиню *Никодим*, говорят очень дурно. Я не люблю повторять дурных вестей; но говорят, что она имеет связи... понимаешь? Она перестала ко мне ездить: Бог с ней! Да и бывший губернатор, твой родственник, Доброделов, также перестал ездить ко мне. Даром, что приятели провозглашают о его честности, да не все верят. Уж кто в дом ко мне не ездит, так верно тот чувствует за собою какую-нибудь вину. Я не люблю оговаривать, а знаю кое-что! — Графиня стала нюхать табак и собиралась еще рассказывать про всех своих родных и знакомых, но Мило-

видин воспользовался минутою молчания, встал, и мы вышли из комнаты.

— Сохрани Бог, попасться ей на язык, — сказал Миловидин, садясь в карету. — Она присвоила себе право владычества над четвертою долею московского общества, и кто только отдаляется от нее и не хочет идолопоклонничать, с тем поступает она, как с дезертиром, отдает под свой бабий суд, произносит сентенцию и, в наказание, лишает доброго имени. Языком своим и связями она сделалась страшною для многих лиц, занимающих важные места, и они должны исполнять ее желания, чтоб избегнуть клеветы и всякого рода козней. Надобно польстить ей: она доставит тебе место. Пожалованные мною тебе полторы тысячи душ и белорусское дворянство возьмут свое.

Мы подъехали к большому дому, и Миловидин сказал: «Теперь я познакомлю тебя с одним из коноводов московских стариков, которого имя произносится с таким точно уважением, как некогда дельфийского оракула. Антип Ермолаевич некогда занимал важное место, и хотя дела при нем шли точно таким

же порядком, как и всегда, но он уверен, что с тех пор, как он вышел в отставку, солнце слабее согревает Россию, луна не так ярко светит и отечество на краю гибели. Все, что только делается внутри и вне государства, почитает он дурным и говорит, что он присоветовал бы сделать лучше, хотя, по несчастию, он ничего не сделал хорошего в жизни, кроме того, что вышел в отставку. По словам его, кроме покойных его приятелей и покровителей, не было способных людей в России. Если б он не давал обедов и балов, то его бы никто не слушал; но как он любит собирать в своем дому толпу, то он, как говорится, имеет вес. Он может быть тебе полезен».

Нас приняли. Антип Ермолаевич был в своем кабинете. Он сидел в больших креслах, в зеленом бархатном шлафроке, опушенном соболями и украшенном двумя звездами.

— А, старый приятель, где пропадал? — сказал он Миловидину.

— Путешествовал и, возвратись в Москву, первым долгом почел явиться с почтением к вашему превосходительству.

— Спасибо, спасибо, дружок!

— Позвольте представить вам моего приятеля, Ивана Ивановича Выжигина, русского дворянина, имеющего полторы тысячи душ в Белоруссии.

— Добро пожаловать. А где служил ваш отец и в каком был чине?

— Полковник в армии, — отвечал Миловидин.

— Не при Светлейшем ли?

— Точно так, — сказал я, заикаясь.

— Вот тогда-то были времена! Не правда ли?

— Точно так, ваше превосходительство, — сказали мы в один голос.

— А вы где служите?

— Я теперь только хочу определиться к месту.

— Какая теперь служба! — воскликнул Антип Ермолаевич. — Теперь выдумали везде штатные места, и порядочному человеку негде приютиться. Не правда ли?

— Точно так, ваше превосходительство, — сказал Миловидин, и я повторил за ним то же самое.

— Однако ж и ныне есть места для особых

поручений, — примолвил Миловидин.

— Да ведь в том дело: при ком состоять для особых поручений! Не правда ли? — сказал Антип Ермолаевич. — Те ли вельможи были в наше время, что ныне? Не правда ли? Бывало, придешь к вельможе: он лежит себе в халате на диване да перекачивается, а перед ним стоят струнко князья, графы и генералы и ожидают сигнала плакать или смеяться. Не правда ли? А ныне сам вельможа не смеет присесть, не посадив других; принимает даже просителей ъ мундире и подчиненного иначе не назовет, как вы, да еще по имени и отчеству. Не правда ли? Ну какое это время? быть ли тут добру? Не правда ли? Бывало, вельможа выбранит тебя хуже, нежели своего лакея, иногда и вытолкает, бросит в глаза бумагами, да зато, где гнев, тут и милость. Не правда ли? Вообразите, до какой степени ныне дошла испорченность нравов! Я рассказывал моему племяннику анекдот, что один вельможа, в мое время, представил своего секретаря к награде 200 душ крестьян. На доклад соизволения не воспоследовало, и вельможа подарил секретарю 200 душ своих соб-

ственных. Что ж бы вы думали сказал на это мой племянник? Он отвечал: что если б он был на месте секретаря, то не взял бы 200 душ от вельможи, потому что служит государю, а не вельможе и от одного государя может получать награды. Вот каковы нынешние! А этот-то секретарь — я. О, время, времечко! Не правда ли? Ныне обходятся вежливо, да что в том проку? По усам течет, а в рот не попадает. Когда я еще был в малых чинах, мне надобно было съездить в отпуск. Я подал просьбу и пришел к начальнику за милостивым ответом, когда у него было множество гостей. Знаете ли, чем он меня встретил? «Ты дурак, Антип Ермолаевич, болван», — сказал начальник. «Слушаю-с, ваше превосходительство». Он повторил: «Ты дурак, Антип Ермолаевич, осел, болван». — «Виноват, ваше превосходительство», — отвечал я, поклонившись. «Ты просил отпуска на два месяца?» — «Точно так, ваше превосходительство». — «Как же ты не просил жалованья за два месяца? — примолвил начальник. — Дурак, брат! На вот те отпуск, а вот те предписание к казначею, чтоб отпустил тебе жалованье». Я поцеловал ручку

доброго начальника и вышел с поклоном, благословляя его добродетель. А ныне пришел с bonjour и вышел с bonjour. Не правда ли? Что же бы вы думали говорит мой племянник об этом? Он говорит: лучше ничего не давай да обходись по-человечески, а не как с лошадью. Вот какие времена! Не правда ли?

— Как нам нельзя воротить золотого века, — сказал я, — то надобно подчиниться обстоятельствам, и я прошу, ваше превосходительство, взять меня под свое покровительство.

— Посмотрим, посмотрим. Бывшие у меня писцами занимают ныне важные должности. Чему тут быть доброму? Однако ж посмотрим. Я увижусь, переговорю. Но ведь ныне завелся какой-то *штиль*. Требуют, чтоб канцелярские бумаги были писаны складно, как песенки, а притом и кратко, и ясно, и отчетисто. Не правда ли? Это вовсе не возможно. Не правда ли? Да как ныне и образоваться человеку на коротеньких записочках? То ли дело, бывало, как накинут на тебя дело в три тысячи листов об украденной курице и разбитом окне, так изволь-ка ломать голову да выво-

дить заключения? Поневоле приучишься к делам. Не правда ли?..

В это время лакей доложил, что частный пристав просит позволения войти.

— Проси! Я, как неспособный, ныне без места, — сказал Антип Ермолаевич с лукавою усмешкою. — Я неспособный! Понимаете ли? А нет дела, в котором бы умные люди со мною не советовались. Вот полиция приказала выкрасить забор моему соседу. Так все ко мне на совет, какою краской? Антип Ермолаевич неспособный человек! Не правда ли?

Мы откланялись и вышли, получив позволение быть *каждый* день на обеде и на вечере.

— Пустой старичишка! — сказал я Миловидину в карете. — Он похож на остановившиеся часы с репетицией, которые бьют всегда тот час, на котором стрелка остановилась.

— Сохрани тебя Бог говорить пред кем бы то ни было в Москве, что Антип Ермолаевич пустой человек! Тебя почтут раскольником, вольнодумцем. Молчи и слушай. Эти старики могут тебе наделать много доброго и много худого.

— Уволь! На нынешний день будет довольно.

— Нет, еще один визит; но этот будет приятен. Я повезу тебя к моей милой кузине, в которую целая Москва влюблена, и она, право, стоит этого.

— Ах, mon cher Александр!

— Ах, ma cousine Annette!

Пошли обнимания и целования, и Миловидин, сев на софе с хозяйкою, стал шептаться, перешептываться и забыл обо мне. Наконец кузина опомнилась:

— Ах, pardon!

— Милая Анета, — сказал Миловидин. — Я рекомендую особенной твоей милости и покровительству друга моего, благодетеля, спасителя и все, что угодно, Ивана Ивановича Выжигина, который, кроме того, что хорош собою, как ты видишь, умен и добр, как ты и я, имеет полторы тысячи душ.

— Charmee…

— Полно, милая, пожалуйста без церемоний, — возгласил Миловидин. — Помни, что это другой я. Послушай, дело в том, что я хочу друга моего поместить в службу и ввести в

лучшее московское общество. У тебя большая партия, кузинушка. Пожалуйста, покричи с недельку за моего друга. Ты можешь смело уверять всех, что он точно таков, как я, а ты некогда была уверена, что я мил до крайности.

— Ты все такой же ветреник, как был прежде, — сказала кузина.

— Где же муж твой? — спросил Миловидин.

— Он все в разъездах по своим откупам и заводам: теперь в Петербурге. Я должна здесь обрабатывать его дела — и признаюсь, мне это несносно.

— Мы с другом моим постараемся утешать прекрасную Ариадну! — сказал Миловидин, поцеловав руку кузины Аисты. — Но не надейся, чтоб я поместил тебя, кузинушка, в созвездие небесное: нет, ты слишком хороша для земли.

— Jougours Volage et aimable (всегда ветрен и любезен), — сказала кузина.

— Между тем, прощай, милая, — сказал Миловидин. — Мы так измучены двумя тяжелыми визитами у ваших московских коново-

дов общества, что спешим домой. До свиданья!

Кузина пригласила нас также *каждый* день обедать и *каждый* день на вечер.

Глава XXIV
Картина большого света. Встреча с милым врагом О, слабость человеческая!

Что б вы сказали, читатели мои, если б вам указали на четырех мужчин и четырех женщин, которые бы съезжались всякий день затем только, чтоб вместе утолять голод и жажду, разговаривать о домашних мышах и о дыме, выходящем из труб, играть в бирюльки и потом от скуки прыгать на одной ноге, кивать пальцем и делать друг другу за спиною гримасы? Вы бы сказали, что это сумасшедшие. Не судите так строго: обратите внимание на то, чем занимаются всю жизнь люди в так называемых обществах большого света. Послушайте, о чем они говорят; взгляните, что они делают! Приведите все их слова и дела в один итог, и вы удостоверитесь, что этот итог будет равен тому, который извлечется из занятий четырех пар, поставленных мною для примера, которых вы чуть-чуть не назвали сумасшедшими!

Первая обязанность света *визиты*; а что значат визиты? Скажите: не странно ли ездить, бегать, торопиться, чтоб показать себя на одну минуту в одном месте, не сказать ничего или сказать пошлую глупость; после того раскланяться и бежать в другое место, в третье, в четвертое и так далее. Время потеряно, в голову ничего не прибыло, в сердце пустота, в теле усталость, из кармана улетело несколько рублей, которыми можно было бы накормить бедное семейство. Между тем визиты важное занятие, и светский человек не знает другой обязанности, другого дела утром, как, посвятив несколько часов своим ногтям, зубам и волосам (и подписке векселей), скакать из одного конца города в другой с визитами! Другое важное дело — обед. Конечно, это дело важное в буквальном смысле, потому, что без пищи нельзя жить, а следовательно, и думать. Но в большом свете люди только и думают о том, как и где поесть. Великое счастье попасть за тот стол, где индейки, куры и рябчики будут пожираемы людьми важными, то есть людьми, которые не только сами могут иметь за своим столом много ин-

деек, кур и рябчиков, но даже в состоянии доставить другому человеку такое блаженство, что он также может иметь много индеек, кур и рябчиков. Рассуждайте, как угодно, а это сущая правда. Чего люди ищут? Мест, чинов, милостей. К чему же ведет все это? К тому, что со всем этим человек будет более значить, то есть лучше жить. А что значит лучше жить? Иметь более комнат и быть в состоянии кормить других. Вот и выходит на мое, что люди бьются из того только, чтоб иметь более индеек, кур и рябчиков, с принадлежностями. Вы станете говорить о Камиллах, Цинцинатах, Фабрициях. Древняя история, древние сказки! Теперь этих господ почли бы сумасшедшими. Другие времена — другие нравы, и если б теперь какой-нибудь главнокомандующий, подобно Цинцинату, взялся за плуг или, подобно Велисарию, пошел по миру, то земская полиция взяла бы обоих под стражу (и поделом) за нарушение общественного порядка и за бродяжничество. Наш век — век обедов, хотя ничего нет забавнее, как то, что люди из вещи, самой простой и грубой, общей нам со всеми животными, то

есть из потребности *есть*, сделали какое-то торжественное представление и собираются в параде, при звуке музыки, при блеске серебра и золота — набивать себе желудок! Призвать кого участвовать в этой великолепной операции — значит оказать ему *честь*. Уж воля ваша, а волки в этом случае гораздо умнее нас. Они собираются, когда идет дело о добыче или о продолжении благородного волчьего племени, а едят вместе тогда только, когда вместе достали добычу. Мне кажется, что было бы гораздо лучше, если б вошло в обычай созывать гостей не *есть* вместе, а *спать* вместе. Сон есть также в числе первых потребностей человека, как и еда: следовательно, обижаться нечем. Сон даже благороднее, ибо говорят, что человек может пробыть девять суток без еды, а более трех суток не в силах пробыть без сна. Выгоды же от этого обычая, если б он ввелся, были бы неисчислимы. Во-первых, это угощение было бы дешевле; во-вторых, во сне говорили бы менее глупостей, нежели наяву, особенно за обедом, при вине; в-третьих, человек не утомлялся бы столько и не портил здоровья на *званом сне*, как на *зва-*

ном обеде; наконец, мы не видали бы низости хозяина, который истрачивается или разоряет бедных торговцев для того только, чтоб оказать честь нужному человеку — услаждением его поднебенья и расстройством его желудка. После обеда опять важное дело — *карты*. Вообразите себе, что существа, созданные по образу и не подобию Божию, садятся за столики, покрытые зеленым сукном, берут в руки лоскутки лощеной бумаги, расписанные уродливыми фигурами, вопреки всем правилам живописи, и забавляются тем, кто насчитывает более очков или кто угадает, какой лоскут упадет на какую сторону. Угадчикам, или счастливцам, или просто плутам, которые умеют пользоваться этою забавою, платят деньги, которые или взяты с крестьянина, добывающего копейку в поте лица своего, или добыты продажею совести, или получены в наследие и приданое, или принадлежат заимодавцам. Наконец наступает вечер: опять важное дело! Надобно *прыгать* в такт под музыку. Правда, и овцы прыгают, но тогда только, когда довольны. А люди в свете прыгают, как обезьяны на канате, иногда со

слезами на глазах. Это обязанность, долг! Хозяин хочет, чтоб завтра говорили, что у него был бал. И так гости, которым подагра не подкосила ног, излишний аппетит не раздул тела, и старость не отягчила членов, должны прыгать, должны прыжками платить за честь приглашения и приобретать прыжками право быть званными в другие дома. Наконец, важное дело — *ужин*: второй том обеда и необходимость спать несколько часов, чтоб проснуться с тяжелою головой, белым языком и усталостью во всех членах. На другой день опять то же, на третий, четвертый то же, и так проходит молодость, жизнь: дряхлое тело разрушается, душа отлетает, не оставив на земле никакого следу своего существования; имя остается некоторое время в маклерских книгах и в счетах мастеровых и наконец погибает в пучине забвения, а между тем тысячи других подобных созданий стремятся тем же путем ничтожества и так же исчезают с лица земли, как устрицы. Спрашиваю: не полезнее ли жизнь барана из рода мериносов, который во время своего существования на земле одел и обогатил своею шерстью многих

людей и никого не обговаривал, ни на кого не клеветал, не интриговал, чтоб занять место, к которому он не способен; не лишал легковерных чести и имущества и не гордился пред баранами простой породы тем, что он родился мериносом?

В большом свете вы найдете не только взрослых людей, но даже детей, которые говорят на многих языках. Вся разница в том, что одни говорят складнее, нежели другие. Но о чем говорят? Мне, право, стыдно повторять. В кругу семейном, между особами обоего пола, связанными взаимными выгодами (что называется дружбою), в сердечных излияниях, любимое занятие есть злословие, процветающее в свете под именем откровенности и остроумных наблюдений. Подслушайте разговоры малых кружков; вот их эссенция: такая-то не умеет одеваться; та кокетка, иная злая, вот эта дура, та мотовка, другая пронырлива, тот несносен, другой смешон, неловок, тот просто глуп, этот занят собою, тот в милости не по заслугам, а этот в немилости поделом. Там было скучно, а там очень весело, невзирая, что хозяева несносны. Завтра должно надеяться,

что будет весело там-то, а очень скучно вот там. Но зато там будут важные особы! В больших собраниях о чем говорят? Сегодня холоднее вчерашнего. Тот получил место, этот орден; тот лишился места, тот приехал, а тот отъезжает. В модных магазинах показались новые вещи; такая-то швея хорошо одевает, а такой-то парикмахер прекрасно причесывает. Важная дама нездорова; девица такая-то выходит замуж; такая-то пожалована во фрейлины, у такой-то родился сын, а у той умерла дочь, и прочее, и прочее, и прочее, сему подобное!

Боже мой, на то ли дан человеку дар слова, на то ли он отличен от всех тварей душою бессмертною, умом созерцательным и творческим, чтоб оглашать воздух пустыми звуками, подобно воронам и сорокам? Мысль и чувство улетают из общества большого света, как улетают соловей и жаворонок из бесплодной песчаной степи. Тяжелый ворон несется к бездушному трупу: это его пища. Соловей прячется в кустах, жаворонок носится под небесами!

Целый век, от детства до старости, быть ра-

бом так называемых светских приличий, машиною для поклонов и движения челюстями; говорить и ничего не думать, думать и ничего не говорить, слушать глупости и отвечать дурачествами, быть в беспрестанном движении и не выходить из круга бессмыслицы: и это называется жить! Ах, добрый мой Арсалан-султан, ты прав, совершенно прав! Да здравствует киргизская степь! Там, по крайней мере, есть какая-нибудь цель — здесь вовсе никакой.

Вот что я написал в своей записной книжке, по прошествии двух лет от вступления моего в свет. Если б я хотел описывать эти два года, то мог бы написать пятьдесят томов глупостей, столь похожих одна на другую в разных видах, как две щеголихи: парижская и русская. Но и без меня написано уже много глупостей, и я не хочу томить себя над сочинением *истории единообразия*. В два года, вместо того чтоб сделаться умнее, я чуть не лишился последнего умишка, от неупотребления его. Следуя буквально наставлениям Маловидина, я достал себе место покровительствами, получил три чина, хотя до сих пор не

знаю, где находилась та канцелярия, к которой я был причислен, и как она называлась: помню только, что говорено было что-то о строениях. В эти два года я успел сделаться поверенным старух, любимцем стариков, нажил много приятелей между молодыми людьми, а между молодыми дамами имел много приятельниц, которые находили меня любезным, милым, добрым и услужливым, Но душа моя создана для деятельности, для сильных ощущений, а светская жизнь есть не поприще для деятельности, а только беспокойный сон.

Матушка моя продолжала вести свою богомольную жизнь. Миловидин, получив от какого-то совестного человека десять тысяч рублей, выигранных им на вексель, когда он жил еще с женою в Москве, пустился на поиски за своею любезною Петронеллою, проведав, что она живет скрытно где-то в Польше. Я остался один в Москве и очень соскучился. Сердце мое чего-то жаждало; я искал наслаждений и не находил. Многие женщины мне улыбались; многие девицы выбирали меня в котильоне и в играх (petit jeux), задевали мое ма-

ленькое самолюбие знаками предпочтения. Но я не хотел ни быть рабом женских скоропреходящих прихотей, ни обманывать женитьбою. Красавец Выжигин мог нравиться женщинам, и не будучи дворянином и без полуторы тысячи душ, но при женитьбе с девицею хорошей фамилии надлежало бы объясниться обстоятельнее. Я был столько благоразумен, что не помышлял ни о любви, ни о браке. Но это благоразумие было следствием сердечной холодности, а не соображений. Чтоб взорвать в сердце моем мину страстей, недоставало только искры. Чрез ледяную оболочку большого света ничто не проходит, кроме холодных паров расчета. Некоторые, по простоте своей, почитают пламенем отражение лучей на этой ледяной глыбе. Обман! обман! Там нет теплоты, а один только блеск.

Находясь в беспрерывном рассеянии в большом свете, я искал еще рассеяния! Но у нас, для светского человека, нет средины между скукою и развратом. Науки, искусства, художества только распускаются, а много, когда цветут в большом свете и никогда не приносят плодов зрелых, могущих питать душу,

дремлющую в бездействии. Кроме того, искусства, науки и художества в Москве составляют занятие особого класса и в общества большого света доходят только по слуху. Одно общественное наслаждение — театр. Я был пламенным любителем театра, ибо, не имея времени сам читать наедине, я рад был случаю, что актеры читали передо мною публично. Я угождал в одно время и вкусу своему, и обязанностям общества.

Однажды объявили в газетах, что новоприбывшая в Москву актриса из провинциальной труппы будет дебютировать на московском театре в роли кокетки. Кузина Миловидина, моя искренняя приятельница, просила меня взять ложу.

— Мне так скучно смотреть в свете на наших смиренниц, — сказала она, — что хочется посмотреть на кокетку.

Я хотел было сказать, что ей только стоит взглянуть в зеркало, но удержался и пошел в контору взять билет. Мы поехали вместе в театр. Поднимается занавес: нет новой актрисы, и мы с кузиною Анетой изощряем наше остроумие в насмешках над несчастными арти-

стами, которые, как говорится, лезли из кожи, чтоб нам нравиться. Я был в самом веселом расположении духа. Вдруг появляется новая актриса; партер хлопает для ободрения ее; она приседает, кланяется, подходит к оркестру, начинает говорить, но я ничего не вижу и не слышу.

— Что с вами сделалось? — говорит кузина Анета, которая хотела мне сказать какое-то замечание насчет одежды новой актрисы. — Ради Бога, что с вами сделалось! Вы бледны, вы трепещете, вам дурно!..

— Дурно, очень дурно! — сказал я вполголоса и выбежал из ложи. В новой актрисе я узнал — Груню!

Был ли я влюблен в Груню — не знаю. Я был очень молод, когда подружился с нею, и душа моя тогда не была способна к сильным ощущениям. Страсти могли только тлеть, но не пылать в моем сердце. Красота Груни сделала тогда сильное впечатление в моем воображении, а не в сердце. Прежде и после моей несчастной поездки в Оренбург я находил много женщин прекраснее Груни; но как скоро я пришел в тот возраст, когда страсти на-

чинают действовать, то, невзирая на измену Груни, на зло, причиненное мне ее коварством, я уверился, что трудно найти женщину *милее* Груни. Взгляд ее и звук ее голоса производили во мне всегда такое действие, которого я никак не могу растолковать. Кажется, если б мне завязали глаза, то между миллионом голосов я узнал бы ее голос. Он прямо доходил мне до сердца, а взгляды ее имели какую-то очаровательную силу приковывать к себе мои взоры. Со времени последнего нашего свидания я старался вовсе не думать о Груне, но невольно воспоминал о ней тогда, когда любовь расставляла мне свои сети в большом свете. Там много было прекрасных, но ни одна мне не нравилась. Ах, зачем Груня не так хороша душою, как наружностью, думал я часто, и опять старался не думать об ней. И наконец, вот она опять перед моими глазами!

Отдохнув в буфете, я вышел на улицу и бродил в раздумье около театра. Я никак не мог истолковать себе, отчего мне сделалось дурно при виде Груни. Я приписывал это страху, ужасному воспоминанию той опасно-

сти, которой я подвергался в Оренбурге, по причине измены Груни, ввергшей меня в болезнь. Но это был не страх и не ужас! Груня представлялась моему воображению не в ужасном виде, но во всем блеске очаровательной своей красоты. Как она хороша, думал я, как пополнела, как выросла! Но я никогда ее не увижу, не должен видеть. Рассуждая таким образом, я уже был в коридоре театра и невольно вошел в ложу. Я могу видеть ее в публике, думал я, чтоб извинить свою слабость. Неужели для этой легкомысленной девочки я должен отказаться от театра?

— Лучше ли вам? — спросила кузина Анета...

— Немного лучше.

— Ах, как мило играет новая актриса, — примолвила кузина. — Какая ловкость, какой благородный тон! как она постигает роль! Кроме того, она очень приятно поет и весьма недурна собою. По правде сказать, это счастливое приобретение для нашего театра, и эта миловидная г-жа Приманкина вскружит голову всей московской молодежи.

Я молчал и взглянул на афишу, чтоб про-

честь имя, принятое Грунею. Пропустив два акта, я увидел Груню в третьем. Она играла превосходно и превзошла все ожидания любителей драматургии. Рукоплесканиям не было конца. По окончании пьесы ее вызвали на сцену. В продолжение игры Груниной я был весь как в огне. Я следовал душою за каждым ее словом, за каждым ее движением; страшился за нее, трепетал и чуть не плакал от радости, когда громкие рукоплескания раздавались в зале. Мне кажется, что я бы умер на месте, если б Груня не имела полного успеха!

Проводив мою даму до кареты, я отказался от удовольствия сопутствовать ей домой и остаться у нее на вечере. Машинально пошел я к подъезду актеров. Я намеревался, закутавшись в плащ, взглянуть на Груню вблизи. Выходит Груня, но я позабыл закрыться.

— Выжигин! — воскликнула она.

— Груня! — сказал я — и не мог ничего более промолвить.

Она посмотрела на меня пристально, потом смело взяла за руку и потащила с собою. Подали ее карету; она села и велела мне сесть возле себя. Я повиновался. Карета покатилась

по мостовой, и я все молчал, не смея поднять глаз и страшась объяснений, могущих оскорбить Груню. Она сама вывела меня из этого неприятного положения.

— Ваня, милый друг мой Ваня! ты имеешь право на меня сердиться. Я виновата, но не столько, как ты думаешь. Я была слишком молода, неопытна, не имела собственной воли, должна была повиноваться матери. Ты все узнаешь, и сердце говорит мне, что ты простишь меня, что ты будешь любить меня по-прежнему, любить так, как я люблю тебя. Скажи, Ваня, каково я играла сегодня?

Я поцеловал руку Груни, вздохнул тяжело и сказал:

— Ты играла прекрасно, бесподобно; но я не удивляюсь этому. Природа создала тебя актрисою. Игрою своей ты увлекла меня на край гибели и теперь хочешь лишить счастья, спокойствия. Груня, ты слишком прелестна, я боюсь тебя! Позволь мне выйти из кареты и прости навеки!

Последние слова я выговорил таким жалким образом, что даже Груня тронулась. Я почти задыхался от усилия удержать слезы: мне

было горько.

— Ты боишься меня, Ваня; ты хочешь бежать от меня и находишь меня прелестною? Ваня, ты наводишь на меня грусть и вместе с тем доставляешь величайшее блаженство. Верь мне, друг мой, что я истинно люблю тебя и никогда любить не переставала. Во все время нашей разлуки ты не выходил у меня из сердца и из памяти. Если я была виновата пред тобою, то загладила вину мою чистосердечным раскаянием и страданиями. Ваня! люби меня — или я умру с отчаянья. — При сих словах Груня заплакала.

Я был в восторге и не помню, что я наскázал ей: мне было так хорошо, я был так счастлив! Когда карета остановилась у крыльца, мы были в большей дружбе, нежели пред поездкою в Оренбург. Весело взбежали мы на лестницу, держась за руки, и, вошедши в комнату, обнялись, как старые друзья, которые никогда не ссорились. Стол был накрыт. Груня велела поставить другой прибор, подать лучшего вина и, взяв меня за руку, повела со свечою по всем своим комнатам.

— Посмотри, друг мой, мое маленькое хо-

зяйство, — сказала Груня. — Ведь ты должен быть здесь хозяином. Вот моя гостиная. Она не велика, но я не намерена принимать много гостей. Это моя уборная. Вот столовая; здесь кабинет, или учебная комната. Вот здесь спальня. Не правда ли, что спальня убрана со вкусом?

— Все твои комнаты, милая Груня, убраны со вкусом, весьма пристойно, хотя без великолепия: по этому я должен судить, что ты получаешь порядочное жалованье.

— Какие у нас жалованья, друг мой! — отвечала Груня. — Вся надежда моя на бенефис. Я привезла с собой тысячи две рублей и уже все почти истратила на необходимые вещи, да сверх того не доплатила трех тысяч рублей за мебели. Бог милостив, как-нибудь да разделаемся, а между тем согласись, милый друг, что молодой женщине, актрисе, с моим маленьким дарованием и довольно приятною наружностию, нельзя же жить, как какой-нибудь плясунье на канате? Но пора ужинать.

Поужинав с Грунею, я остался далеко за полночь и все еще не имел времени расспросить, что довело ее до актерства. Она десять

раз начинала рассказывать, и десять раз я перебивал ее, чтоб говорить о любви! На первый случай я узнал только, что она лишилась матери и состояния. На другой день она пригласила меня к себе обедать и обещала рассказать свою историю. Надлежало расстаться. Я поехал домой влюбленный до сумасшествия, беспрестанно повторяя:

— Груня, милая Груня, она любит меня; нет сомнения, что она не виновна в измене.

Утром я раздумал, что Груня должна находиться в неприятных обстоятельствах, не имея денег и будучи в долгу. Я послал ей с Петровым пять тысяч рублей.

Невзирая на то что я жил порядочно, имел экипаж, одевался всегда по последней моде, потчевал приятелей, делал небольшие подарки дамам в именины и покупал всем балованным детям конфеты и игрушки, чтоб понравиться маленьким; брал на наличные деньги билеты на лотереи (которые никогда не разыгрывались) и платил старухам карточные долги, не получая с них ни копейки; невзирая на все эти расходы, я не тронул моего капитала. Многим покажется это удиви-

тельным, особенно когда я скажу им при этом случае, что я не употреблял никаких необыкновенных средств к приобретению денег. Но если кому счастье станет служить, то деньги сами катятся в карман со всех сторон; а если, напротив того, оно начнет изменять, тогда ни сундуки, ни запоры не удержат копейки, и деньги сами откатываются и пролезают сквозь пальцы. Я играл честно в коммерческие игры, но играл искусно, хладнокровно, внимательно; садился играть на большие деньги и почти всегда выигрывал. Не имея никакого понятия об игорном плутовстве, я одним счастьем разрушал все заговоры, составляемые против меня игроками. Когда играли в банк, я внезапно ставил несколько карт в средине талии: выигрывал, брал деньги и уезжал домой. Проиграв, я не продолжал игры и никогда не отыгрывался. Я поступал таким образом по совету Миловидина, который умел прекрасно советовать, но весьма дурно сам исполнял свои мудрые правила, потому что он советовал хладнокровно, а действовал всегда с пылкостью, увлекаясь страстями. Не будучи привязан ни к игре, ни к

деньгам, я играл, как говорится, расчетисто, и как счастье мне благоприятствовало, то я, не будучи игроком, жил игрою. В два года я выиграл около двадцати пяти тысяч рублей наличными деньгами, а в долгу у меня было по крайней мере столько же. Но как я послал Груне все мои наличные деньги, оставив себе только несколько сот рублей на мелкие расходы, то теперь надлежало приняться за капитал на случай каких непредвидимых издержек. Правда, мне очень не хотелось этого, но когда я посылал деньги Груне, то думал о Груне, а не о деньгах. Она подарила сто рублей Петрову, который был в восхищении от *доброй красавицы*, так он назвал Груню с первого знакомства. Меня поблагодарила она таким нежным письмом, что я, читая его, готов был в ту минуту отдать ей последнюю мою копейку. Если кто мне скажет, что он, будучи влюблен, помышлял о деньгах, то я в ответ скажу, что он не любил, а рассчитывался. Любовь есть болезнь: лихорадочное состояние тела, производящее помрачение в уме. В любви человек не рассуждает. Иначе, как бы мог умный человек убивать на поединке другого

человека за то, что он более нравится красавице? Как бы мог он лишать себя, а иногда и целое свое семейство пропитания, чтоб угождать прихотям возлюбленной? Как бы мог жертвовать своим спокойствием, свободою, временем для любимого предмета? Как бы мог пренебрегать обязанностями службы, долгом к отечеству, к согражданам, из любви к женщине? Пусть говорят, что хотят; но любовь, пламенная, страстная, есть точно болезнь — и даже опасная, часто низводящая несчастного в могилу, а гораздо чаще к потере имения и доброй славы. Одно спасение в этом недуге: благоразумие, нежность чувствований и благородный образ мыслей любовницы или любовника. Но влюбленный человек слеп и глух. Он любит даже недостатки в любимом предмете и находит в них особую прелесть. Часто, весьма часто случается, что влюбленные низвергаются в пропасть, будучи вовсе безвинны, увлекаясь только характером, нимало не помышляя вредить друг другу, напротив того, взаимно себя обожая. Один или одна делает глупости, другой или другая не видит того и гибнет точно так, как

во время чумы и медик гибнет от больного и здоровый от медика. Повторяю: любовь в душе, пылкой, страстной есть болезнь. Но обратимся к происшествиям.

Глава XXV
История Груни. Дружба с умною актрисою, или Самый легкий, самый верный и самый приятный способ к разорению

Я не преминул явиться к обеду. Груня приняла меня с распростертыми объятиями, смеялась, плакала и повторяла тысячу раз, что нет счастливее ее в мире, после того как она удостоверилась в моей любви. За столом я рассказал ей в кратких словах мои приключения в киргизской степи. После обеда мы уселись на диван, и Груня начала свое повествование:

— Отец мой, как тебе известно, оставил после смерти своей порядочное состояние; но матушка, управляя имением во время моего детства, расстроила его и наделала долгов. Ты видел жизнь нашу. У нас в доме собирались все любители и все профессоры карточной иг-

ры. Все, что только, матушка выигрывала *на верную* в доле с игроками, она; проигрывала им же *на счастье*, с прибавкою из своих собственных денег. К довершению несчастия, она влюбилась в одного молодого вертопраха, который обещал на ней жениться, взял взаймы большую сумму денег и женился — на другой. Положение наше, пред отъездом в Оренбург, было самое отчаянное: дом был заложен, капитала ни гроша и долгов вдвое более, нежели всего имения. В это время умер мой дядя, и мы поспешили в Оренбург за наследством, надеясь поправиться в делах.

Едва только я вышла из пансиона, где научилась нашей пансионной премудрости, то есть держаться прямо и болтать по-французски, матушка моя взялась довершить начатое воспитание и стала учить меня кокетству, чтоб красотою моею и любезностью привлекать в дом богатых юношей. Ты видал часто и сам, как я выбирала карты из колоды для горячего понтера и советовала ему ставить большие куши на мое счастье. Я всегда избирала для этого игроков, которые были неравнодушны к моей красоте и охотно мне пови-

новались. Разумеется, что выбранная мною карта всегда проигрывала, потому что мне шептали игроки, какую карту и когда я должна ставить. Мне противна была эта роль, но я должна была повиноваться, а сверх того, принуждена делать глазки, приятно улыбаться и слушать пошлые вежливости влюбленных в меня игроков, которых я должна была питать надеждою взаимности. Клянусь честью, что я кокетничала с величайшим отвращением, пока не узнала тебя.

Мне велено было привязать тебя к дому. Это было самое приятное для меня поручение со времени выхода моего из пансиона. Я не имела нужды притворяться, потому что истинно тебя полюбила. Вспомни, что я не только не завлекала тебя в игру, но даже всегда отвращала от ней. Матушка часто бранила меня за это; но я решительно объявила ей, что, под условием не вовлекать тебя в игру, я соглашаюсь обманывать других, по ее воле. Она оставила меня на этот счет в покое.

В Оренбурге постигло нас новое несчастье. Лишь только суд намеревался отдать нам оставшееся после дяди имение, явились на-

следницы: полдюжины воспитанниц с духовным завещанием, написанным законным образом, при свидетелях. Имение было нажитое, то есть приобретенное самим дядею, а потому и спорить было бы бесполезно, тем более что воспитанницы были красавицы и имели сильное покровительство. Делать было нечего, и матушка снова открыла игорный дом: выписала из Москвы нескольких искусных игроков, и меня снова заставила играть роль Сирены и приманивать пловцов на очарованные утесы Сциллы и Харибды!

Дела шли весьма плохо до зимы. Мы жили почти в долг. Особенно сначала мы нуждались в деньгах. В это время приехал в Оренбург, по делам службы, адъютант одного генерала из Петербурга, ротмистр граф Ловков, молодой человек приятной наружности, сын богатых родителей, веселый нравом и чрезвычайно любезный. Он увидел меня на прогулке, влюбился, познакомился в доме и стал посещать нас ежедневно. Матушка, под угрозою проклятия, велела мне употребить все средства прельщения, чтоб привязать к себе графа Ловкова. Эта любовная игра гораздо

опаснее карточной, и весьма часто случается, что в ней теряет сторона, расставляющая сети на уловление своего противника. Граф Ловков проигрывал деньги в нашем доме, но он пользовался за это своим правом надо мною и нечувствительно поймал меня в те самые силки, которые я для него приготовила. Слушая терпеливо его изъяснения в любви, я так к ним привыкла, что мне скучно было, когда я их не слыхала, и, наконец, чтоб продолжать эту приятную забаву, и удержать графа в моей зависимости, я сама призналась ему, что он мне мил. Граф был человек светский и опытный не по летам в подобных делах. Вскоре между нами водворилась тесная дружба, фамилиярность, которой ты был свидетелем...

Ты все еще жил у меня в сердце, но, признаюсь, почтительная, робкая любовь твоя ко мне казалась мне детскою игрушкой, в сравнении с пламенною, открытою счастью графа. Когда он узнал от Вороватина, что ты приехал в Оренбург из любви ко мне, то поклялся лишить тебя жизни, и чтоб спасти тебя от опасности, я вздумала отречься от тебя и да-

же клеветать..... Конечно, лекарство было не слишком привлекательно; но я думала тогда, что делала хорошо. Внезапное твое появление привело меня в такое смущение, что я была вне себя... не знаю, что я говорила. Твое намерение унизить меня в глазах графа привело меня в гнев... Любезный Ваня, прости меня!

Груня заплакала, и я объявил торжественно и утвердил клятвою, что прощаю ее и не сохраню в сердце ни малейшей искры негодования за все прошедшее.

— Будь искренна, Груня, — сказал я. — Все забыто, все прощено; я люблю тебя более, нежели прежде!

— Я хотела узнать, что с тобою сделалось, — сказала; Груня. — Меня уведомили, что ты заболел, что Вороватин, на другой же день, нанял другую квартиру, что какой-то незнакомец приехал за тобою в телеге, чтоб перевезти в новое жилище, но что хозяин новой квартиры тебя не видал. Вороватин чрез несколько дней уехал из Оренбурга, не простясь с нами, и я не знала, что сталось с тобою. Тайный голос упрекал меня в твоем

несчастии. Ужасные сновидения, часто тревожили меня: я видела тебя умирающим, видела тень твою, угрожающую мне мщением. Я думала, что ты умер, плакала, молилась; наконец, мало-помалу успокоилась, и если не вовсе забыла, то по крайней мере реже стала думать; о тебе.

Любезный друг! избавь меня от рассказывания подробностей моих приключений, смешанных с проступками, которые я чувствую в полной мере и в которых от вей души раскаиваюсь. Граф, представив мне искусным образом несчастное положение мое в игорном доме и обещая жениться на мне после смерти старого и больного своего отца, уговорил меня тайно уехать с ним в Киев, где стоял полк, в который он поступил, оставив звание адъютанта. Не долго была я в заблуждении. Граф был любезен, нежен и вежлив, как все обольстители до исполнения своего умысла, а после того сделался груб, капризен, холоден, чтоб отвязаться от легковерной. Не проходило ни одного дня без ссоры, взаимных упреков, слез. Презрение, которым я была окружена, терзало меня, и легкомыслие графа, искав-

шего рассеяния в других связях, приводило меня в отчаяние. Наконец он объявил мне, что отец его скончался и что он должен немедленно ехать в Петербург. Я припомнила ему обещание. Он молчал. Я просила его, чтоб он взял меня с собою: он отговорился невозможностью. Наконец он уехал, и чрез месяц я узнала, что отец его жив и что мой обольститель женился на богатой девице знатной фамилии!

Ты можешь вообразить себе мое отчаяние. Я намеревалась возвратиться к матери, которая переехала снова в Москву: но в ответ на мое письмо получила известие, что матушка моя скончалась. Я осталась сиротою в свете, без покровителя, без денег, без доброго имени!

Граф поручил одному из своих друзей разделаться со мною и предложил мне пенсию, с тем чтобы я оставила его в покое. Я презрела его предложение и написала к жене его письмо, в котором изобразила всю гнусность поступка графова. Долго я колебалась, жить ли мне или броситься в воду. Молодость превозмогла отчаяние, я успокоилась, но, не зная,

каким образом снискивать пропитание, вознамерилась служить. В это время чрез Киев проезжала труппа странствующих актеров, составленная из недоучившихся школьников, исключенных семинаристов и полуграмотных актрис домашних театров, отпущенных на волю или проживающих по паспортам. Мне вдруг пришла в голову мысль сделаться актрисою. Хозяин этой орды, отставной суфлер, испытав мои способности к театру, так был доволен мною, что тотчас дал мне в своей труппе место: первой певицы, первой трагической и комической актрисы и первой танцорки. Я не хотела играть на театре в Киеве, где меня знали офицеры. Мы отправились на малороссийские ярмарки, где я снискала себе славу и привлекла зрителей на наши представления. Я одна поддерживала труппу и за то уважаема была всеми более, нежели сам хозяин. Даже женщины любили меня, потому что я не мешала им ни в чем, вела себя скромно, не хотела иметь обожателей и даже слыла жестокосердою. Мне не было покою от влюбленных; некоторые из мелкопоместных дворян даже предлагали мне свою руку; но я

полюбила свободную жизнь и не хотела заживо погребстись в каком-нибудь хуторе. Рукоплескания сделались моею потребностью: я мечтала о славе!

Безденежье преследовало нас повсюду, как совесть преступника. Приехав в город, мы обыкновенно жили в долг, до тех пор, пока не удастся собрать денег на уплату долга и на переезд в другое место. Одевались мы на бенефисные выручки, а нанимали квартиру и имели стол на общие деньги или на счет хозяина. О разделе прибылей говорено было по приезде на каждую ярмарку, но по окончании ее оказывалось, что делиться было нечем. Однако ж мы жили хотя не богато, но весело; не заботились о будущем и наслаждались настоящим.

Однажды, на проезде чрез небольшой городишко, хозяин объявил нам, что казна наша в таком истощении, что не позволяет нам продолжать нашего странствия. Мы остановились в трактире, устроили в сарае театр, наделали люстр из обручей, вывесили свои бумажные декорации и обклеили все углы улиц писаными объявлениями. Прошло

несколько дней, и никто не являлся в театр. В это время остановился в трактире богатый господин, проезжавший из Петербурга в свои поместья. Увидев на афишке, что актеры намерены играть трагедию Сумарокова: *Димитрий Самозванец* и оперу *Мельник* и ожидают только зрителей, чтоб отличиться прекрасною игрою,— проезжий барин, для потехи, заказал для себя спектакль и за 50 рублей ассигнациями поместился в театре один, с своим пуделем. Невзирая на то, что пудель мешал нам декламировать, поднимая ужасный лай, как скоро наш Дмитрий Самозванец приходил в бешенство, невзирая на то, что свечки, прикрепленные к висячим обручам, то гасли, то падали актерам на голову, что в целом оркестре не было ни одной скрипки с полным числом струн, мы благополучно окончили наше представление, и богатый барин заметил во мне способности, которые ему угодно было назвать большим дарованием. Он подарил мне, из одного великодушия, 200 рублей на проезд в губернский город, где один любитель театра содержал труппу. Я послушалась его, оставила своих товарищей и,

прибыв в губернский город, явилась к содержателю театра. После первого дебюта мне назначили бенефис, с условием сыграть несколько раз в пользу театра. Бенефис был блистательный, ибо тогда были дворянские выборы, и я нравилась публике. С собранными деньгами и рекомендательными письмами отправилась я в Москву, определилась в актрисы здешнего театра, и ты по моему дебюту можешь судить о малых моих способностях и о тех успехах, какие ожидают меня на этом поприще.

— Любезная Груня, — сказал я. — Ты видишь одни приятности в звании актрисы, но не рассчитала неудач, которые могут тебе встретиться. Послушайся меня, оставь театр: я женюсь на тебе, мы уедем в какой-нибудь отдаленный город, и я с капиталом моим заведу торговлю или займусь хлебопашеством. Для счастливых сердец так мало надобно в жизни!

Груня задумалась, потом, положив мне руку на плечо и посмотрев на меня умильно, сказала:

— Выжигин! Аркадские твои мечты хоро-

ши в водевиле, но не в существенности. Неужели при имени славы *сердце* твое остается холодным? Неужели блистательная участь твоей Груни тебя не трогает? Ваня, любезный Ваня! если б ты знал, какую сладость доставляют сердцу и слуху рукоплескания, как приятно привлекать внимание публики, видеть имя свое напечатанным, быть превозносимою похвалами в журналах, то, любя меня, ты не отвлекал бы меня от моего звания, но был бы вдвое счастливее, наслаждаясь моею любовью и моим счастьем! Нет, Выжигин, я не могу отречься от театра в ту самую минуту, когда он доставляет мне славное имя, способ к существованию, удовольствие и примиряет с светом, из которого, так сказать, я дезертировала. Подожди, дай мне насладиться, и тогда — я твоя навеки.

Я хотел спорить, рассуждать, но Груня просила меня прекратить этот разговор.

— Слава и любовь! — воскликнула Груня. — Вот девиз хорошей актрисы. Принимай вещи в таком виде, как оне есть — или я буду несчастна!

Надлежало повиноваться, или, лучше ска-

зать, не надлежало, но хотелось повиноваться — и я замолчал. Прошел месяц; Груня сделалась предметом обожания всех любителей прекрасного пола и драматического искусства, предметом зависти для всех кокеток. Она торжествовала; я страдал и молчал. Мало-помалу в доме у меня составилось небольшое общество из покровителей драматургии, из покорных и услужливых актрис, которые льнут всегда к каждой из своих сестер, входящей в моду, чтоб поймать отставного обожателя или раздать свои бенефисные билеты, и из некоторых чиновников театральных, необходимых для успеха актрисы, как деревянные подставки для декораций. Но Груня вела себя прекрасно. С богатыми и влюбленными в нее любителями драматургии она обходилась гордо, но вежливо; принимала их только в условленные дни и часы, всех вместе, при других женщинах, и не позволяла никаких вольностей ни в словах, ни в поступках. С театральными чиновниками она умела обходиться таким образом, что они сами предупреждали ее желания. Груня слыла фениксом ума и добродетели между актрисами. В обще-

ствах большого света ни о чем более не толковали, как о русской актрисе, красавице, которая говорит прекрасно по-французски. Последнее обстоятельство сводило с ума остылых чтителей прекрасного пола, из высшего круга общества. «Русская актриса говорит по-французски? C'est charmant! c'est charmant! — повторяли старые волокиты. — Как жаль, что она добродетельна! Добродетель в актрисе — роскошь, и даже непозволительная!» Так рассуждали волокиты, а Груня смеялась и любила меня одного.

Однажды я застал Груню в печали: глаза ее были красны, бледность покрывала лицо: видно было, что она плакала. Я ужаснулся.

— Милая Груня, что с тобой сделалось: скажи, ради Бога?

— Ах, Выжигин, как я несчастна! Мне дали первую роль в новой опере, назло этой глупой и вялой девчонке Маскиной, которая гордится только тем, что расточает имение графа Жилкина и появляется на сцене в золоте и в алмазах. Она должна занять второстепенную роль в этой опере; я это сделала, невзирая на все интриги партии графской. Я даже

выслушала преглупое любовное объяснение ротозея, закулисного чиновника... Не бойся, Ваня! ты уже выпучил глаза и струсил; я только выслушала объяснение и уже позабыла его. Между тем первая роль принадлежит мне! Что же вздумала сделать эта злая Маскина? Она должна представлять соперницу мою, богатую вдову, и заказала богатейшее платье, вышитое чистым золотом по бархату, и хочет явиться вся в бриллиантах, возле меня, а я в первой роли буду в мишуре и стеклянных бусах! — Груня заплакала.

— Но этому можно пособить, — сказал я, заикаясь. — Не плачь, посоветуемся хладнокровно.

— Что помогут советы? Из сотни развратных старичишек я могу выбрать любого, который готов для меня разориться. Но я не хочу ни за миллионы иметь дело с трупами. У всякого свой характер: я ни за что не соглашусь сказать люблю тому, кому должно говорить: memento mori (*помни смерть*). Молодые же красавцы или голы, как соколы, или так заняты собою, что воображают, будто взгляды их краше и дороже бриллиантов. Какой тут

совет, Ваня? Я люблю одного тебя и лучше хочу погибнуть, сгореть от стыда, чем изменить тебе.

Я поцеловал Груне руку и сказал.

— Милая Груня! игра твоя затмит блеск наряда Маскиной.

— Могу ли я играть хорошо, когда перед глазами моими будет блестеть эта кукла, с своим чванством!

— Сколько же надобно на платье?

— Тысячи полторы.

— Полторы тысячи небольшое дело, но бриллианты...

— Бриллианты можно взять напрокат, только чтоб было что заложить за них. Мне в собственность нужны только порядочные бриллиантовые сережки и жемчуг с фермуаром, а прочее все можно было бы взять напрокат. Но оставим это: сядь ко мне, Ваня, и погорюем вместе.

— Извини, Груня, я не могу долее у тебя оставаться. Прошу об одном: не кручинься и не предпринимай ничего до обеда. Я приеду к тебе обедать, и мы посоветуемся. Авось-либо и Выжигин поможет тебе!

Я выбежал от Груни в сильном волнении. Она любит меня, думал я; она пренебрегает всеми связями из любви ко мне и жертвует даже для меня женским тщеславием — самолюбием! О, неоцененная Груня! я должен вознаградить тебя за эту бескорыстную любовь, возвратить тебе часть наслаждения, доставленного мне твоею любовью. С сими мыслями я полетел домой, взял билеты Сохранной казны, поехал с ними в Опекунский совет, взял десять тысяч рублей и прямо поскакал к ювелиру. Я выбрал прекрасные сережки и жемчуг с фермуаром за 6000 рублей, взял напрокат диадему, ожерелье и браслеты, ценою в 25 000 рублей, под залог моих билетов, и возвратился к Груне, когда она собиралась садиться за стол, полагая, что я уже не буду. Она приняла меня нежно, но с печальным лицом.

— Ты знаешь, Груня, что я боюсь снов?

— Что же из этого?

— Мне снилось, будто у тебя во время обеда сделается что-то неожиданное. Потешь меня, милая, и сходи сама в кухню посмотреть, все ли исправно. Ты знаешь, что недавно в одном доме, вместо того чтоб посыпать пирож-

ное сахаром, кухарка, по неосторожности, посыпала мышьяком, который хранился в шкафе, для истребления крыс!

— Боже мой, какие у тебя мысли! — сказала Груня и вышла из комнаты, а я между тем разложил на маленьком столике привезенные мною галантерейные вещи и, кроме того, две тысячи рублей на платье. Лишь только Груня подошла к дверям, я взял ее за руку и, подведя к столику, сказал: — Не печалься: желание твое исполнено!

Груня посмотрела на вещи, потом бросила на меня такой взгляд, что я чуть не растаял; кинулась в мои объятия, вскрикнула и лишилась чувств.

Я перенес ее на софу, кликнул служанку, бегал, суетился, лил воду, духи и наконец привел в чувство Груню.

— Ваня, — сказала она, — я не умею благодарить тебя: это сердце, которое принадлежит тебе, чувствует, но язык мой слаб, чтоб выразить чувства.

Груня от излишней чувствительности перешла к такой шумной радости, что я опасался, чтобы она не лишилась ума. Она кричала,

смеялась, пела и беспрестанно примеривала то диадему, то склаваж, то браслеты. Я принудил ее сесть за стол, но она ежеминутно вскакивала со стула, чтоб смотреться в зеркало и снова приноравливать к лицу убранства.

— Груня, — сказал я, — ты так умна! неужели эти блестящие игрушки имеют в глазах твоих такую цену, что ты от них забываешься?

— Нет, друг мой, — отвечала она, — не вещи мне дороги, но торжество над моею надменною соперницей, торжество, которого она не надеется и которое мне тем милее, что я тебе за него обязана!

Между тем приближалось время представления, и Груня открыла мне, что друзья графа Жалкина составляют против нее заговор.

— Любезный Ваня, — сказала Груня, — в свете не знают о нашей тесной дружбе, и так надобно, чтобы ты взялся составить также для меня партию! Я бы это легко могла сделать сама, но не хочу возбуждать твоей ревности, не хочу трогать твоей чувствительности. Возьми несколько десятков билетов, скажи приятелям, что ты выиграл их, побив-

шись об заклад, и раздай даром. Дай обед или завтрак самым пылким, неугомонным и дерзким шалунам и внуши им, что надобно защищать правое дело, возвысить меня рукоплесканиями и вызовом на сцену, и зашикать Маскину.

Я хотел возражать, но Груня зажала мне рот своею прекрасною ручкой, поцеловала и смехом разрушила все мои философические батареи. Я должен был, то есть мне хотелось, ей повиноваться.

Наконец наступило представление. Я в этот день давал обед приятелям — буянам, в ближнем от театра трактире, и когда в голове у всех зашумело, предложил им идти в театр, защищать правое дело, и роздал билеты. Мы вошли в театр гурьбою, и друзья мои ожидали только моего сигнала, чтоб шикать или хлопать. Между тем Груня не показывалась из своей уборной, пока не пришла ее очередь выходить на сцену. Когда же она вышла, то Маскиной сделалось дурно при виде бриллиантов и богатого платья, которые были на Груне, и весь закулисный факультет решил, что невозможно быть одетой лучше и богаче

ее. Груня была вне себя от радости, и это расположение духа имело такое сильное влияние на ее игру, что она в самом деле превзошла все ожидания; а Маскина, в отчаянии от торжества соперницы, забыла роль и мешалась в игре. Друзья графа Жалкина старались всеми силами поддержать его приятельницу; но шиканье нашей партии заглушало слабые рукоплескания, и Груня, превозносимая похвалами в продолжение пьесы, была вызвана на сцену; а Маскина, покрытая стыдом и насмешками, побранилась с Грунею за кулисами и, приехав домой, подралась с графом.

Я был принят Грунею с восторгом. У нее были званые гости к ужину, но я так был расстроен волнениями того дня, что чувствовал себя нездоровым, и поехал домой.

По мере успехов Груни на драматическом поприще и по мере распространения ее известности надлежало ей наряжаться лучше других, или, по крайней мере, так, как другие актрисы, иметь удобнее квартиру и завести свой экипажец. Я никак не мог согласиться, чтоб Груня прибегала к кому-либо другому в своих нуждах, и сделал для нее все, что было

нужным. У нее не было шалей, но она у меня никогда их не просила; когда же я звал ее прогуливаться за город или просил надеть бриллианты на вечер, она с улыбкою отговаривалась тем, что у нее нет шали, а без этого нельзя ни прогуливаться, ни богато наряжаться. Разумеется, что надобно было купить несколько шалей, ибо привезенные мною из степи были распроданы.

Наконец, три новые представления, два переезда с квартиры, устройство гардероба и зимней одежды, заведение экипажа, одни именины и день рождения Груни в течение года лишили меня сорока тысяч рублей и навязали долгу до десяти тысяч. Повторяю, что она меня никогда ни о чем не просила, и я не имел ни малейшей охоты покупать деньгами любовь или благорасположение у кого бы то ни было. Ни я, ни Груня не знали, как это случилось, что мы истратили такую кучу денег! Ей хотелось иметь, у меня было *на что достать*: деньги катились — и выкатились! Вот я остался без гроша, без всяких средств достать денег, обязанный содержать мать... Раздумав о моем положении, я пришел в отчая-

ние, но не имел духу сказать Груне о моем несчастье. Я даже думал застрелиться, думал бежать в киргизскую степь, но меня удерживало положение моей матери. Несколько дней я не смел являться к Груне и сидел запершись в моей комнате, помышляя о средствах содержать себя пристойно в свете. Матушке моей я сказал, что нездоров. Ничто не приходило мне в голову, а всех денег оставалось у меня только пятьдесят рублей. Я уже писал однажды к Арсалану чрез Оренбург, но не получил никакого ответа: теперь снова написал я письмо к Арсалану и старшинам киргизским, уведомляя их о месте своего жительства и прося о присылке следующих мне денег за продажу из оставшейся моей доли добычи. Молчание степных друзей моих не предвещало ничего доброго. Между тем я страшился, чтоб друзья мои, покровительницы и заимодавцы не узнали о моем разорении. Тысячи проектов рождались и умирали в моей голове, как вдруг вечером шестого дня моего уединения дверь в комнате моей быстро отворилась и вбежала — Груня.

Глава XXVI
Избави нас от лукавого! Урок дневного разбоя Советы отставного солдата. Я опять с деньгами

— Что это значит, любезный друг, что ты бросил меня? — сказала Груня. — Великое дело, что промотался?

— Как, и ты уже знаешь…

— Как мне не знать, — сказала Груня, — когда твой Петров отрапортовал мне о твоем горе.

— Изменник! — воскликнул я.

— Не горячись, он истинный друг твой. Увидев, что ты лишился веселости и отстал от всех своих привычек, он догадался, что казна твоя в чахотке. Наконец, когда приметил, что ты принялся осматривать и повертывать в руках свои пистолеты, добрый Петров не мог более вытерпеть и прибежал ко мне с просьбою, чтоб я поспешила к тебе *на сикурс*. Что ж ты молчишь?

Я взглянул на Груню исподлобья, в смуще-

нии и стыде, и приметил на лице ее веселость и улыбку.

— Полно унывать! — сказала Груня. — Не стыдно ли киргизскому наезднику горевать о потере добычи, когда он сам цел и невредим? Давно ли ты называл меня своим сокровищем, своим счастьем. Вот я перед тобою — а ты кручинишься о потере денег! — Груня села на софе, велела мне поместиться возле себя и сказала: — Ну, много ли мы спустили в этом году?

— Тысяч пятьдесят, слишком! Груня захохотала.

— Изрядно, очень мило! — воскликнула она. — А кажется, мы были так бережливы! Теперь посуди, стоит ли кручиниться из денег, стоит ли мучить себя для них? Это сущая пыль, которая разносится и наносится ветром.

— Утешительная философия! но без денег невозможно существовать, — отвечал я. — И самая нежная любовь, самая бескорыстная дружба могут наполнить только сердце…

Груня прервала слова мои.

— Ах, как ты умен без денег! — сказала

она. — Но оставь это, любезный Выжигин! Ничего нет скучнее в мире, как рассуждения безденежной философии! Ну, сколько у тебя осталось?

— Менее нежели ничего.

— Как так?

— То есть долги и невозможность уплатить их.

— Чисто! Послушай же, Выжигин, я пришла к тебе с тем, чтоб извлечь тебя из твоего неприятного положения. Будь тверд и бесстрашен. Один из старых знакомых моей матушки, Яков Прокофьевич Зарезин, просит у меня позволения держать банк в моем доме…

— Груня, ты опять берешься за средства непозволительные, которые довели до несчастья твое семейство!

— Я от роду не играла в карты и играть не стану, следовательно, ничего не проиграю. Зарезин дает мне равную долю в выигрыше без проигрыша за одно позволение играть у меня…

— То есть обыгрывать на верную, красть, явно разбивать!

— А нам до этого какое дело, любезный

друг? — сказала хладнокровно Груня. — Всякому даны разум и воля: кто не умеет владеть ими, тот пусть учится, а за уроки, ты знаешь, надобно платить.

— Твоя философия хотя не так скучна, как моя, безденежная, но это курьерская подорожная в Сибирь.

— Полно, полно вздорить; посмотри, чем живут люди, принимаемые и честимые в обществах большого света. Тот обогатился взятками, тот расхищением казны, тот опеками над сиротским имением, тот несправедливыми тяжбами. *Не пойман, не вор* — гласит пословица, и богатые плуты высоко поднимают голову, гордятся, что умели нажить себе имение. Ты не имел дела с купцами. Попробуй, и увидишь, как лучший твой приятель сдерет с тебя вдесятеро и, выпустив из лавки или из конторы, посмеется насчет твоего легковерия. При всем моем уважении к человечеству, верю, что едва ли не половина городских жителей — игроки на верную. Разница в игре: кто играет в политику, кто в коммерцию, кто в администрацию, кто в правосудие, а кто в банк, вист и штос.

— Груня, милая Груня, — сказал я, целуя ее руку, — ты настоящий демон в образе красоты; я не могу спорить с тобою, но не налагай на меня обязанности быть бесчестным, не пользуйся моею слабостью! Я так люблю тебя, что не могу ни в чем отказать тебе. Могу только умолять: не вводи меня во искушение!

— Я не предлагаю тебе самому играть, — сказала Груня. — Ты будешь только моим депутатом при Зарезине; станешь наблюдать, чтоб он не обманывал меня, чтоб он действовал *прилично*, то есть не слишком зазнавался и употреблял свое искусство с умеренностью. Для этого тебе самому надобно знать все игорные штуки.

— Я не знаю ни одной. Слыхал кое о чем, но сам не умею ничего.

— Зарезин имеет нужду в *крупере*[34] и *мотиянте*[35], который еще не прославился и, как говорится, имеет представительную фигуру. Для этого нельзя в мире сыскать человека способнее тебя. Ты скромен в обхождении, ловок, имеешь приятную наружность, мил… — Груня при сих словах улыбнулась, погладила меня по голове и поцеловала. Я совершенно

забылся.

Поговорив еще несколько времени о посторонних предметах, Груня оставила мне адрес Зарезина и велела мне явиться к нему на другой день, в 10 часов утра, сказав, что он уже предуведомлен и будет ожидать меня. Она уехала, пожелав мне более веселости, твердости духа и — философии!

В тысячный раз, с тех пор как я связался с Груней, воскликнул я: «О, слабость человеческая!» В тысячный раз, с тех пор, повторил я молитву:

— Не введи нас во искушение! — и остался таким же, каков был прежде!

Матушка приметила, что я с некоторого времени переменился, стал задумчив, мрачен, брюзглив. В обществах большого света, куда я всегда ездил, хотя не так часто, я был столь же любезен, как прежде; но человек в гостях и человек дома — два разные лица. Иногда домашний тиран, мучитель слуг и семейства, почитается в свете самым любезным человеком; иногда тот, который заставляет других хохотать в обществе своею веселостью, пришел от слез и возвратится к слезам.

Учиться узнавать людей надобно: во-первых, в их отечестве, а потом в их семейной жизни. Дурной отец с хорошими детьми, дурной муж с доброю женой, дурной сын с почтенными родителями — никогда не могут быть добрыми людьми, и я таким людям не дал бы в управление не только уезда или департамента, но не поверил бы моей собаки; боялся бы с одним из таких людей ночевать в лесу, без оружия.

Я сказал матушке, что необдуманные обороты расстроили мое состояние и что я должен теперь стараться трудами приобретать деньги. Матушка не упрекала меня и не гневалась. Она просила позволения удалиться в монастырь, где настоятельница, ее знакомая, предлагала ей безмятежное убежище. Я согласился, и матушка в тот же день вознамерилась перебраться в новое жилище, взяв с меня обещание навещать ее каждый день или, по крайней мере, три раза в неделю.

Между тем я отправился, по условию, к Зарезину. Слуга ввел меня в гостиную, очень чисто убранную, где я застал Зарезина, прохаживающегося по комнате. Это был неболь-

шой человек, лет за сорок, бледный, сухощавый, с проницательными взглядами, с какими-то ужимками, похожими на лакейское передразнивание господских приемов. Следуя правилам моей физиономики, в глазах и на устах Зарезина я приметил коварство, бесстыдство и трусость. По привычке, он имел на глазах зеленый зонтик, хотя одарен был таким превосходным зрением, что малейшую крапинку на картах видел на столе простым глазом, как в микроскоп. Пальцы его были чрезвычайно длинны и сухи. На правой его руке указательный и большой пальцы обвязаны были черною тафтой. Он беспрерывно тасовал карты и срезывал штос, даже беседуя со мною, чтоб не терять напрасно времени, как он говорил, и постепенно усовершенствоваться в механике. Яков Прокофьевич одет был особенным образом: галстух его повязан был плотно возле шеи, фрак с широкими рукавами висел на нем, как на гвозде, короткое исподнее платье и сапоги до колен представляли ноги его в виде крученых столбов готическо-арабской архитектуры. Яков Прокофьевич редко заглядывал в глаза тому, с кем го-

ворил, и то тогда только, когда говорил не о *деле*, а о вещах, посторонних своему ремеслу.

— Прошу покорнейше, — сказал Зарезин, указывая мне место на софе. — Очень рад с вами *сойтись*: Аграфена Степановна изволила мне говорить, что вы были в связях с искренним другом моим, Лукою Ивановичем (Вороватиным). Почтенный человек, добрейший!.. Мы с ним много *работали* вместе. Жаль, что я не могу узнать, где он теперь находится.

Я молчал. Зарезин опять завел речь:

— Я слыхал, что вы изволили вести большую игру, и много выигрывали. Позвольте спросить: метали или понтировали?

— Понтировал, но более играл в коммерческие игры.

— Понимаю-с: на *свои* карты, с *кумовьями* [36], а в банк, верно, изволили играть с *своими* людьми, на *продажу*[37] Это называется *продать*. Миленькая коммерция!?

— Ни то, ни другое. Я играл чисто.

— А, тем лучше, что *чисто*: однако ж Аграфена Степановна не изволила мне сказать, что вы *чисто* играете.

Я смотрел в глаза Зарезину, изъявляя удивление и не понимая его выражений.

— Вы не изволите понимать, что значит... *чистота*? Это значит ловкость, проворство.

При сих словах Зарезин сделал движение пальцами, как будто хотел щелкать ими.

— Нет, вы не угадываете, — отвечал я. — Аграфена Степановна сказала вам, и я повторяю, что я вовсе ничего не знаю в картах и что если вы хотите, чтоб я был вам полезным, то должно посвятить меня в таинства своего искусства.

— Конечно, должно знать что-нибудь, — возразил Заре-зин. — Не угодно ли *потрудиться* пройти в мой кабинет; я вам дам первый практический урок, с указанием инструментов.

Из гостиной мы вошли в холодную комнату, где находилось множество разнородных вещей в величайшем беспорядке. Картины, фарфор, бронзы, конские приборы, пенковые трубки, богатое оружие разложены были на окнах, стульях, столах и на полу. Кроме того, в разных местах стояли сундуки, ящики с винами и т. п. Все это покрыто было пылью и

грязью. В другой комнате, или в кабинете, все три окна завешены были зелеными шторами. Под окнами стояли маленькие столики, покрытые большими листами бумаги, а посреди комнаты находился один большой стол, покрытый зеленым сукном. Зарезин подошел к одному малому столу, снял бумагу, и я увидел: несколько талий карт, а на тарелке растертые синюю и красную краски и несколько вороньих перьев.

— Кажется, вы можете догадаться, — сказал Зарезин, — что это *живописная часть* нашего искусства, то есть крап. Самые лучшие карты для накрапливания вот эти, которых верхние узоры отделываются пунктировкою. Одна лишняя точка в известном месте достаточна, чтоб читать поверху, как будто колода была раскрыта. В средине крапятся карты для *верховки*. Вы не знаете верховки?

— Нет-с.

— Извольте видеть: вы пускаете в оборот свои карты и, понтируя, знаете всегда, что лежит наверху, а этим избавляетесь от потери *соников*. Это самая невинная игра и употребляется только против *опытных* игроков.

Здесь авантажу не более 10 процентов. Вот эти карты с крапинами на ребрах служат для улавливания *соников*. Верный и зоркий глаз видит иногда четвертую карту в колоде банкира, и тогда, прощай банк! Вот банкирские карты с крапами на углах, чтоб, зная, когда идет карта с большим кушем, можно было *передернуть*. — Зарезин при сем выдвинул ящик в столе, вынул табакерку и подал ее мне.

— Видите ли вы в ней что-нибудь? — спросил он.

— Ничего, кроме того, что она тяжела и очень хорошо сделана, — отвечал я.

— Тяжела оттого, что середина золотая, а верх платинный и что тяжесть эта весьма нужна. Видите ли, что нижнее дно обведено рубчиком, или рамочкою, а на самой середине дна цветок, отделанный матом? Теперь извольте смотреть: вот я, например, банкир.

При сем Зарезин сел за стол, взял карты в руки и продолжал толкование:

— Теперь вижу, что вторая карта должна выиграть понтеру большой куш. Я кладу карты на стол, прикрываю колоду табакеркою,

будто из предосторожности, чтоб понтеры не видали их; вынимаю платок, утираю нос, потом открываю табакерку, беру табаку, снимаю табакерку, продолжаю метать, и вот видите, семерка, которая должна была лечь налево, ложится направо.

— Как же это случилось? — спросил я с удивлением.

— А вот как! В табакерке два дна, золотое и платиновое. Золотое тонкое и упругое, а в платиновом этот цветочек вставной, на пружине, и намазан по мату воском или клеем. Когда я беру табак, то прижимаю пальцем середину: верхняя карта пристает к вставному цветку и держится в рамочке, а вторая остается верхнею. Теперь идет другая карта, которую мне надобно положить направо. Я точно таким же порядком кладу табакерку на карты, прижимаю дно, и карта отстает от цветка и ложится наверх, а та, которая долженствовала выиграть в первом *абцуге*, проигрывает понтеру во втором. Не правда ли, что это очень мило?

Я кивнул головою в знак согласия.

— Это новое петербургское изобретение,

одного моего закадычного приятеля, и очень хорошо с *мастерами*, которым нельзя передернуть. Ведь *ученых* иначе нельзя уловить, как самыми простыми средствами. У меня есть еще любимый черный фрак, в котором я езжу на игру. В правом рукаве этого фрака также сделан механизм, для скрадывания карт. Это чудо, а не изобретение: я вам покажу после. Стоит только погладить обшлагом колоду, и карта так же исчезнет, как от табакерки.

Мы перешли к другому маленькому столику, и Зарезин, сняв бумагу и указав на кучи карт, продолжал рассказ:

— Вот *баламуты*, то есть известное число карт, подрезанных таким образом, что при тасовке выбираются широкие и укладываются вместе, по исчислению. Баламутов множество, и их укладывают разными ключами. Есть такие, где все первые тридцать карт проигрывают, то есть где понтер не выигрывает ни одного куша; есть баламуты легкие, с большим числом *плие* и с фальшивыми *рутье*. На баламута играют только с неопытными. Ныне, изволите видеть, свет зело умудрился! Вот

различные *подрези* карт, для укладывания штосов в тасовке. На это надобно иметь необыкновенное проворство в пальцах, больше, нежели требуется от нынешних модных фортепианных игроков, и эта ловкость приобретается только временем и трудами. Вы видите, что у меня обвязаны пальцы: извольте видеть, кожа на этих пальцах у меня так надскоблена терпугом, и тело так размягчено мазью, что я в игре одним прикосновением угадываю карты, а суставы мои гибче всяких пружин. Но вы до этого не скоро дойдете: это плоды двадцатилетней опытности и невероятных усилий. Вы же будете моим крупером, и так вам нужно более знать понтировку, для наблюдения за игроками, при моем банке. Я не могу смотреть за ними потому, что в игре я бываю *погружен в глубокое созерцание* искусства, для произведения в действо моих банкирских опытов, а вы между тем смотрите, чтоб нас не обманывали ложные братья, втирающиеся в игру под маскою простаков.

Мы перешли к третьему столику, и Зарезин, вскрыв по-прежнему бумагу и показывая мне различные карты, продолжал свой рас-

сказ:

— Вот видите эту тройку. Смотрите же: раз! — и вот двойка; еще раз! — и вот туз.

Зарезин только снимал карту со стола, и на карте в самом деле переменялись очки, по его воле.

— Знаете ли, что это такое? — спросил Зарезин.

— Мне почему знать!

— Это инструмент русского изобретателя, хотя французского названия, и зато не так страшный, как французский. Это *гильотина*. Вот извольте видеть: карта расклеивается, и вот на этой часовой пружине насаживаются вырезанные очки. Пружина укреплена в середине, а кончик ее выходит с боку карты. Двигая пальцем кончик, очки прячутся или выходят по произволу. Гильотина делается из всех карт, кроме фигур. Но вот у меня и резервные фигуры, или *маски*. Извольте видеть: вот на одной карте король и дама, на другой валет и король и т. д. Это делается из двуголовых фигур. Крашеный листок сдирается, разрезывается, и головы переменяются. Для *темных* и для *соников* это очень хорошо. Эти карты

несколько помудренее. Видите ли, вот я ставлю семерку: выигрывает шестерка, и моя карта тотчас превратилась в шестерку. Это *насыпные* очки. На карте наводится клеем очко и посыпается черным порошком из жженой кости. Карта, разумеется, ставится *темная*, и если выиграла та карта, которая стоит у меня, я вскрываю и беру деньги; если выигрывает другая, я стираю очко при вскрытии карты и опять беру деньги. Вот *мешки*: карта, изволите видеть, расклеена в середине, и в ней оставлено пустое место, куда кладутся ассигнации. Если карта проиграла, понтер берет со стола карту и оставляет несколько ассигнаций; если карта выигрывает, то понтер искусно вытряхивает ассигнации из мешка, и банкир платит иногда вдесятеро, особенно при выигрыше углов. Вы изволите посматривать в этот ящик? Здесь инструменты: *волчий* зуб, для лощения крапленых карт, *вишневый клей*; вот *медные доски* разного формата, для обрезывания карт этими тоненькими *ножницами*. А вот на шкафу стоит *пресс*, или *тиски*, для сжатия распечатанных и вновь запечатанных карт. Вам угодно знать, что на этом боль-

шом столе, под зеленым сукном? Приготовленные карты. Но на первый случай вам довольно. Пойдемте, позавтракаем и потолкуем о предстоящей кампании.

Завтрак уже стоял на столе, но не было ни приборов, ни вина. Зарезин вынул ключи из кармана, вышел в другую комнату, позвал лакея и возвратился с вином и приборами. Когда лакей удалился, я сказал:

— Верно, ваш служитель дурного поведения, что вы ему не поверяете серебра?

— Ничего не заметил в течение десяти лет, — отвечал Зарезин. — Но я, сударь, имею привычку никому не верить, а это самое лучшее средство, чтоб не быть никем обманутым. К тому ж: не введи во искушение! Зачем доставлять человеку случай к воровству?

Я не отвечал ничего, но внутренне проклинал любовь мою, доведшую меня до связей с этим адским творением.

— Извольте видеть, — сказал Зарезин, — Аграфена Степановна очень добрая девица и моя старая знакомая; но она немножко ветрена, немножко своенравна и немножко любит бросать деньгами. Мы не должны совершен-

но поверять ей все свои дела и весь денежный оборот. Она готова предостеречь человека, если он ей понравится, и когда будет в точности знать о выигрыше, то в нужде в состоянии потребовать от нас более, нежели сколько ей будет следовать. Изволите понимать? Я имею обычай, когда играю в половине с кем-нибудь, откладывать с банку в сапоги: вы то же должны делать, когда я поморщусь и скажу вам: *сапоги жмут*. После того мы пойдем домой и рассчитаемся.

— Увидим! — сказал я и спешил оставить Зарезина, чтоб увидеться с Грунею.

— Ты мне навязала сущего разбойника! — сказал я Груне.

— Неужели ты хочешь, чтоб я для обмана обманщиков выбрала честного человека? Перестань ребячиться, Ваня: ты скучен с своею школьною добродетелью. Мы ни у кого не станем отнимать денег, а будем брать у тех, которые ищут случая сбыть их с рук. Впрочем, не хочешь — как угодно! Но тогда ты должен отказаться от своей несносной ревности.

— Я решился! — воскликнул я почти

сквозь слезы и пошел домой, чтоб проводить матушку в монастырь, обещая в вечеру возвратиться к Груне. Зарезин долженствовал открыть в этот вечер первое свое заседание.

Отвезши матушку, я возвратился домой, с грустью в сердце, и лег на софу. Петров вошел в комнату и, остановившись у дверей навытяжку, сказал:

— Позвольте, ваше благородие, вашему усердному Петрову промолвить слово.

— Говори.

— У нас нет денег!

— Нет, и так ступай, ищи себе службы у того, кто имеет деньги.

— Сохрани меня Бог от этого: вы мой благодетель, Иван Иванович, и я вас до смерти не оставлю. Солдату немного надобно: шинель на плечах да сухарь в кармане. Я могу у соседей заработать дневной паек и всегда буду готов на службу к вашему благородию. Да не в том дело.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Аграфена Степановна — хороша!

— Это я знаю и без тебя.

— Ласкова, как кролик, болтлива, как ла-

сточка, голосиста, как жаворонок!

— Так что ж?

— Да она, сударь, издерживает более денег в сутки, нежели целая гренадерская рота в месяц.

— Тебе какая нужда!

— Нужда, ваше благородие, потому, что я вас люблю более отца родного, люблю, как моего ротного командира, упокой Господь его душу: он умер от раны на моих руках! Мне ли не знать, что ваши денежки прокатились сквозь нежные и белые пальчики Аграфены Степановны!

— Не твое дело.

— Не мое дело, но моя кручина! Ваше благородие, Иван Иванович! Я рад положить живот за вас, и мне больно, горько смотреть, что от Аграфены Степановны и тетушка ваша, Аделаида Петровна, изволила съехать со двора, да и вам скоро не будет места на белом свете. Уж если гибнуть смолоду, так от пушки или от пули, а не от бабьих прихотей. Не дойдем мы до добра с московскими красавицами. Вступите в военную службу, и поедем на Кавказ. Здесь, сударь, вам нужны и кареты, и ме-

бели, и двадцать пар платья, и Бог весть что; а там молодому офицеру ничего не нужно, кроме сабли да храбрости; а у вас есть и то и другое. А уж жизнь-то — жизнь — веселье! Каждый Божий день — драка, да и с какими молодцами, с меткими стрелками, с наездниками, которые, кроме русских, не боятся и самого черта. Винцо славное, баранов тьма, хлеб хороший, а девушки-то, девушки-то: грузиночки, черкешеночки, чудо! Сказывают, что и сам турецкий султан в своем Царьграде других знать не хочет. Одна беда для русского солдата, что не всегда можно напиться квасу да поесть щей, а вам, господа, ведь это ныне не горе. Эй, ваше благородие, послушайте старого солдата! Увидите, что на высоком Кавказе сердце ваше выветреет от любви, а черкесские наездники займут вас более, чем Аграфена Степановна!

Мне в самом деле нравилось предложение Петрова; но меня удерживали в Москве любовь и долги.

— Спасибо, брат, за совет, а за любовь вдвое. Я раздумаю о том, что ты мне сказывал, и на первый случай говорю тебе, что я не

прочь от войны и Кавказа. Между тем давай одеваться: мне надобно идти со двора.

Вечер у Груни был блистательный. Она пригласила к себе несколько красавиц актрис и множестово богатых любителей драматического искусства, которые любят это искусство, не в книгах и не в представлениях, но воплощенным, в виде прекрасных актрис. Сперва занимались разговорами, музыкою; потом, как будто для окончания старых наших счетов, мы с Зарезиным сели в угловой комнате играть в штос. Груня, шутя, попросила одного богатого гостя сорвать банк пополам с нею, примолвив, что она весьма счастливо выдергивает карты для понтеров. Несколько дамских прислужников просили Груню выдернуть для них карты. Завязалась игра, сперва небольшая, потом огромная, и Зарезин очистил все бумажники. Игра продолжалась до шести часов утра, и, когда гости разъехались, мы разделили выигрыш на три части, и каждому досталось около восьми тысяч рублей. Однако ж Зарезин остался весьма недоволен мною за то, что я спросил у него, не жмет ли ног его обувь, и принудил его снять при мне

сапоги, в которых я нашел пучка два ассигнаций и горсть золота. Чтоб утешить Зарезина, я сказал ему, что делаю это для того только, чтоб приобресть доверенность Груни, которая приметила, как он опускал деньги в сапоги. Плут не поверил мне, но притворился, что верит. Таким образом малейшее отступление от пути чести ведет за собою множество пороков. Связавшись с игроком для обмана других, я в первый день сделался лжецом и обманул Зарезина, воображая себе, что с плутом позволено быть обманщиком. Такое легкое приобретение денег вскружило мне голову и усыпило совесть. Я возвратился домой очень весел: бросил деньги в комод и, дав 25 рублей Петрову, сказал: «На Кавказе, брат, хорошо, но в Москве лучше. Повеселимся-ка сперва здесь, а далее увидим!»

Глава XXVII
Ложные игроки. Письмо от Миловидина. Он нашел жену свою. Раскаянье Петронеллы Эксдивизия в польских губерниях. или Шах и мат заимодавцам Кончина г-на Гологордовского. Г-н. Почтивский, другой зять его

Ремесло фальшивого игрока соединяет в себе все пороки, унижающие человечество. Нет такой подлости, на которую бы ложный игрок не решился, чтоб заманить в сети свои человека, пристрастного к игре. Ложные игроки, как настоящие демоны, изощряют ум свой единственно на изобретение всякого рода искушений, чтоб лишить человека достояния, доброго имени, ввергнуть его в пучину пороков, погубить целое семейство. И эти люди принимаются в порядочных обществах,

пользуются правами, предоставленными породе, заслуге! Бедный воришка, укравший 25 рублей, иногда от нужды, наказывается, как преступник; а эти дневные воры гордо разъезжают в богатых экипажах, водятся с вельможами, смотрят с презрением на бедного, но честного человека, от которого поживиться нечем, и даже обсуживают слабости других людей. О, бедное человечество, с твоими обычаями! Кто виноват? Законы предают ложного игрока поношению и наказанию, но *по обычаю* почитается неприличным обнаружить и предать строгости правосудия дневного вора, то есть ложного игрока, между тем как почитается похвальным делом поймать воришку в краже 25 рублей и предать его заслуженному наказанию. Какая несообразность! Итак, если вам стыдно истреблять волков в ваших дачах, так пусть же волки истребляют ваши стада, грызут пастухов, пока доберутся до вас самих. В добрый час!

Игра в доме Груни постепенно увеличивалась, общество делалось многочисленнее. Справедливо, однако ж, что нажитое неправдою не идет впрок. Мы с Грунею не знали сче-

та деньгам и не знали притом меры нашим желаниям. Что легко приходит, то легко и уходит. Наше игорное заведение сделалось гласным, и мы принуждены были допустить в часть нескольких из самых искусных игроков, чтоб они нам не мешали, и между тем как мы с Грунею сыпали деньгами на наряды, мебели, экипажи, лошадей, обеды и ужины, наши сообщники резались между собою и проигрывали друг другу на счастье то, что выигрывали у других обманом. К тому же между ложными игроками не бывает добронравных отцов семейства, людей скромного и тихого поведения. В вине, в буйных забавах, в связях с развратницами они стараются забыть свое ничтожество, заглушить вопль совести и выказанием богатства и роскоши прикрыть свою низость. Они живут во всегдашнем чаду, боятся опомниться. Уединение, тишина есть преддверие мучений для порочного.

По несчастию, знатность породы не всегда сопряжена с достоинством душевным, и во всех народах существует пословица: в семье не без урода. В нашем обществе игроков было два выродка знатных фамилий: князь Плуто-

ленский и граф Тонковорин. Первый, отказавшись от выгодного брака, от всех связей с хорошим обществом, от службы, вел жизнь распутную, показывался всегда в публике в нетрезвом виде и буянством своим нарушал все приличия. Он был еще в самом цветущем возрасте и мог бы служить образцом живописцу для изображения отчаянного разбойника. Красное, раздутое его лицо, заросшее огромными бакенбардами, выражало дерзость и невоздержность; глаза были всегда выпучены и налиты кровью, как у гиены; губы были надуты и отворялись только для пищи, питья и грубостей. Граф Тонковорин был уже человек пожилой: он прошел сквозь огонь и воду, несколько раз промотал и нажил состояние и, будучи всю жизнь в разладе с совестью, наконец избрал, по своему мнению, самое *невинное* ремесло ложного игрока. Он имел все пороки и одно только качество, общее с честными людьми: неустрашимость. Но как это качество он употреблял на одно злое, то прослыл между игроками *храбрым корсером*. Граф Тонковорин жил открыто и роскошно, давал вкусные обеды и веселые ве-

черинки и обыгрывал в своём доме не только простяков, но и самых игроков. Зарезин взял в часть этих двух молодцов от страха, чтоб они не убили его, а для помощи себе избрал двух самых тонких игроков и записных злодеев, Удавича и Ядина.

Удавич, человек средних лет, смуглый, небольшого роста, был умен, как демон. Он водился более с купцами и был также ростовщиком. Между богатыми купцами почитается знаком хорошего тона бросать деньги в дружеском обществе, и они гордятся издержками, точно так как в утонченном обществе гордятся остротами, каламбурами и ловкостью. Каждый богатый купец почитает обязанностью погулять несколько дней в году, и трактирщики, развратницы и ложные игроки дожидаются этих радостных дней, чтоб, воспользовавшись затмением рассудка богатого купца, ощипать его, как липочку. Кроме того, ложные игроки ведут постоянную дружбу с молодыми купчиками, которые начинают мотать еще при жизни родителей. Удавич давал деньги взаймы на большие проценты, торговал векселями и обыгрывал своих прия-

телей, купцов, которые толпились к нему для того, что в его доме находили все вымыслы разврата. Ядин, при врожденном уме, был довольно образован, читал много, говорил приятно, водился с литераторами, которые не знали его ремесла, с актерами и вообще с людьми, имеющими притязание на ум. В своем доме он вел небольшую игру и разбивал, как говорится, *налетом*, высмотрев простячка в кругу своих знакомых. Я удивился одному только, а именно, как эти разбойники находили простодушных людей, которые верили им, когда природа заклеймила их печатью отвержения. С первого взгляда на всех этих промышленников я вычитал на их лицах все адские их склонности. Верю, верю, что злая душа отражается в физиономии. Неверующие! загляните только в глаза первому ложному игроку, первому лицемеру — удостоверьтесь!

Вот в каком обществе должен был я жить, по слепой привязанности моей к Груни, которая усыпляла совесть мою ласкательствами, нежностями и затемняла рассудок ложными умствованиями. Время между тем летело, и

уже уплывал почти год с тех пор, как я делил добычу с игроками. Однажды, когда у нас не было игры, по причине отлучки некоторых богатых понтеров, Груня поручила мне заехать к Удавичу, чтоб переговорить насчет смены Зарезина, который начал сильно обманывать нас. Я застал у Удавича князя Плутоленского, графа Тонковорина, Ядина, еще двух мастеров и десятка полтора купцов, между которыми было несколько богатых бородачей. Все они были навеселе и только что возвратились из поездки в загородные трактиры. Лакеи разносили по комнатам шампанское и мадеру; полупьяные цыганки и хмельные цыганы расхаживали по комнатам; купцы шумели, объяснялись между собою в дружбе и высказывали друг другу свои старые неудовольствия; какие-то женщины выглядывали украдкою сквозь полуотворенную дверь задней комнаты; игроки на ходу совещались и перемигивались; кривой гуслист настраивал гусли в передней комнате. Я остановился, осмотрелся кругом и тотчас догадался, что эта пирушка кончится чем-нибудь поважнее. Удавич подошел ко мне, мигнул зна-

чительно, вывел в темный коридор и тихим голосом сказал, чтоб я вел себя осторожно, потому что здесь *подтасовано* большое дело, в котором я получу прибыль, если обещаюсь не сказывать никому о происшедшем, особенно игрокам. Я обещал молчать, более из любопытства, и мы возвратились в комнаты. Удавич между тем развернулся и принялся играть роль радушного хозяина. Он перебрал поочередно всех гостей, целуя и обнимая каждого и вопия громким голосом:

— Господа! что же вы присмирели, соскучились, что ли? Гей, шампанского! Прочь с рюмками: подавай нам прадедовские стопы! Иван Меркулыч, да кушай пожалуйста. Семен Патрикеич, Фома Назарьич, да пейте, братцы! Ну ты, балагур, Пафнутьич, полно задерживать своей болтовней; пей, да и других потчевай! Вина! Человек, сюда! Не правда ли, что винцо хорошо? Сам выписал из Петербурга от Боасонета. Ну, Стешка, запой что-нибудь повеселее; гуслист, играй любимую Ивана Меркулыча! А вы, проказницы, Маша, Василиса, Параша, попляшите удалую цыганскую, распотешьте господ!

Пока Удавич говорил то с купцами, то с цыганами, вино лилось рекою и другие игроки потчевали гостей также с целованьями, обниманьями и просьбами. Когда у всех в голове зашумело, Иван Меркулыч, богатый купец с окладистою бородой, отец семейства, который дома питался круглый год щами и кашей, пил квас и настойку, оттягивал по гривне у приказчиков и торговался за рубль до зарезу, а в трактирах разбивал ящики с шампанским и в пьянстве проигрывал десятки тысяч, Иван Меркулыч, которого так честил Удавич, подошел к нему, ударил фамилиярно по плечу и сказал:

— Что вздор молоть; заложи-ка банчик, Клим Егорыч!

— Боюсь, — отвечал Удавич. — Ведь ты, Иван Меркулыч, отчаянный игрок, и как раз сорвешь банк. С такими лихачами надобно быть осторожным; я слыхал, что ты выиграл в горку 16 000 рублей у Сидора Сидорыча.

— Что за беда! выигрываю и проигрываю; не дурачься, Клим Егорыч, и сделай банк.

— Да разве небольшой! — сказал Удавич с ужимкою.

— Нет, брат, на малые деньги я играть не стану.

— Нечего делать, брошу тебе десять тысяч, — сказал Удавич и велел подавать столики.

Между игроками тотчас настала суматоха. Они не могли скрыть своей радости и приметно суетились. Удавич положил деньги, сел за стол и собирался метать банк. Но прежде нежели он взял карты, Ядин воскликнул:

— Вина, вина! Шампанского!

Принесли несколько бутылок вина, и Ядин взялся сам потчевать гостей, которые сели за карточный столик, а неигравших вывели под разными предлогами в другие комнаты, где князь Плутоленский, граф Тонковорин и другие игроки предложили им поехать повеселиться. Купцы рады были предложению и случаю веселиться вместе с князьями и графами и поехали со двора благополучно. Ядин и Удавич снова принялись потчевать вином гостей, и я вскоре приметил, что они совершенно одурели; ставили карты без разбора, снимали их не вовремя и исполняли машинально приказания Удавича, который запи-

сывал на них, что хотел, сам вынимал из кармана бумажники, брал деньги, метал по две карты вдруг и, словом, обходился с понтерами, как с бессмысленными тварями. Мне казалось странным такое опьянение, а еще страннее наглость Удавича, который явно грабил своих гостей, дремлющих за карточным столом. Один из игроков, который, вероятно, думал, что я призван также для совершения подвига, вывел меня в другую комнату и сказал:

— Ну этот Удавич бес, а не человек! *Опоил* купцов *дурманом* в вине, да и в ус себе не дует! Очистил бумажники без всякого труда, а кроме того, еще записал на каждом тысячи, а эти олухи вовсе не играли и не проигрывали! Мастер, злодей, мастер!

В это время вошли в комнату князь Плутоленский и граф Тонковорин.

— Кончено ли дело? — спросил князь.

— Кончено, — отвечал мой товарищ.

— Ну, славно, а мы насилу отделались от этих проклятых купчиков: они хотели приехать сюда ужинать. Велите-ка запереть ворота да не впускать их на двор. Пусть скажут

им, что Клим Егорович поехал на вечер к губернатору и что нет никого дома. Ведь эти ротозеи теперь нам не нужны, когда дичь уже подстрелена.

Между тем Удавич не сходил с места, сторожил одурелых понтеров, как змей добычу, и как скоро игроки приметили, что опоенные гости начинают шевелиться на стульях и что дремота и дурь проходят, то князь Плутоленский и граф Тонковорин присели к столику и стали нарочно понтировать.

— Ну, что ж, каковы наши дела? — сказал Иван Мер-кулыч, очнувшись и потирая лоб. — У меня так вдруг зашумело и завертелось в голове, что я не мог удержаться от дремоты. Посчитаемся-ка.

— Да вот за тобою записано 23 327 рублей с полтиной, — сказал хладнокровно Удавич.

— Как так! — воскликнул купец.

— Так, как водится: ты проиграл все наличные, так велел писать; я тебе верю хоть на миллион, так и послушался.

— Проиграл наличные! — возразил купец, схватившись за бумажник. — Да здесь было 17 000 рублей!

— Не считал еще, — отвечал хладнокровно Удавич.

Между тем другие понтеры также очнулись, стали рассчитываться и весьма удивились, что у всех бумажники были чисты, а кроме того, на каждом был записан долг. Один чайный торговец, молодой человек, у которого Удавич вынул из бумажника 10 000 рублей, пришел в отчаяние, кричал, плакал и сердился, говоря, что ему придется утопиться, если он завтра не уплатит по векселю. Удавич пребыл хладнокровен; но когда Иван Меркулыч и другие начали горячиться и требовали, чтоб стереть долг, которого они не помнят, тогда князь Плутоленский и граф Тонковорин выступили на сцену и зашумели в свою очередь.

— Как ты смеешь говорить в *честной* компании, что ты не помнишь проигрыша? Разве мы не были свидетелями? Мы тебя проучим: ты отсюда не уйдешь жив.

Другие игроки также шумели и бранились, а в это время толпа лакеев и цыган показалась в дверях. Купцы струсили и стали утихать. Пошло дело на мировую; послали за ма-

клером, который уже давно дожидался в передней. Иван Меркулыч и его товарищи дали векселя; чайному торговцу Удавич дал взаймы 10 000 рублей, а взял вексель на 20 000, и все сладилось дружелюбно. Подали ужинать, гости с горя напились и наелись досыта, а некоторые из них, в том числе и Иван Меркулыч, остались ночевать, в полном наслаждении, забыв о деньгах и о векселях. Мне дали ни за что ни про что 4000 рублей и снова взяли слово не разглашать происшествия, до времени.

Миловидин писывал ко мне, после отъезда своего из Москвы для поисков за женою своею: до сих пор старания его были безуспешны. Не получая от него писем более полугода, я весьма беспокоился об участи моего друга. Приехав домой от Удавича, к величайшей моей радости нашел я большой пакет от Миловидина. Он уведомлял меня, что наконец нашел свою Петронеллу. Сообщаю читателям моим письмо Миловидина в подлиннике:

«Подобно рыцарю печального образа, странствовал я по Польше, доискиваясь местопребывания жены моей. Чрез

всезнающих жидов проведал я, что она находится в окрестностях Кракова, но никак не мог открыть ее убежища. Случай, как обыкновенно водится, помог мне более, нежели старания. Петронелла приняла звание сестры милосердия и, чтоб загладить проступки юности, предала себя в жертву страждущему человечеству: она прислуживала больным в гошпитале. Ты знаешь, что сестры милосердия не произносят обетов монашества и могут оставить свое звание по произволу; но мне стоило большого труда уговорить ее сопутствовать мне в свет, который ей опротивел. Только несомненные доказательства моей любви к ней, из которой я обрек себя на странническую жизнь, для отыскания ее, убедили Петронеллу последовать за мною. Она чрезвычайно обрадовалась, узнав о перемене твоей участи, и воссылает мольбы ко Всевышнему о твоем счастии, в воздаяние за все, что ты для меня сделал. Она, разумеется, много переменилась, но с утратою юности не потеряла красоты. Легкомыслие ее исчезло, и она сделалась те-

перь строгою к себе и снисходительною к другим, именно вопреки обычаю женщин, руководствующихся тщеславием даже в самом исправлении. Ты, верно, захочешь знать, что сделалось с Гологордовским и его семейством. Тесть мой, проживая более, нежели позволяло его состояние, делая беспрестанно новые долги и не уплачивая старых и следуя советам жида-арендатора в своих торговых оборотах, должен был наконец объявить себя банкрутом. Ты знаешь, что в древней Польше законы для целого королевства составляли сами дворяне, следовательно, в этих законах все придумано для выгод одного дворянства. Кажется, нет ничего справедливее, как продать имение банкрута с публичного торга и вырученными деньгами удовлетворить должников. Чтоб властители имений не могли делать долгов, превышающих цену имения, кажется, справедливо было бы, чтоб каждое имение было оценено и каждый долг вносился в судебную книгу с обеспечением на имении. Тогда кредиторы ничего бы не теряли, разве одни процен-

ты. Но, невзирая на то, что в Польше были умные люди и часто составляли мудрые постановления в политическом отношении, однако ж касательно долгов дворянских, уплаты податей и других денежных дел, безумное veto (не позволяю) превращало благие намерения в постановления безобразные. Обанкротившийся тесть мой объявил экздивизию, или раздел имения между кредиторами, на основании литовских законов. Заимодавцы выбрали от себя судей, или арбитров, из окрестных дворян, предоставляя тестю моему законное право выбрать судей также с своей стороны. Кроме того, составили канцелярию из нескольких регентов, или секретарей и писцов, и каждая сторона выбрала себе адвоката. Имение взято в заведование суда, но только на бумаге, а отдано в управление теще моей, которая за внесенное в дом приданое и по векселям, данным ей накануне банкрутства, была также кредиторкою своего мужа. В назначенный срок съехались судьи, регенты и адвокаты, каждый с своими людьми, лошадьми, собаками. Всех

должно было кормить и угощать на счет имения, принадлежащего кредиторам. Дело тянулось чрезвычайно долго, потому что судьям и канцелярии приятно было жить на чужой счет, в веселом обществе. Г. Гологордовский, чтоб привлечь судей на свою сторону, угощал их великолепно (на счет кредиторов), созвал на время экс-дивизии всех своих родственников, у которых были прекрасные дочери, давал балы, охотился и жил веселее прежнего. Судьи играли в карты, волочились, влюблялись, пили, танцевали, а канцелярия между тем работала мало-помалу, по побуждению адвокатов, которые поспешали, чтоб скорее получить награду. Наконец, по истечении двух с половиною лет, кончилась экс-дивизия. Имение разделили на плане, как шахматную доску, и участки раздали кредиторам по мере их претензий. Моей теще отдали самую лучшую часть, которая стоила втрое более ее приданого; другим именитым кредиторам и родственникам г-на Голо-гордовского дали участки с крестьянами, а между бедными кредиторами и от-

сутствующими разделили болото, бесплодные заросли и песчаные степи, оценив эту бесполезную землю дороже индейских полей, покрытых корицею, гвоздикою и сахарным тростником. Тесть мой сделался гораздо богаче после эксдивизии, нежели как был прежде, потому что получил самую лучшую часть имения, а бесплодною землею и малым пожертвованием уплатил долги, вдвое превышавшие имение. Кредиторы же, уплатив проценты с долгу судьям, жалованье канцелярии, адвокатам, за помер земли землемерам, и казенные пошлины с приобретенных участков, вовсе разорились. Некоторые даже вовсе отреклись от своих требований, чтоб избавиться от издержек, вдвое превышающих долг.

Гологордовский жил недолго после этого счастливого с ним происшествия и умер от желчной лихорадки, рассердившись, что губернский маршал, которого дед был бедным шляхтичем и служил у деда Гологордовского, сел выше его в церкви и был позван обедать к губернатору, тогда как

тесть мой не удостоился сей чести. Последние слова его были обращены к жиду-арендатору, которому он сказал: „Иосель, быть преставлению света! Прежде гром не смел тронуть польского шляхтича[38], а ныне губернатор, родом из татар, не зовет обедать к себе жемчужину шляхетства, первого в роде Гологордовских?“ Вымолвив сие, он горько улыбнулся — и Богу душу отдал.

По счастию, в Белоруссию приехал по делам своим помещик Гродненской губерний, Подкоморий Почтивский. Он влюбился в мою свояченицу, Цецилию, и как род Почтивских столь ж был знаменит и многочислен в Гродненской и Виленской губерниях, как род Гологордовских в Белоруссии, то теща моя согласилась выдать дочь свою за этого помещика. Между тем шурья мои окончили воспитание свое в иезуитском коллегиуме, где, по крайней мере, вперили в них дух бережливости. Теща отдала имение в управление сыновьям, а сама поселилась у дочери своей, в Гродненской губернии.

Узнав все эти подробности, мы из Кра-

кова поехали прямо к г-ну Почтивскому. Не доезжая до господского двора, мы остановились в корчме, чтоб переодеться. К удивлению моему, корчма была порядочная, с гостиными комнатами, и содержана в чистоте. В корчме не было жида; ее содержал христианин, столяр, который в отдельной комнате занимался своим ремеслом, а жена его управляла хозяйством и торговала водкою.

— Отчего здесь нет жида? — спросил я хозяйку.

— Барин выгнал жидов из всех своих вотчин и запретил им не только торговать вином, но даже жить по деревням. Оттого в десять лет наши крестьяне так поправились, что все окрестные помещики нам завидуют.

— Верно, наш барин радеет о благе своих крестьян?

— Он отец, а не барин. В десять лет, как он сам хозяйничает, он удобрил все поля, свои и крестьянские, размножил стада, дал крестьянам лошадей, перестроил их домы, завел школу для детей и печется о здоровье и состоянии своих мужиков более, нежели о

своем собственном; и за то он любим и уважаем всеми.
Мне приятно было слышать такие речи о моем свояке, и мы с нетерпением поспешили к нему в дом. Не стану тебе описывать радости при свидании моей Петронеллы с матерью и сестрою, которые почитали ее погибшею. Цецилия была счастлива с благородным и умным своим мужем: она имела уже двух сыновей, прелестных малюток, и была беременна третьим. Мы с первого дня подружились с Почтивским. Он воспитывался в Виленском университете и при выходе получил по экзаменту степень доктора философии, путешествовал по Европе и, возвратясь в отечество, вознамерился заняться устройством своего имения, которое разорено было опекунами, во время его малолетства. Почтивский говорит довольно хорошо по-русски, любит вообще все славянские наречия и почитает все славянские племена кровными, всех славян братьями, которые должны любить друг друга взаимно и общими силами стремиться к просвещению, к возвышению

литературы, чтоб занимать почетное место во всемирной республике наук и словесности. Не стану описывать тебе всего порядка в доме Почтивского: скажу только, что в нем не было ни пленипотента, ни комиссара, ни жида-поверенного; что у него не было ни долгов, ни процессов; словом, все делалось вопреки тому, как было в доме покойного Гологордовского.

Прожив два месяца в доме Почтивского, я получил известие из Киева, что Авдотья Ивановна, ожидая нетерпеливо смерти моего дяди, чтоб воспользоваться его духовною, впала наконец в чахотку от сильного крика и попалась в когти смерти прежде моего дяди, который находится в отчаянии, что некому его мучить. Говорят, что дочь Авдотьи Ивановны, Лиза, поспешает с муженьком своим в Киев занять место покойницы. По совету друзей моих отправляюсь в Киев и употреблю все старания, чтоб примириться с дядею. Не знаю, чем это кончится, а между тем будь здоров и пиши ко мне в Киев».

Глава XXVIII
Молодой барич. Глупашкин. Любитель драматического искусства
Расстройство в разбойничьем вертепе. Беда. Бегство Груни. Честность в волчьей шкуре, или Не должно встречать по платью. Эгоист

Молодые люди лучшего московского общества собрались ехать на охоту, к одному юному кандидату в банкруты, который, истощив весь свой ум на мотовство в городе, выдумал новое средство сорить деньгами в своей подмосковной деревне. Он устроил театр, завел большую псовую охоту и открыл в доме своем род бесплатного трактира. На эту охоту приглашены были также дамы, родственницы хозяина, с своими знакомыми, и Анета, кузина Миловидина, убедила меня сопутство-

вать ей на это празднество. Отсутствие мое долженствовало продолжаться не долее недели, и я, простясь с Грунею, отправился в путь.

Мы провели время весьма приятно. Хозяин, Фалелей Глупашкин, хотел непременно играть роль английского лорда. Деревенский дом его был великолепно убран выписными мебелями, картинами, статуями, бронзами. Конюшня его вмещала в себе более ста английских лошадей; на псарне было более трехсот собак разной породы. Между прислужниками было множество иностранцев: англичан, немцев и французов. Для компании он держал француза, называвшегося литератором, который был его домашним секретарем; англичанину он платил большое жалованье для того только, чтоб, разговаривая с ним, усовершенствоваться в произношении английского языка. Итальянец, старый плут, жил в доме, как приятель. Он пользовался славою знатока в живописи, археологии и музыке. Итальянец торговал ученическими итальянскими картинами, мозаиками, фальшивыми антиками и вместе с этим был ростовщиком и любовным вестником. Немец, биб-

лиотекарь, служил за малую цену, более из любви к каталогам, которых было множество в библиотеке. Глупашкин купил целую труппу крепостных актеров у одного промотавшегося любителя драматического искусства, Харахорина, который при потере имения утешал себя тем, что играл на всех домашних театрах и управлял бывшею своею труппою. Оркестр Глупашкина составлен был также из крепостных людей, собранных из разных домашних оркестров. В доме было около пятисот жителей, питавшихся на счет Глупашкина и служивших единственно к его забаве. Нельзя было удержаться от смеха, смотря на важный вид безбородого сумасброда, который, воображая себя великим человеком, говорил обо всем решительным тоном, судил о политике, перетолковывая суждения своего компаньона-англичанина; произносил приговоры в литературе со слов своего француза и говорил об искусствах по внушению итальянца. Многие из нашего общества, не имея никакого понятия о предметах, о которых говорил Глупашкин, и зная в науках одни имена, почитали его чудом мудрости и, пресыщаясь

за его столом, утверждали громогласно, что Россия была бы счастлива, если б Глупашкин был министром. Он сам так думал и, в ожидании первого звания в государстве, записался в Коллегию иностранных дел, для переводов с русского языка на французский. Должно сказать по справедливости, что начальники имели причину быть им довольными: он исправлял дело очень хорошо. Один бедный студент переводил для него, за деньги, русские бумаги на французский язык слово в слово, а француз-компаньон переделывал их и сообщал выражениям французские обороты. Таким образом Глупашкин, исполняя в точности поручения начальства, имел полное право требовать наград и повышений, и не без основания надеялся достигнуть до важных степеней. Не он один успел приобресть награды чужим умом и чужими трудами: не один Глупашкин прослыл дельцом и великим политиком, повторением слов своего компанеона!

По утрам мы ездили на охоту, после того обедали, потом присутствовали при представлении трагедий и балетов под руководством Харахорина, наконец танцевали, играли в

карты и ужинали. Соскучиться было невозможно, потому что Харахорин представлением каждой трагедии доставлял нам предмет для смеху на целые сутки. Он был уверен, что в целом мире нет лучше его декламатора. Он ломался ужасным образом, ревел стихами нараспев, как раненый медведь, шагал и размахивал руками, как исступленный. Чтоб приучиться носить ловко одежду древних героев и маркизов 18 столетия, он всегда одевался в театральный наряд с утра, в день представления, румянился и говорил со всеми, даже с служителями, театральным тоном. Рассказывали об нем, что, собравшись однажды играть на домашнем театре за городом, он с утра отправился туда в театральном костюме. На заставе остановили карету, чтоб спросить у него чин и фамилию. Харахорин объявил настоящее свое звание; но караульный унтер-офицер, приняв его за паяца-самозванца, отправил в съезжий двор, а дежурный квартальный, не слушая его возражений, отвез в дом умалишенных, где продержали бедного Харахорина до тех пор, пока приятели его не выручили, убедив начальство, что он просто

дурак, а не сумасшедший. Харахорин всю свою труппу образовал по своему понятию о декламации, а из этого вышло, что зрители принуждены были плакать в комедиях и смеяться в трагедиях. Балеты его состояли из прыжков, которые тогда только были непротивны, когда танцовщицы были недурны собою. Я бы долее остался в доме Глупашкина, но по несчастью, мне отвели одну комнату с Харахориным, и он так измучил меня чтением своей диссертации о драматическом искусстве, основанном на любви к отечеству, что я отказался от всех забав и на шестой день бежал от него в Москву.

Приехав домой, я узнал от моего Петрова, что полицейский чиновник приходил ко мне ежедневно по нескольку раз справляться, дома ли я, чтоб объясниться со мною по какому-то делу. Я велел подать себе чаю и едва принялся за чашку, как Петров доложил, что полицейский чиновник снова явился и требует позволения войти. Он вошел скромно и поклонился весьма вежливо. Хотя физиономия его была невыразительна, но какая-то простота и добродушие в приемах предупреждали в

его пользу. Мундир его был вытерт, как мостовая, шляпа отзывалась прошлым столетием, и ефес шпаги казался вороненым. Он поклонился мне и сказал:

— Начальство мое сносилось с вашим, и мне поручено побеспокоить вас предложением вопросных пунктов, на которые вы должны отвечать немедленно.

— Что такое случилось? — спросил я с беспокойством.

— Будьте хладнокровнее, — отвечал полицейский чиновник. — Присядемте и станем читать вместе.

Подали чернилицу, и я тотчас отвечал на следующие вопросы:

— Давно ли коллежский секретарь Выжигин знаком с актрисою Аграфеною Степановною Приманкиной?

— От детства: я познакомился с нею еще при жизни матери ее, титулярной советницы Штосиной.

— Давно ли Выжигин знаком с князем Плутоленским, графом Тонковориным, Зарезиным, Удавичем и Ядиным?

— Я познакомился с ними в доме Приман-

киной, года полтора пред сим.

— Знал ли Выжигин о намерении вышереченных лиц обыграть на верную двух братьев Дуриндиных, недавно вышедших из-под опеки и взявших триста тысяч рублей в Опекунском совете, под залог имения?

— Не знал и в первый раз слышу о сем намерении и о Дуриндиных.

— Был ли Выжигин в доме вышереченной Приманкиной, когда происходила игра между вышеименованными лицами, когда они опоили Дуриндиных каким-то вредным зельем и когда впоследствии произошла драка, в которой Зарезину вышибли левый глаз, Ядину разбит нос, у князя Плутоленского вырвана огромная правая бакенбарда, Удавичу разбит лоб бутылкой, у графа Тонковорина перешиблен указательный перст, а Дуриндины получили опасные раны в голову и в грудь, от которых теперь лежат при смерти?

— Не был, а находился в подмосковной деревне у г-на Глупашкина и теперь только возвратился, пробыв в отсутствии шесть дней.

— Не знает ли Выжигин, где укрылась от поисков полиции вышереченная Приманки-

на, обвиненная всеми вышеименованными лицами в том, что она заманила к себе в дом Дуриндиных, опоила их зелием и призвала вышереченных: Плутоленского, Тонковорина, Зарезина, Удавича и Ядина, к обыгранию Дуриндиных, возбудив их к драке, когда; Дуриндины не хотели платить проигранных денег?

При сих словах перо выпало у меня из рук.

— Как, Груня скрылась, Груня оставила меня! — воскликнул я в отчаянье и бросился на софу, закрыв лицом руками.

— Аграфена Степановна, называющаяся Приманкиною, изволила уехать из Москвы неизвестно куда, — отвечал полицейский офицер хладнокровно, — и поелику по допросу служителей оказалось, что вы изволили ежедневно по нескольку раз посещать вышереченную Аграфену Степановну и жили с нею в тесной дружбе, то начальство за благо рассудило взять с вас показание, не знаете ли вы чего-либо о сем происшествии и о месте укрывательства вышепоименованной Приманкиной.

— Я ничего не знаю, и видите, в каком на-

хожусь положении, узнав о несчастии Приманкиной, которую я люблю, на которой хотел жениться... и теперь... всего лишаюсь!

— Я уже записал в протокол о том изумлении, в которое вы пришли при сем известии, и почитаю это доказательством, что вы не знаете о случившемся, — сказал полицейский чиновник.

Пока он писал и приводил в порядок свои бумаги, я несколько успокоился, раздумав, что в этом несчастном происшествии лучшее для Груни то, что она избегнула преследований полиции, и утешался, что, может быть, этот случай заставит ее последовать моим советам и обратиться на путь чести. Я надеялся найти ее, оправдать посредством моих дружеских связей; одним словом: грусть моя переменилась вдруг в радость.

— Господин офицер, — сказал я, — присягою готов я утвердить мои показания и признаюсь вам откровенно, что одно отсутствие спасло меня. Если б я был в Москве, во время этого происшествия, то, может быть, невольно был бы увлечен в это дело. Теперь отдохните, выкушайте со мною чашку чаю и рас-

скажите мне подробнее эту гнусную историю.

— Вы мне кажетесь человеком добрым и откровенным, — сказал полицейский чиновник, — и потому я также буду с вами искренен, тем более что в соседстве все говорят об вас хорошо, и на повальном обыске объявили, что вы человек благодетельный, щедрый и смирный. Ваш слуга, Петров, клянется, что лучше вас нет барина в целой Москве.

— Полно, без предисловий! Скажите, что знаете, успокойте мое любопытство: я буду вам благодарен.

Полицейский чиновник встал с своего места, подошел к дверям на цыпочках, заглянул в другую комнату, потом возвратился тихими шагами, сел и, оглянувшись на все стороны, начал говорить вполголоса:

— Я маленький человек, квартальный надзиратель, безгласный исполнитель воли начальства, но, благодаря Бога, я не глух, не слеп, имею немножко ума и чистую совесть. Что вы так изволили вытянуть шею? Что вы так странно на меня смотрите, Иван Иванович? Да, сударь, я имею чистую совесть и оттого... — При сем квартальный надзиратель

показал на свой изношенный мундир и рыжую шляпу и продолжал: — Частный пристав знал, что в доме Приманкиной ведется большая и нечистая игра и что там собираются главнейшие московские карточные разбойники. Но это его оброчные мужички, которых он бережет, как добрый помещик своих исправных крестьян, и так, невзирая на мои рапорты, дело шло своим порядком. Драку с Дуриндиными предали бы забвению, если б не поступила жалоба от их дяди, человека в силе, который деньгами и угрозами заставил Зарезина во всем признаться. Тогда Удавич предложил своим товарищам и частному приставу свалить всю вину на Аграфену Степановну, на том основании, что место для игры можно открыть новое, а таких лихих игроков взять неоткуда. Между тем стороною дали знать Приманкиной, чтоб она скрылась, и дело приняло другой вид. Но как виноватого непременно надлежало открыть и наказать для успокоения дяди Дуриндиных, то в жертву принесли изменника Зарезина и выслали его за город, а Ядина посадили на гауптвахту. Прочих не тронули, а атаман их, Удавич,

остался цел и невредим, разумеется, до поры до времени. Провидение рано или поздно накажет преступника. Иван Иванович! я все знаю. Послушайте доброго совета: отвяжитесь от этих проклятых игроков, которые со временем доведут вас до погибели. Забудьте коварную прелестницу, Приманкину, которая льстила вам, а между тем любила французика, странствующего комиссионера по торговым делам одного французского фабриканта, и уехала с ним в Париж. Я прервал речь квартального надзирателя и воскликнул:

— Довольно, довольно! вы убиваете меня!

Оскорбленное самолюбие, обманутая любовь произвели во мне сильное волнение. По счастью, я мог плакать, и это несколько облегчило мое сердце.

— Итак, Приманкина уехала в Париж? — спросил я.

— Это верно, — отвечал надзиратель. — Мне все рассказала служанка ее, Катерина, невеста нашего унтер-офицера. Она говорит, что Аграфена Степановна очень и очень любит вас, но что вы слишком нежны и мучите ее своею ревностью; напротив того, францу-

зик был весел, и не только не ревнив, но утешается победами Аграфены Степановны. Она предпочла французика и, уезжая с ним, горько плакала об вас.

Я мучился, как в пытке, при этом рассказе, но природная гордость и остаток здравого рассудка меня укрепили. Помолчав немного, я собрался с духом и сказал:

— Зачем же вы предлагали мне вопросные пункты, когда знаете, что я не участвовал в деле Дуриндиных и не знал о бегстве Приманкиной?

— Это, сударь, форма. Частный пристав, чтоб показать свое усердие и старание к открытию истины, напутал как можно более имен и собрал множество показаний. По числу допрошенных лиц и по толщине дела будут судить о верности исследования.

Мне не хотелось оставаться одному, и я предложил надзирателю поужинать со мною. Он согласился, и пока Петров собрал на стол, я ходил большими шагами по комнате, рассуждая о моем положении и о вторичной измене Груни, два раза доведшей меня до несчастия. В первый раз я потерял свободу от люб-

ви к ней; теперь, потеряв свой капитал, едва не лишился доброго имени, попал в общество грабителей и сделался участником, и по крайней мере, поверенным их обманов. Из чего такие жертвы? Из любви к неверной, к недостойной этого благородного, возвышенного чувства! Нет, думал я, пора сделаться человеком достойным благородной крови Милославских. Начну преодолевать страсти, и первая жертва: любовь к Груне.

Я рассуждал хорошо и на этот раз последовал рассудку оттого, что Груни не было при мне. Не ручаюсь, что было б со мною, если б во время борения во мне страсти явилась Груня, во всем блеске своей красоты, с очаровательным своим красноречием, с нежными своими ласками. Но, по счастью, Груня была далеко, и я восторжествовал над собою. Поплакав, посердившись, подосадовав, побранив свет, людей, и особенно женщин, правду сказать, на этот раз вовсе понапрасну, я подошел к надзирателю и, хлопнув рукою по его руке, или, лучше сказать, по засаленной перчатке, сказал:

— Благодарю вас за добрый совет. Отны-

не — я другой человек.

Не будучи в состоянии сам есть, я утешался аппетитом доброго надзирателя. Чтоб рассеять себя, я попросил его рассказать мне, каким случаем попал он в полицию, отчего служит до сих пор без повышения и каким образом совесть его, плавая по такому бурному морю, избегла кораблекрушения? Архип Архипыч хлебнул вина, гаркнул, кашлянул, поправил галстух и начал свой рассказ:

— Воля ваша, а я верю, что нельзя избегнуть того, что кому на роду написано. Отец мой был дворецким у одной барышни, Лукерьи Семеновны Порядкиной, и за верную службу отпущен на волю со всем своим семейством. Нас было два сына у отца; матери мы лишились еще в младенчестве. За нами некому было присматривать в господском доме, и мы росли на воле. Величайшее мое наслаждение в детстве было сражаться с полицейскими служителями: я швырял в них из-за угла камнями, задевал петлею за ногу, когда который из них проходил вечером мимо ворот, обливал их водою и делал всякие шалости. Ненависть моя к ним происходила от-

того, что они однажды взяли под стражу моего отца, а когда он дерзнул жаловаться, обошлись с ним невежливо, то есть прибили и содрали деньги — за чужую вину. За детское мое мщение мне достается целый век от полиции и, наконец, придется умереть с голоду, на съезжем дворе!

Отец мой нанял дьячка учить нас грамоте; но как дьячок сам знал немного, то и выучил нас малому, а сверх того, у всякого свой талант — а мне грамота не далась. Писать и читать я умею, рассказываю кое-как; по крайней мере, есть люди, которые меня слушают с удовольствием; но как придется изложить на бумаге, то, что легко высказать языком, вот тут и станешь в тупик. Бьешься как рыба об лед; нет, нейдет с пера! Небольшая беда, что я в разладе с ятями, ериками, точками и запятыми: и наши дельцы не более меня в этом разумеют; но все горе оттого, что не могу выписать так, как думаю и как могу высказать. Если бы можно было писать языком, вместо пера, то, может быть, у нас было бы более писак и я также попал бы в грамотеи.

В господской службе мне не хотелось оста-

ваться, и я не знал, что с собою сделать после смерти моего отца, который был человек честный, богобоязливый и не оставил нам ни копейки, управляя лет тридцать домом своей госпожи. Старший брат мой вступил в службу писцом в Гражданскую палату и скоро до того наметался, что прослыл грамотеем. Я достал себе маленькое местечко при городском запасном магазине, при покровительстве градского главы, который знал покойного моего отца. На этом месте я едва имел хлеб насущный. По счастью, старший сын нашей прежней барыни, служивший в армии, сделан был в Москве полицеймейстером. Явившись к нему, я рассказал ему о несчастной моей участи и просил покровительства; он причислил меня к своей канцелярии и стал употреблять по особым поручениям.

Сергей Семенович Порядкин был человек честный, правдолюбивый, желал добра и делал его, где мог, и даже искал к тому случаев. Но будь человек семи пядей во лбу, имей доброе сердце величиной с полицейскую будку, все-таки он один ничего не сделает, если не будет иметь помощников, и кончит тем, что

схватит с сердцов чахотку, как то случилось с добрым Сергеем Семеновичем. «Архипыч, — сказал мне мой начальник, — я удостоверился, что ты честный человек. Смотри, наблюдай, открывай мне все беспорядки, а за Богом молитва, за царем служба не пропадают. Помни, что звание полицейского чиновника, охранителя спокойствия и безопасности граждан есть звание почтенное, если только чиновник действует по закону и по совести. Не бойся никого — я твоя защита!»

Я вскоре ознакомился со всеми полицейскими делами и стал действовать. Я открыл, что секретарь Сергея Семеновича берет подать с чиновников, с откупщиков, с торговцев будто бы для своего начальника. К секретарю мы приехали ночью, обыскали его комоды, нашли деньги, билет сохранной казны и переписку с разными лицами. Допроси ли, и как он не мог показать и доказать, откуда набрал в короткое время столько денег, то их отдали в Приказ общественного призрения, а секретаря выгнали из службы Я открыл, что один чиновник умышленно делает проволочки при взыскании долгов и при описи име-

ний по решению су дебных мест, что он бьет дворников тех домов, которых хозяева не хотят дарить его, берет деньги с лавочников, винопродавцев и мясников, за позволение торговать испортившимися товарами и припасами. Чиновника отставили. Я открыл, что в одном месте позволяют жить ворам и тогда только отдают на жертву некоторых из них, когда дело слишком гласное и когда надобно отличиться в скором отыскании вещей, покраденных у знатных господ. Чиновника предали суду, воров переловили и сослали в Сибирь. Я донес, что в питейные домы впускают солдат, и только тех продавцов берут в полицию, на которых доносят сами досмотрщики откупщиков, по личным неудовольствиям. Злоупотребление прекращено, и виновные наказаны. Я открыл пристанодержателей, торговцев краденными вещами, переделывателей краденых вещей; открыл сношения свободных воров с заключенными в тюрьме и этим пресек источник богатых доходов для многих лиц. Наконец, я решился на отчаянное дело. Добрый Сергей Семенович, как человек, имел свои слабости. Он был влюблен в

одну женщину, недостойную благородного его сердца. Она брала деньги с просителей и в минуту слабости выманивала у почтенного моего начальника согласие на решение дел по ее желанию, разумеется, всегда представляя дела в самом лучшем виде. Я собрал несомненные доказательства лживости и корыстолюбия этой хитрой женщины и представил Сергею Семеновичу. Бедненький! он даже заплакал — но победил страсть свою и бросил гнусную торговщицу его доброй славы. В три года он произвел меня в титулярные советники, дал мне вот этот крест и определил частным приставом в самой лучшей части города.

Вы можете догадаться, что на меня все смотрели, как на пугало, и рады были бы сжить с этого света. Пробовали разными средствами погубить меня, но пока был жив Сергей Семенович, все усилия злобы были напрасны. Я вел себя честно, ничем не пользовался, и как жалованья было недостаточно для моего содержания, потому что надлежало иметь лошадей для разъездов и быть всегда чисто одетым, то Сергей Семенович позволял мне брать добровольные приношения от бла-

годарных людей, когда я отыскивал покражу, взыскивал долг или открывал утаенное имение должника, и, кроме того, отдавал в мою пользу конфискованную контрабанду, штрафы за нерадение и тому подобное. Сергей Семенович, как я выше сказал, не мог долго выдержать борьбы с злоупотреблениями. Пылкость его характера, неусыпность, труды и беспокойства расстроили его здоровье. Он умер, и с ним схоронил я мое счастье.

Преемник его был также человек благонамеренный; но он имел своих доверенных людей, которых польза состояла в том, чтоб погубить меня. Он не знал меня и поверил моим врагам. Подо мною стали подыскиваться. В мою часть впустили целую стаю воров, стали подкидывать мертвые тела, найденные в других частях; обременили ложными доносами, завели переписку и опутали меня крючками и привязками. Кончилось тем, что у меня отняли часть и ради Христа дали место квартального надзирателя, с тем условием, чтоб я не видал далее своего носа, заткнул уши и, укоротив язык, держал его за зубами. Вот я пятнадцать лет живу день за день, питаюсь

где попало и как попало у добрых людей и едва имею чем прикрыть свою наготу, тогда как, вчерашнего еще числа, жена моего частного пристава (которому три года пред сим не на что было купить табаку) имела на себе бриллиянтов на 12 000 счетом да турецкую шаль в 2500 рублей. Терпи, казак, — атаманом будешь!

Между тем брат мой сделался важным и богатым человеком: он имеет первое место при знатном чиновнике в Петербурге и ворочает делами. Я писал к нему письмо и просил, чтоб он позволил мне приехать к нему в Петербург и достал местечко посредством его начальника. Он мне отвечал на это письмом, которое я всегда ношу в своем бумажнике потому, что мне нечего класть туда и что оно весьма для меня занимательно. Вот оно.

Архип Архипыч вынул письмо из бесцветного своего бумажника и дал мне прочесть. Оно заключало в себе следующее:

«„Любезный брат“!
Ты желаешь приехать ко мне в Петербург и остановиться у меня. Это невозможно. Я принужден так много

проживать с большим семейством и в отличном кругу моего знакомства, что не могу дать тебе ни копейки на проезд. Правда, квартира у меня казенная и на вид довольно большая, но она так распределена, что я никак не могу поместить тебя, „любезный брат“. В одной комнате мой кабинет, в другой кабинет жены, в третьей спальня, в четвертой гостиная, в пятой спят мои дочери, в шестой два сына, в седьмой учебная дочерей, в осьмой учебная сыновей, девятая зала, десятая столовая, в одиннадцатой живет мадам француженка, в двенадцатой француз гувернер, тринадцатая девичья, в четырнадцатой живут два мои писца, пятнадцатая лакейская, шестнадцатая гардероб, семнадцатая для складки бумаг, осьмнадцатая маленькая приемная для просителей, с которыми надобно объясняться „наедине“. Внизу людская, кучерская; там чуланы, кладовые, и, словом, нет порожнего места, где бы можно было прилечь коту, а не только тебе, „любезный брат“. За стол у меня садятся всякий день, нас домашних восемь человек, да, кроме

того, мой секретарь, дежурный чиновник, два молодые барича, которые отданы мне на руки, чтоб вывести их в люди; а сверх того, надобно всегда иметь лишних три, четыре куверта, на всякий случай, если кто нечаянно пожалует. Времена же нынче дорогие, и доходы плохие, и так хотя я рад бы поделиться с тобою последними крохами, но обстоятельства на преграде, „любезный брат“! Дети мои воспитаны по-нынешнему, все говорят на многих языках, знаются с знатными и богатыми людьми, итак, появление бедного дяди, отставного полицейского чиновника, было бы им неприятно и могло бы повредить им в общем мнении, любезный брат. Что же касается до местечка, которое ты желаешь получить чрез посредство моего покровителя и благодетеля, то я откровенно скажу тебе, „любезный брат“, что я не могу тебе быть полезным в этом случае. Благодетель мой не любит, чтоб его просили об чем-нибудь, еще более не терпит просить за кого бы то ни было. Милость свою раздает он по капельке, и так я должен беречь его

для себя и для своих детей, как добрый отец семейства, как человек нравственный. Оставайся в Москве, „любезный брат“, и положись во всем на Бога, которого я не престану умолять, да сохранит тебя в своей святой деснице и да ниспошлет тебе все блага земные, чего желает искренно, „нежно любящий“ тебя „брат Пантелеймон“. P. S. Не беспокойся, „любезный брат“, и не пиши ко мне. Ныне почта дорога, и я так занят делами, что не могу всегда отвечать тебе. О драгоценном твоем здоровье я наведываюсь от приезжающих из Москвы. Общие наши приятели обвиняют тебя, что ты, имев случай составить себе состояние, упустил его и, сверх того, наделал себе множество врагов: они могут повредить мне, если узнают, что я вступаюсь за тебя. Итак, прошу тебя, „любезный брат“, не говори никому, что мы братья, а сказывай, что однофамильцы. Я уверен, что, по родственной любви, ты сделаешь это для меня, пока откроется случай, где я могу быть тебе полезным».

— Хорош братец! — воскликнул я, возвра-

щая письмо Архипу Архиповичу, который спрятал его с улыбкою и собирался оставить меня. Я вышел в кабинет, и, вынув из бюро сто рублей, возвратился в комнату, и просил Архипа Архипыча принять, как от приятеля. Он отказался следующими словами:

— Если б я пришел к вам не за делом, то взял бы деньги, но теперь не могу. Это не в порядке вещей, и подарок ваш будет иметь вид подкупа.

Я прижал доброго Архипыча к сердцу и утешил его уверением, что честность его, хотя поздно, но получит награду. Архип Архипыч поднял вверх указательный палец и сказал:

— Там моя надежда! — Он утер кулаком слезы и вышел из комнаты.

Глава XXIX
Намерение жениться. Подьяческая арифметика. Знакомство с богатым откупщиком Пирушка в доме купца Мошнина. Его семейство. Домашний театр

Навестив матушку в монастыре, я чрезвычайно удивился, что она знает о происшествии в доме Груни, о моей с нею дружбе и даже о моем поведении. Со слезами умоляла она меня быть осторожнее в связях и избрать для своего пропитания род жизни, не столь опасный, как сообщество с игроками. Я обещал перемениться, и обещал искренно. Не будучи в состоянии преодолеть мое любопытство, я спросил у нее, каким образом, в удалении от света, она узнала о средствах, которыми я приобретал деньги, и о связи моей с Грунею?

— Вести разносятся по воздуху, как туман,

любезный Ваня, — сказала матушка. — Наши старицы посещают многих богомолок, живущих в городе; они также ездят к нам, так нельзя же, чтоб городская новость не перешла чрез монастырскую ограду.

Я крайне испугался, что слух о Грунином происшествии, в котором замешано было мое имя, разнесся по городу. С беспокойством оставил я матушку и поехал на вечер к одному отставному вельможе, которого сын имел значение в Петербурге, и оттого к нему собиралась целая Москва. Со страхом и трепетом я вошел в залу. Гости поглядывали на меня с любопытством, перешептывались и как будто удивлялись моему присутствию. Один из моих приятелей отвел меня на сторону и спросил, что со мною случилось, и правда ли, что я попал в неприятную историю, по связи моей с бежавшею актрисою? Я отвечал решительно, что ничего не знаю, что был целую неделю у Глупашкина и, возвра-тясь в город, услышал, стороною, что в доме Приманкиной подрались за игрою и что она тайно уехала из Москвы. Я нарочно говорил громко, и вскоре вокруг меня составился кружок, в котором я,

с притворным смехом, рассказал происшествие в доме Груни, прикрашивая повествование каламбурами и представляя дело в смешном виде. Вскоре в целом собрании узнали, что я нимало не причастен этому происшествию, и все сомнения на мой счет исчезли. Дамы объявили меня безвинным, а юноши даже завидовали, что меня подозревали в тесных связях с Грунею. Только кузина Анета не поверила моему оправданию и, нашед случай поговорить со мною наедине, сказала дружеским тоном:

— Любезный Выжигин! я все знаю и все простила вам, но, ради Бога, будьте осторожны и не связывайтесь с актрисами. С вашим лицом, с вашею любезностью вы можете быть счастливы в лучшем кругу. Не унижайте себя. Женщины все для вас сделали, чего вы только желали; они простят вам все, кроме волокитства вне своего общества. Помните это и исправьтесь!

Я в самом деле стал раздумывать, каким образом содержать себя в свете честными средствами. Не занимавшись никогда делами и только считаясь в службе, я не надеялся

вскоре достичь до такой степени, чтоб содержать себя письменною работой. К тому же в моем чине нельзя было надеяться получить большое жалованье, а от взяток я имел непреодолимое отвращение. У меня еще оставалось несколько тысяч рублей и несколько драгоценных вещей. Я стал жить весьма скромно, отпустил всех своих слуг, продал богатые мебели, экипаж и, наняв маленькую квартиру, оставил в услужении одного Петрова и никогда не сказывался дома приятелям, которые приезжали ко мне, чтоб заманивать к забавам и издержкам. Я обедал каждый день в гостях, играл в небольшую игру, танцевал на всех вечерах, любезничал; время проходило, но я никак не мог придумать, что сделать с собою.

В это время один из моих приятелей, промотавшийся дворянин, женился на воспитаннице богатого человека. Этот случай возбудил во мне мысль, поправить или, лучше сказать, упрочить свое состояние женитьбою. Но где искать невесты? При всем моем самолюбии, я не осмеливался свататься в знатных домах, где порода и связи составляют главное досто-

инство жениха. Богатые воспитанницы очень редки; пожилые богатые вдовы выходят вторично замуж более по расчетам честолюбия. Новое дворянство ищет связей с старинными фамилиями, а сии последние с богатыми. Я решился поискать невесты в купеческом звании, но, не имея никаких связей с купцами, не знал, как за это приняться. Однажды, возвращаясь домой, противу моего обыкновения, в шесть часов вечера, я встретил у моих дверей старушку, одетую очень порядочно, в кофте, с шелковым платком на голове.

— Кого тебе надобно, бабушка?

— Вашего человека, Петрова, батюшка барин: я ему кума.

— А кто ты такая? — спросил я из любопытства.

— Повивальная бабка, родимой, а в случае нужды — сваха.

— Прекрасно! поди-ка, бабушка, к Петрову, а после я позову тебя к себе.

Чрез полчаса я велел старушке прийти к себе в кабинет.

— Кого же ты сватаешь?

— Кого угодно, сударь: купцов, чиновни-

ков и даже бар.

— Есть ли теперь богатые невесты?

— Как не быть! У нас довольно всякого товару, были бы покупщики.

— Попытка не пытка, а спрос не беда: если ты высватаешь мне богатую купчиху, то я тебя, бабушка, озолочу.

— Изволь, сударик, барин, у меня теперь на руках две купеческие невесты; да какие красивые, какие жеманные, как выучены! Говорят на всех немецких языках, пляшут заморские пляски, рядятся, как куколки...

— Хорошо, хорошо! Но много ли приданого? — спросил я словоохотную старушку.

— По сту тысяч деньгами за каждою, да по пятидесяти вещами, серебром, золотом, жемчугом, цветными камнями и всяким убранством.

— Бесподобно! Как же зовут этих почтенных девиц и их честных родителей?

— Отец, Памфил Меркулович Мошнин, родом из нашего Пошехонья, приписной к здешнему городу. Матушка, Матрена Евдокимовна, предобрая хозяюшка, дай Бог ей здоровья; деток у них восьмеро: два сына, уж взрос-

лые ребята, да три малые мальчика; три дочки: две невесты, а третья ребенок, лет пятнадцати.

— Как же зовут дочек?

— Старшая Акулина Памфиловна, средняя Василиса Пам-филовна, а младшая Лукерья Памфиловна.

— Которая же из них красивее?

— Полнее и румянее всех Акулина Памфиловна; Василиса немногим ей уступает, а третья худенька, да она еще ребенок.

— Как же мне начать сватовство?

— Я об вас поговорю с девицами, шепну Матрене Евдокимовне, убаюкаю всех тетушек, а ты, барин, познакомься с Памфилом Меркуловичем: он человек тороватый и любит всякого рода потехи. Господ у него собирается множество: он имеет много дел по разным подрядам.

— Хорошо, вот тебе десять рублей за первое доброе обо мне слово; ступай с Богом и поспешай с приятным известием: до свиданья!

Когда сваха ушла, я не на шутку стал раздумывать, каким бы образом состряпать эту свадьбу. Сто тысяч наличными деньгами и

родство с богатым подрядчиком почитал я величайшим благом в тогдашнем моем положении. Одна трудность: как познакомиться в доме? В кругу моих приятелей я не надеялся найти путеводители в дом Мошнина, а сверх того, не хотел никому из них открываться в моих намерениях. Я вспомнил, что видывал у Груни, за игорным столом, одного секретаря, над которым мы иногда подшучивали, говоря, что на его деньгах видны чернильные пятна. Однажды, крупируя, заметил я, как он пригнул лишний угол, и, не желая вводить его в неприятную историю, умолчал, а после игры дал ему это почувствовать. Секретарь обещал мне отслужить при случае, итак я решился ехать к нему и узнать, каким образом мне можно познакомиться с Мошниным, который, без сомнения, известен всем подьячим.

Мой Петров знал его квартиру, и я немедленно к нему отправился. Он жил в деревянном домике красивой наружности, в одной из отдаленных частей города. Я нарочно нанял карету. Лишь только карета четверней остановилась у крыльца, я тотчас приметил дви-

жение в доме: лакей отворил мне двери с поклоном и ввел в залу, где встретил меня секретарь в стаметном сертуке, в красных сапогах, в цветном платке на шее. Из почтения он снял колпак и очки и просил к себе в кабинет, род светелки, в которой не было ни книг, ни бумаг, ни письменного прибора.

— Чем могу вам служить? — сказал секретарь протекторским и вместе вежливым тоном.

— Не беспокойтесь, — отвечал я. — У меня нет никакого дела, а я хочу только знать, не знакомы ли вы с Памфилом Меркуловичем Мошниным или с кем-нибудь из его коротких приятелей.

— А по какому делу, если смею спросить? — сказал секретарь.

— У меня есть коммерческие виды.

— Понимаю, — сказал секретарь с лукавою улыбкой. — Направо, налево!

— Ошибаетесь: с тех пор как я получил богатое наследство, я вовсе отказался от игры, — сказал я, утираясь платком, чтобы хитрый секретарь не прочел лжи в чертах моего лица.

— А! вы получили богатое наследство и не играете более? Вот что хорошо, то хорошо. А я, окаянный, не могу отстать от этой проклятой страсти! С Мошниным я задушевный приятель: теперь у меня одно его дельце; он обещал быть ко мне сегодня на тайное совещание, и я вас тотчас познакомлю. Но сделайте одолжение, подождите здесь немного, пока я переговорю с одним просителем, которого вы не приметили в углу гостиной. От скуки я вам дам прекрасную книгу: Сочинения Федора Эмина. — Секретарь вынес книгу из боковой комнаты и кипу бумаг, с которыми он вышел к просителю.

Они говорили довольно тихо; но, сколько я мог разобрать, секретарь делал просителю различные возражения, на которые он отвечал весьма нежным голосом. Наконец стали горячиться, спорить, вдруг утихли, и я только услышал: раз... два... три, наконец сорок, и чрез минуту новый счет от единицы и опять сорок, составлявшее финал в этом прении.

— Ваше дело совершенно правое! — сказал секретарь. — Поезжайте домой и будьте спокойны!

Проситель откланялся, и секретарь возвратился ко мне. Мы разговаривали с четверть часа о несчастном происшествии у Груни, об ее бегстве и т. п., как вдруг слуга вошел доложить секретарю, что приехал другой проситель. Секретарь вышел, и снова началась та же комедия. Сперва возражения, после того спор, убеждения, просьбы, наконец арифметический счет три раза до сорока и после того отпускной комплимент секретаря.

— Будьте спокойны, ваше дело совершенно правое.

Когда секретарь вошел снова ко мне, я не мог удержаться, чтобы не спросить, кто этот второй проситель, который так много горячился?

— Это противник первого, которого вы здесь застали! — отвечал секретарь.

— Счастливые соперники, — сказал я, усмехаясь, — когда оба имеют дела правые!

— Итак, вы слышали?..

— Да, я слышал только ваши уверения в справедливости дела каждого.

— Это обыкновенная форма судейских комплиментов, — сказал секретарь, — а кто

прав и кто виноват, это увидим из слушали и приказали.

В это время коляска подъехала к крыльцу.

— Вот и почтенный наш Памфил Меркулович! — воскликнул секретарь и побежал к нему навстречу.

Я несколько смутился, не зная, каким образом начать это знакомство и как вести себя с богатым откупщиком. Высокомерием я боялся раздражить его, а скромностью унизить себя в глазах человека, который, вероятно, не станет трудиться, чтоб открывать во мне внутренние достоинства. Подобно генералу, который на поле битвы, в виду неприятеля, располагает своими действиями, а в кабинете чувствует свою нерешимость и недальновидность, я ожидал появления Мошнина, чтобы составить план атаки и начать действие. Он пробыл наедине с секретарем около получаса, и наконец секретарь позвал меня в залу. Я увидел пред собою высокого и плотного старика, с длинною седою бородой, с свежим, румяным, лоснящимся лицом, в длинном синем сертуке немецко-русского покроя, составлявшем средину между сибирским и немецким

платьем. Он улыбался весьма благосклонно и сделал несколько полупоклонов прежде, нежели секретарь меня представил.

— Рекомендую доброго моего приятеля, г-на Выжигина, — сказал секретарь, — человека богатого, умного и в связях: он хочет с вами познакомиться, Памфил Меркулович, зная, что у вас бывает приятная компания.

— Очень ради, сударь! — отвечал Мошнин, продолжая свои полупоклоны. — Милости просим. Нас любят и жалуют многие господа, и мы ради стараться.

Не могу вспомнить, что я пробормотал ему насчет его известности, честности, уменья жить и т. п., только Мошнин был очень доволен мною.

— Да вот, не угодно ли пожаловать ко мне завтра, без церемоний, вместе с Антипом Трифоновичем? — сказал Мошнин, указывая на секретаря. — У меня завтра старшая дочь именинница. Милости просим откушать хлеба-соли.

Я поблагодарил за приглашение, и Мошнин простился с нами, отступая с полупоклонами, спиною к дверям, и повторяя несколько

раз:

— Прощения просим, счастливо оставаться, благодарим покорно, не извольте беспокоиться, — и тому подобное. Когда он уехал, секретарь сказал:

— Ну, вот вам и знакомство! Видите, что я нашел случай отслужить вам за вашу скромность у Аграфены Степановны.

— Обещаю вам быть еще скромнее насчет вашей арифметики с просителями! — сказал я с улыбкою.

— Этого я не боюсь, — возразил секретарь весело. — На то щука в море, чтоб карась не дремал! Всем известно, что мы живем своими трудами.

— Однако ж гласность!..

— Гласность, — продолжал секретарь, — приносит иногда более пользы, нежели неизвестность и сомнение о наших поступках. По крайней мере, проситель знает, как адресоваться, а это большое облегчение. Пускай кричат, говорят, поют, пишут и представляют на театрах! Я сам не пропущу ни одного разу *Ябеды, Честного Секретаря* и всегда с удовольствием слушаю, когда актер, представля-

ющий подьячего, согнувшись дугою, поет:

Ах, что ныне за время —
Взяток брать не велят!

— Это, сударь, игрушки, детские игрушки, а дело идет своим порядком.

Посмеявшись вместе с секретарем, я простился с ним, условившись ехать вместе, на другой день, обедать к Мошнину. Я спросил его, не нужно ли мне сделать прежде визита, и можно ли, вроде постоя, явиться прямо к столу, не будучи знакомым с целым семейством.

— Между купцами это не наблюдается, — сказал секретарь. — Их семейства привыкли видеть новые лица, появляющиеся в доме и исчезающие по мере нужды в них и по мере течения дел. У них знакомство начинается обедом, а кончится обыкновенно тогда, когда человек, в котором нет никакой более нужды, попросит взаймы денег.

— Благодарю вас за предуведомление; до завтра!

На другой день я все утро просидел дома, размышляя о прошедшем и о будущем, и на-

ходился в странном расположении духа: разбирал и сам критиковал все мои поступки. Во-первых, я упрекал себя в употреблении непозволительных средств к приобретению денег; во-вторых, в легкомыслии, с каким я расточал приобретенное. Я решился вести жизнь скромную; женившись на купчихе, войти в торговые обороты для умножения моего капитала и быть порядочным человеком. Удалившись от большого света, от роскошной знати, я думал, что мне вовсе не нужно будет делать излишних издержек на прихоти, которые простительны, а иногда и нужны людям высшего звания и смешны в купцах. Жена моя, рожденная и воспитанная в кругу людей простых, без сомнения, не имеет понятия о тех утонченностях в жизни, которые составляют мучение особ высшего звания, среди богатства и почестей. Покойная жизнь, хозяйство, воспитание детей и невинные удовольствия — вот что должно быть уделом жены, которой муж ограничивается небольшим числом знакомых. Я решился отказаться от всякого честолюбия, убегать интриг и заниматься делами. Без сомнения, участь честного

купца, с умеренными желаниями, есть самая завидная. Дело решено: я буду купцом, откажусь от всех моих бесполезных связей в свете; если нужно, даже перееду жить в другой город, например в Астрахань, и... но надобно сперва жениться и взять мои сто тысяч.

Рассуждая таким образом и утешаясь надеждами, я не приметил, как пролетело время до обеда. Часовая стрелка известила меня, что пора одеваться. Нарядившись самым щегольским образом, я поехал в место, назначенное для свидания с секретарем, и оттуда прямо к обеду, в дом Мошнина.

Я до сих пор не понимаю, какое удовольствие имеет хозяин в том, чтоб созывать к обеду людей различного звания, образования, состояния, образа мыслей и жизни! Во-первых, он себе готовит величайшие хлопоты, а часто и неудовольствия; а во-вторых, гостям своим делает неприятности. Хозяин с каждым гостем должен принимать разнородные физиономии, а гость не знает, с какого тона начать и на какой степени откровенности поддерживать разговор. Все это испытал я в этот день у Мошнина. Лишь только мы во-

шли в залу, мне показалось, что я нахожусь на Макарьевской ярмарке. Офицеры, гражданские чиновники, купцы всех народов, в различных одеждах, всех разрядов, от 1-й гильдии до маклеров биржевых; женщины в роброндах, щегольских парижских нарядах, в блондовых и кружевных чепцах, в шелковых платках на голове, в кофтах; одним словом, смешение языков, настоящий дивертиссемент! Я окинул взором толпы гостей, шепчущих и громко разговаривающих о погоде, и, по счастью, не нашел ни одного знакомого лица: это меня ободрило; признаюсь, я опасался встречи с моими картежными знакомцами. Секретарь спросил у лакея, где хозяин и хозяйка: нас провели в обширную столовую. Там Памфил Мерку-лович работал в поте чела, с дражайшею своею половиной. Лакеи вынимали вина из корзин, купор объявлял достоинство каждого, а хозяин расстанавливал бутылки, распределяя лучшие вина по местам почетным, а мадеру и портвейн отечественной фабрики на конец стола, в разряд гостей обыкновенных. Хозяюшка, здоровая и толстая женщина, лет пятидесяти, в немец-

ком платье, с шелковым платком на голове (на русский манер), распоряжалась десертом. Они извинились предо мною, что я застал их за хозяйственными хлопотами, и просили быть без церемонии, как дома. Мы возвратились к гостям, и я просил секретаря познакомить меня с детьми хозяина. Два сына Мошнина, наряженные по последней моде, приветствовали меня французскими фразами и старались казаться ловкими, развязными, словом, людьми лучшего тона. Видно было, что они переняли все приемы молодых щеголей большого света не в гостиных, а в театрах, на бульварах, на загородных гуляньях и в кордегардиях, и оттого их обращение, с первого взгляда, казалось слишком фамильярным и даже дерзким. Они уже оставили купечество и вошли на поприще гражданской службы, то есть сидельцы и лакеи называли их *ваше благородие*. Я старался, с первой встречи, снискать их благосклонность, применяясь к их понятиям, и просил, чтоб они, как *водится в большом свете*, представили меня своим сестрам. Слово *большой свет* подстрекнуло их самолюбие, и они, взяв меня

под руки, повели в гостиную, где находилось множество разряженных девиц. Некоторые из них сидели на стульях и на диване, другие перешептывались возле окон, а некоторые прогуливались по комнате. Братья подвели меня к своим сестрам, которые, по счастью, все три сидели в одном месте, и отрекомендовали меня, пробормотав несколько слов по-французски. Две первые одеты были по последней, и притом самой нарядной, моде; младшая была в простом платьице. Она сделала мне поклон, по всем правилам танцевального искусства, и старшая сестра, от имени прочих, отвечала мне по-французски:

— Charmee de faire votre connaissance!

Если толстота и белизна почитаются красотою на Востоке, а особенно в Китае, то старшая дочь Мошнина была бы первою красавицей в Пекине, а средняя второю: жаль только, что китайцы любят маленькие ноги, а у нас, на Севере, это большая редкость, которая притом не была принадлежностью двух старших девиц Мошниных. Но младшая была прелестна, во всем смысле этого слова. Из краски в лице у старшей сестры и некоторого неволь-

ного смущения я догадался, что сметливая сваха уже успела поговорить с нею обо мне. Я приметил в то же время, что все гостьи поглядывали исподлобья на меня, после того посматривали друг на друга и перешептывались. Я почел неприличным продолжать разговор с одною девицей, в кругу других безмолвных свидетельниц, откланялся и вышел, с моими новыми друзьями, в другую комнату. Вскоре нас позвали обедать, и я поместился в средине, между сыновьями Мошнина, вслед за почетными гостями. За столом не могло быть общего разговора. Офицеры говорили между собою о производствах и новых эволюциях; гражданские чиновники о новых указах и переменах в министерствах и губернских местах; законоискусники о *казусных* делах; купцы о вексельном курсе, новых конкурсах, цене биржевых товаров. Несколько купеческих юношей, а в том числе и сыновья Мошнина, рассуждали о лошадях, модных сертуках и жилетах, о театре, певицах, танцорках. Между тем никто из гостей не забывал кушанья и вина: порожние бутылки беспрестанно заменялись новыми, по знаку хо-

зяина, который, сидя на конце стола, подобно Юпитеру, одним мановением бровей приводил в движение весь питейный механизм. Женских голосов вовсе не было слышно, исключая кратких ответов на редкие вопросы мужчин. Мои соседи беспрестанно осушали бутылки, повелевая слугам подавать нам лучшего вина, и когда дело дошло до тостов, все гости уже были навеселе. Полупьяные лакеи бегали с бутылками, как угорелые, обливали гостей вином и суетились. Начали провозглашать здоровья, сперва именинницы, после того родителей, детей, родных, почтенных гостей, каждого особенно, всей компанией и т. д. Прекрасный пол между тем спокойно занимался десертом. Девицы клевали по ягодке, как птички, и, невзирая на свою дебелость, клали в рот фрукты и конфеты маленькими кусочками, с приятным жеманством. Хотя я чрезвычайно расположен был к веселью, но мне неприятно было слушать насмешки молодых Мошниных над своими родителями. При всякой неловкости папеньки и маменьки дорогие детки хохотали, закрывшись салфетками, и перемигивались с старшими сест-

рами. Сыновья называли отца скупым своим приказчиком, а матушку — конторою, и даже громко шутили по-французски на их счет. Добрые родители, не понимая, радовались, что дети их говорят на чужеземном языке. Я невольно задумался, видя на опыте несообразности от воспитания, в котором помышляют единственно о наружном блеске, не заботясь о нравственности, заставляют нас презирать то состояние, в котором мы родились, и неуместным высокомерием заглушают в сердце чувства природы.

После обеда некоторые гости уселись за бостон и за вист; женщины и девицы забавлялись разговорами и закусками в своем кругу, а молодежь, и в том числе я, собралась в комнатах молодых Мошниных, курить трубки и допивать шампанское, разговаривая о таких предметах, о которых здесь и упоминать было бы некстати. Чрез полтора часа старший Мошнин просил своих гостей возвратиться в парадные комнаты, объявив, что там будет представление французской комедии, для сюрприза его *папахену* и *мамахене* (так он назвал своих папеньку и маменьку). В столовой

зале установлены были стулья; в буфете собрались домашние актеры, то есть семейство Мошнина и некоторые подруги его дочерей. В конце залы расставлены были подвижные кулисы и привешена завеса из нескольких сшитых вместе ковров. Вместо оркестра, учитель музыки младшей дочери играл очень плохо на фортепиано. Когда все гости уселись по чинам, Мошнин с своею женою поместился в первом ряду кресел, посадив между собою французского гувернера младших своих сыновей, для перевода пьесы и толкования хода действия. Этот же гувернер, по имени мусье Фюре (Furet), был автор представляемой драмы, под заглавием: *Щедрые родители, или Добрые дети*. Хотя самое заглавие обнаруживало бессмыслицу, но в одобрении не было недостатка, и рукоплескания раздавались при каждом слове, при каждом куплете. Содержание пьесы было следующее: богатый купец не жалеет ничего на воспитание и содержание своих детей; сыновьям дает деньги на угощение своих приятелей, на экипажи и т. п., дочерям на наряды и, кроме того, возит их по всем гульбищам, театрам, маскерадам,

дает в своем доме балы и праздники. Наконец дочери выходят замуж за князей, графов и генералов, а сыновья дослуживаются до первых степеней. Зятья и сыновья, в вознаграждение своих заслуг, испрашивают дворянство для своего папеньки, которого тут же на театре, во французской пьесе, величают по-русски вашим высокоблагородием. Надобно было видеть восторг добрых Мошниных во время разыгрывания пьесы. Гувернер переводил верно каждую фразу, каждый куплет, относящийся к чести родителей, и слезы умиления текли ручьем. Невзирая на то, что старшие сыновья, разгоряченные вином, сбивались в игре, что две старшие дочери вовсе не знали своих ролей и что голос суфлера заглушал речи актеров, которые, сверх того, пели не в такт, представление сошло с рук с похвалами и достигло своей цели, то есть убедило Мошнина в том, что не должно жалеть денег детям на мотовство, потому что это послужит к возвышению его фамилии. Спектакль кончился танцами: девицы Мошнины танцевали фанданго, тамбурин и шаль, а меньшие сыновья прыгали как обезьяны. Фарфоровые чаш-

ки и люстра тряслись и звенели от прыжков двух старших сестер, но меньшая обворожала всех игрою, танцами, пением, а более своею красотою и скромностью. Мне она в самом деле весьма понравилась. Но зная, что в купеческих домах дочери должны выходить замуж по старшинству, я не предвидел никакой надежды к получению ее руки, как разве при усильном старании старших ее братьев. В этот день я чрезвычайно с ними подружился и, уезжая, просил их на другой день к себе, на завтрак.

Глава XXX
Неудача в сватовстве. Письма из киргизской степи и из Парижа. Отъезд в армию
Война. Отличие. Возвращение в Москву

Не стану описывать всего, что я перенес для приобретения дружбы молодых Мошниных. Водясь с ними несколько месяцев и желая примениться к их образу жизни, я едва не спился с кругу и не попал в бездну разврата. Величайшее наслаждение богатых купеческих сынков, отставших от торговли и только на вид прилепившихся к службе, состояло в поездках за город, где на свободе предавались они пьянству, буйству и разврату, били окна и посуду, заводили драку с чиновниками и бедными немецкими ремесленниками и, в заключение спектакля, ссорились и мирились с полициею. Мошнины обходились со мною, как с другом и братом, и открывали мне все

свои тайны. Я узнал, каким образом доставали они деньги в долг на счет папеньки; как обманывали маменьку и брали у нее деньги, будто на подарки своим начальникам по службе; как очищали комод поддельным ключом, когда в нем накоплялось много денег, и т. п. Наконец я открылся им в любви моей к младшей их сестре, и они взялись помогать мне к достижению цели моих желаний. Простодушная девица согласилась выйти за меня замуж и с охотою вошла со мною в переписку, чрез посредство братьев. Памфил Меркулович и его полновесная супруга были также ко мне благосклонны, по слуху о моем дворянстве и полуторе тысяч душ, и весьма желали, чтоб я был счастлив «на почине», то есть женившись на их старшей дочери. Осталось преодолеть одно препятствие, а именно убедить родителей сделать свадебный «почин» с третьей дочери, как вдруг в один день все мои планы и надежды нескольких месяцев исчезли, как дым.

Хитрый секретарь проведал, что я обманул его и не получил наследства, а отстал от игры со страха попасть в беду. Будучи знаком с од-

ним подьячим, белорусским уроженцем, лишенным по суду звания адвоката за ябедничество, секретарь узнал от него, что в целой Белоруссии нет ни одной дворянской фамилии Выжигиных. За стаканом пуншу, в минуту откровенности, он рассказал все старику Мошнину и описал меня самыми черными красками. К нему присоединился Иван Меркулович, тот самый купец, которого в моем присутствии обыграли и ограбили у Удавича, и засвидетельствовал также, что он знает меня, как игрока на верную. Старик Мошнин предостерег своих сыновей, чтоб они не водились со мною. Но если б я был в самом деле таков, каким описали меня старику, то все-таки я был бы лучший между друзьями молодых Мошниных. Они уведомили меня обо всем и советовали представить отцу доказательства моего дворянства и вотчинничества. Разумеется, что мне ничего не оставалось, как отказаться от посещения Мошнина, от ста тысяч приданого и миленькой женочки. Я почел это праведным наказанием за мою связь с игроками и терпеливо покорился судьбе. Человек сильно чувствует потери и неудачи, пре-

дается отчаянью тогда только, когда судьба стесняет в нем пламя господствующей страсти, не погашая его. В несчастиях же, где действует рассудок, а не сердце, легко утешиться. Взвесив все выгоды и невыгоды от предположенного брака, я даже был рад, что отвязался от родства с молодыми Мошниными, перестал их принимать у себя и вскоре отстал от них.

В один день я получил два письма, из Оренбурга и из Парижа. Из киргизской степи писал ко мне мой лекарь, бакса Темир-Булак. Письмо его было следующего содержания:

«Высокопочтенному, блистательному, храброму мирзе Ивану Выжигину, от верного друга Баксы Темир-Булака приветствие, желание здравия и благополучия!
С тех пор, как ты оставил благословенную степь нашу, Мухамет, восседящий в девятом небе, прогневался на знаменитое племя Баганалы-Кипчакское, и священная кобылица его, Эль-Борак, навеяла хвостом своим несчастье на аулы, благоденствовавшие под правлением мудрого и храброго Арса-

лан-султана. Пагубные предзнаменования на небе и на земле побуждали нас к осторожности: луна закрыла чело свое полою священного халата Мухаметова и появилась мрачною, как сайга в тумане. Во внутренности баранов находили насекомых, и лучшая кобылица Арсалан-султана родила мертвого жеребенка, с двумя головами. Я предсказывал бедствие, но Арсалан-султан, вобравшись в России книжного легкомыслия, не верил ни снам моим, ни гаданиям, не слушал совета, чтоб прикочевать к Большой Орде и соединиться с нею, для избежания баранты двух сильных племен, Чизлыкского и Дерт-Карикского, которых глава, Султан-алтын, пал от могучей руки твоей, храбрый мирза, Иван Выжигин. Эти два племена, собрав союзников своих, напали на нас нечаянно и не победили, но истребили лучших наших наездников. Мужественный, доселе непобедимый Султан-арсалан, острее меча Пророкова, украшение степей, погиб в рядах неприятельских, как волк среди стада, в наказание за неверование в мудрость Молл и прори-

цательство Баксы. Стада и табуны наши достались в добычу врагам, аулы расхищены, красавицы уведены в неволю! В общем расстройстве остальные воины спаслись бегством и смешались с Большой Ордой. Письмо твое я получил в Оренбурге, на меновом дворе, куда послан был от хана за его делами. Итак, мирза Иван Выжигин, не надейся получить своей собственности, которая хранилась в юрте самого Арсалан-султана и досталась победителям, вместе с его сокровищами. Наследник храброго султана, друг твой Гаюк, так беден, что питается кумысом подаяния от великодушного хана Большой Орды и служит у него начальником его телохранителей! Впрочем, хан так много о тебе наслышался, что рад тебя видеть, и вероятно, даст тебе почетное место в своей Орде. Прощай и не забывай друга своего, Темир-Булака, который молит Бога о твоем счастье и просит Его, чтоб Он вселил в тебя желание возвратиться в красу красот земных, преддверие рая — в степь киргизскую».

Слезы полились у меня при чтении изве-

стия о кончине доброго Арсалан-султана и о несчастии, постигшем моих прежних товарищей. Надежда на помощь из степи исчезла. Положение мое сделалось еще затруднительнее.

Другое письмо было от Груни. Трепещущею рукой сорвал я печать и прочел его несколько раз, в борении различных ощущений. Вот что она писала ко мне:

> *«Друг мой, милый сердцу Выжигин! Ты, вероятно, знаешь уже причину, заставившую меня оставить Москву и Россию. Я так люблю тебя, что не хотела подвергнуть несчастью, соединяя горькую мою участь с твоею. Но как женщине трудно жить в свете без покровительства мужчины, то я выбрала себе в защитники мусье Сансуси, веселого и доброго француза, который меня любит так пламенно — как я тебя! У него в паспорте было означено, что он путешествует с женою, но как мадемуазель Адель осталась в России гувернанткою, то я заступила ее место и благополучно прибыла в Париж. Ах, любезный друг, что за город этот Париж! Наша тихая, угрюмая Москва*

в сравнении с столицею Франции есть то же, что пруд в сравнении с водопадом. У нас зимою, уж в сумерки везде глухо и пусто и только экипажи припоминают, что вы не в лесу. А здесь вечная жизнь, вечное движение; нет ни дня, ни ночи, а только перемена декораций, замен природного света искусственным.

Я удивляюсь, как со мною не приключилось апоплексического удара от радости, когда я в первый раз увидела парижские модные магазины! Ах, друг мой, что за прелесть! Здесь новости появляются не чрез месяцы, не чрез недели, но каждый день, каждый час, каждую минуту. Здесь-то храм вкуса, законодательное сословие моды, средоточие всех изобретений. Здесь жизнь исчисляется не годами, но числом наслаждений; и каждый торопится жить, подобно мореплавателю, который спешит исправить дела свои на берегу, когда уже паруса на корабль подняты. Париж есть гостиница целого мира. Здесь собираются искатели мудрости, наслаждений и счастья со всех концов земли, и оттого-то каж-

дый живет здесь по своему вкусу, без всякого принуждения, как водится в трактире. Любезный друг! если б ты видел, как наши дамы, которые в России не сделают шагу пешком без конвоя двух дюжих лакеев и которым надобны четыре лошади, чтоб переехать чрез улицу, разгуливают здесь одни-одинешеньки по извилистым парижским улицам, по иллюминованному саду Пале-Рояля, под аркадами и в простом фиакре ездят в купальни! Это инкогнито доставляет им тысячи наслаждений, о которых если б кто смел заговорить при них в России, то был бы провозглашен невеждою, грубияном, нахальным! Здесь на все открытые конторы, для каждого желания свои комиссионеры. Можно продать и купить сердце и ум. Здесь только получила я понятие о жизни общественной. Как ни высока наша образованность, но согласись, любезный друг, что в среднем классе у нас еще много азиатского, и женщины, хотя властвуют у нас над мужчинами, как везде, и в самой даже Азии, но в общежитии чрезвычайно стеснены старинными

обычаями. Здесь же всякому полная свобода. Порядочные женщины посещают трактиры и кофейные дома, путешествуют одни в дилижансах и почтовых колясках и часто имеют свои связи и знакомства, о которых муж вовсе не знает и не заботится. Каждая француженка полная хозяйка в доме, а обязанность мужа заниматься внешними делами. Иностранное золото пробирается в Париж разными источниками, и вся забота парижан в том только, чтоб пользоваться этим золотым дождем. Звание иностранного путешественника есть самое почетное, если только он приезжает в Париж веселиться на свои деньги, зато здесь каждого чужеземца величают графом, князем, лордом и бароном, справляясь не с дипломами, а с кошельком. Меня также называют княгинею, хотя я веселюсь не на свои деньги. Утонченность в забавах и наслаждениях доведена здесь до высочайшей степени, и ум человеческий истощился для изобретения удобств в жизни.

Забавы разделяются на публичные и

тайные. К первым принадлежат: театры, концерты, общественные балы, гульбища, сельские праздники. Все, чем в других столицах забавляют публику только в большие торжества и при необыкновенных случаях, здесь бывает ежедневно и всегда привлекает толпы любителей. Не стану говорить тебе о театрах, которые составляют господствующую страсть французов, не стану описывать тебе всех забав, вкушаемых „инкогнито“, и молчу, именно для того, что хочу, чтоб ты сам приехал в Париж и насладился на деле, а не на бумаге. Я до сих пор еще не могу опомниться, и голова у меня беспрестанно в кружении. Мусье Сансуси премилый человек и вовсе не беспокоит меня докучливою любовью. Я познакомилась с некоторыми иностранками и моими землячками, ищущими, подобно мне, рассеяния: мы ведем жизнь самую веселую. Гордись, милый друг, моею любовью! Даже в Париже называют меня „прекрасною русскою“, и если б ты видел меня в парижском наряде — то упал бы к ногам моим, вместе с дюжиною лордов, немецких кня-

зей, путешествующих инкогнито, и наших богатых земляков. У нас швеи и магазинщицы совсем не умеют одевать к лицу и думают только, как бы сбыть с рук свои тряпки. Но здесь работают для славы и — для денег. Приезжай, друг мой, только оставь в России свою ревность и свою философию, для которых здесь нет места. Обо мне спроси в Пале-Рояле, в модном магазине К 113».

Из этого письма увидел я, что несчастье не исправило Груни и что легкомыслие и тщеславие остались в ней по-прежнему господствующими страстями. Я даже не хотел отвечать на это письмо, зная, что советы мои не помогут.

Между тем у нас возгорелась война с Турцией, и я, вспомнив советы моего доброго Петрова, решился вступить в военную службу. Я открылся в этом приятельнице моей, кузине Анете, с которою я жил в дружбе, как брат с сестрою. Она похвалила мое намерение и взялась исходатайствовать мне перемещение из гражданской службы в военную. О, всесильные женщины, сколько я вам обязан

в жизни! Кузина Анета привела в движение всех своих приятельниц, тетушек и кузин. Пошла женская переписка, свидания, совещания, просьбы, рекомендации. Начальник, у которого я играл в вист два раза в неделю и обедал каждое воскресенье, выдал мне самое лучшее свидетельство в усердной и беспорочной службе, хотя я ни разу не входил во внутренность его канцелярии, и через два месяца меня переименовали в корнеты, в тот же самый гусарский полк, в котором служил покойный мой отец.

Когда явился я в полном гусарском наряде к кузине Анете, она ахнула от удивления и созналась, что я рожден для мундира. Мои покровительницы радовались успеху своего ходатайства, и я чуть не занемог от усталости, танцуя из благодарности мазурку со всеми их дочками и племянницами. Петров был в восторге и мучил меня просьбами скорее отправиться в полк. Добрая кузина Анета дала мне взаймы несколько тысяч рублей, и я, собрав остатки своего имущества, распростился со всеми и уехал в Малороссию, где стоял полк и ожидал первого повеления к выступлению в

поход.

Я не говорил матушке о своем намерении и явился к ней уже в военном мундире, накануне моего отъезда. Она едва не упала в обморок при моем появлении. Я был так похож на отца моего, в таком же мундире, что матушка не могла на меня насмотреться. Поплакав, как водится в подобных случаях, она благословила меня и, снабдив советами, пожелала мне счастья. На другой день я был на большой дороге в Харьков.

Полк уже выступил, и я догнал его на походе. Когда я представился полковнику, то он, взглянув на меня, всплеснул руками от удивления и сказал:

— Боже мой, какое удивительное сходство! Если б я сам не был свидетелем смерти друга моего, князя Милославского, то подумал бы, что вижу его перед собою.

Он позвал из другой комнаты полкового квартермистра, который был вахмистром в эскадроне моего отца, и спросил:

— На кого похож корнет Выжигин?

— Да это живой портрет покойного князя Ивана Александровича Милославского! —

воскликнул старик, и слезы показались у него на глазах.

— Слыхали ли вы когда о князе? — спросил у меня полковник.

— Нет, — отвечал я.

— Знаю, что покойный друг мой был холост, но в свете часто случается, что... то есть бывают странные сходства! Желаю вам, любезный сослуживец, чтоб вы похожи были на князя душою и храбростью, и как в противном не имею причины сомневаться, то на первый случай даю вам один совет: старайтесь узнать поскорее фруктовую часть службы, без чего лучший человек будет всегда плохим офицером. У нас много рекрут, из которых я сформировал учебный эскадрон и должен обучать их на походе. Вас я определяю в лейб-эскадрон, а на время, для узнания порядка службы, поручаю командиру учебного эскадрона, ротмистру Бравину, старому служивому, которого советую вам любить и почитать, как отца, потому что он того стоит.

В полках не любят, когда поступают в них офицеры из других полков с старшинством, или, как говорится, на голову. Я хотя опреде-

лен был младшим корнетом, но товарищи приняли меня весьма холодно от того, что я поступил из гражданской службы. Невзирая на вежливое мое обхождение и на старание заслужить любовь офицеров, меня прозвали подьячим, хотя я клялся, что от роду ничего не писывал, кроме любовных писем, и сам ненавижу крючкотворцев более, нежели турок, с которыми мы шли сражаться. Шутки не прекращались и даже повторялись чаще, с тех пор как я стал сердиться. Ротмистр Бравин, который полюбил меня искренно, советовал мне проучить насмешников. В одну неделю я имел два дуэля на саблях и один на пистолетах, ранил двух моих противников и получил сам легкую рану пулею в левую руку. Полковник арестовал всех нас и объявил выговор в приказе, а я, вылечившись, дал завтрак товарищам, пригласил и моих противников и объявил всем, что если кому угодно удостовериться, что я никогда не был и не буду подьячим, то я готов представить каждому мои сабельные и пистолетные доказательства. Товарищам моим понравилась моя откровенность и смелость, и, при хлопанье

шампанских бутылок, я провозглашен был лихим гусаром.

— Выжигин! — сказал мне ранивший меня поручик Застрелин. — Ты кровью смыл свои чернила; теперь ты наш, и кто противу тебя, тот против нас всех. Дай руку, брат! таких гусаров нам надобно.

Полковник, призвав меня, дал мне отеческое наставление, сказав:

— Я наказал вас по долгу службы, но не имею причины быть недовольным вами за ваше поведение. Вы были вынуждены к драке; но теперь, когда вы вступили в товарищество с старыми офицерами, избегайте ссор. Хороший офицер должен доказывать храбрость свою в сражении с неприятелем, а не в поединках. Ротмистр Бравин доносит мне, что вы довольно знаете фруктовую службу, чтоб командовать взводом. Извольте явиться к командиру лейб-эскадрона: я приказал дать вам третий взвод.

Не знаю, радовался ли когда-нибудь так сердечно заслуженный генерал, получив начальство над целою армиею, как я моим взводом. Добрый мой Петров прыгал от радости.

Я никому не говорил о пребывании моем в степи у киргизцев, боясь, чтоб мне не дали опять какого-нибудь прозвания, и не показывал моего искусства в наездничестве, в котором я часто упражнялся даже в Москве, выезжая верхом прогуливаться за город, в уединенные места. Однако ж я запасся волосяным арканом и купил себе горскую лошадь, чтоб при случае употребить мое искусство в пользу.

Любезные читатели! если вам случится слышать рассказы корнетов и прапорщиков о плане кампании, о совокупности военных действий, об ошибках генералов, о причинах удач и потерь в войне — слушайте из вежливости, но верьте вполовину, а лучше вовсе не верьте. Офицер, служа во фрунте, не может видеть ничего более, как то, что делается перед фрунтом, а о военных планах иначе нельзя судить, как соображая и поверяя множество обстоятельств и случаев, открывающихся всегда после кампании. Итак, я не хочу говорить о военных действиях, тем более что я вовсе не намерен писать историю войны, а желаю представить мои собственные похож-

дения. Скажу о войне только в отношении к моему лицу не из самолюбия, но исполняя предначертанный мною план, при сочинении моего жизнеописания.

Перешед Дунай, полк наш поступил в авангард главного корпуса. Мы не участвовали в нескольких сражениях, то есть победах, одержанных нашими войсками до перехода чрез эту реку, и поступили в авангард в полном комплекте и, как говорится, свежими.

Однажды я стоял со взводом на форпосте, в окрестностях Туртукая. Это было в июне месяце, однако ж ночью холод был пронзительный. Я лежал возле огонька, завернувшись в шинель, и ожидал, пока Петров согреет чайник, как вдруг прискакал гусар из передней цепи и донес мне, что он слышит шум в кустах, опушающих равнину, на середине которой расположены были наши конные часовые. Я тотчас велел моим гусарам сесть на коней, и, оставив их на месте, под начальством унтер-офицера, сам поехал с двумя человеками и неотступным моим товарищем, Петровым, поверить донесение часового. Ночь была темная, густые облака закрывали луну, и

туман висел над долиной. Я слез с лошади, приложил ухо к земле и в самом деле услышал топот и легкий шум в кустах. Ужели это неприятель? Как узнать в темноте? Прежде, нежели я занял мой пост, я осмотрел окрестности, версты, на две кругом, и узнал, что в той стороне, где был слышен шум, нет никакой дороги и что долина ограничивается холмами, примыкающими к лесу. Последний наш разъезд открыл неприятельские партии в тридцати верстах, в другом направлении, и так я не мог предполагать нападения с этой стороны. В то время, когда я рассуждал сам с собою, вдруг луна выглянула из-за облаков и ружья заблестели в кустах, которые закрывали людей только до половины. По глазомеру заключил я, что тут было около ста человек. Что делать? Я последовал первому внушению, послал одного гусара в лагерь, уведомить о появлении неприятеля, а сам бросился со взводом в атаку. Мы ударили с такою быстротой на турок, что они приведены были в смятение, выстрелили из нескольких ружей и стали кричать *аман* (нардон) и бросать оружие. Мы собрали их в кучу, обезоружили, пе-

ревязали для безопасности арканами и погнали назад, прикрывая наше отступление полувзводом. При мне был переводчик из татар; он расспросил пленного офицера, и я узнал, что турки, получив подкрепление, двинулись вперед, чтоб атаковать нас утром. Сотня арнаут, которую я взял так счастливо в плен, была послана в сторону для добывания провианта грабежом; но проводник, родом из булгар, изменил им: завел в лес и ночью ускользнул от них. Блуждая по лесу, они наткнулись на наш форпост и, не зная, где находятся, полагая притом, что попали в средину русской армии, оробели и решились сдаться нападающим, которые, по их мнению, вероятно, были сильны, когда осмелились ночью, не зная о числе, броситься на пехоту. Этим турки подтвердили сказанное мне полковником, что, кто хочет их побеждать, тот должен непременно первый нападать на них; если ж ожидать от них нападения, тогда победу должно покупать большими пожертвованиями.

Я послал разъезд вперед; гусары проехали на рысях несколько верст и донесли, что нет никакого слуха о неприятеле. Я остановился и

ожидал возвращения посланного мною к отряду с известием о встрече с неприятелем. Чрез несколько времени мы услышали конский топот со стороны нашего лагеря, и вскоре прискакали к нам две сотни донских казаков под начальством одного волонтера знатной фамилии. Он для отличия послан был из Петербурга в армию, которою начальствовал его двоюродный дядюшка. Я отдал ему пленных, с которыми он возвратился в лагерь, а сам остался на моем посту до утра.

Прибыв в полк по смене, я получил поздравление от моего доброго полковника и от товарищей. «Славно, Выжигин, славно! — кричали офицеры. — Ты делаешь честь нашему удалому полку». Полковник пригласил всех на завтрак, то есть на съедение жареного барана и опорожнение бочонка с молдавским вином. Пили за мое здоровье и тут же на месте сочинили реляцию бригадному командиру, в которой сказано было, что я, с 30 гусарами, взял в плен 112 человек вооруженных турецких пехотинцев. Полковник особенным письмом просил наградить меня. Доброе мнение обо мне утвердилось в полку.

Волонтер, который принял от меня пленных, назывался Пустомелин. Этот молодой человек, воспитанный отставным французским тамбур-мажором, почитал себя военным гением и в обществах офицеров беспрестанно толковал о тактике, о великих операционных планах, о походах Тюреня, Монтекукули, принца Евгения и Фридриха Великого, критиковал все наши военные движения и планы и судил обо всем и обо всех дерзко и решительно. Мы иногда подшучивали над его всезнанием, а чаще вовсе не слушали и принимали в свое общество потому только, что на биваках нельзя спрятаться от докучливых болтунов. Пустомелин, отведя пленных в ваген-бург, более не показывался в авангарде и остался в главной квартире, за болезнию. Вскоре мы получили в полку приказ, в котором было сказано, что Пустомелин награждается орденом за взятие в плен 112 человек турецких пехотинцев, при содействии корнета Выжигина, которому и объявляется за сие удовольствие Главнокомандующего.

Офицеры приведены были в негодование, а я в бешенство. Я поскакал в главную квар-

тиру, насказал грубостей Пустомелину, назвал его трусом, бесчестным, прикоснулся даже к нему рукою и вызвал на дуэль. Меня посадили под арест и хотели отдать под суд, но простили единственно по ходатайству офицеров и полковника, который, снова пожурив меня, утешил нашею русскою пословицею, которая уже несколько раз повторена мною: *за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.*

— Будь покоен, Выжигин! — сказал мне добрый мой полковник. — Ты исполнил свой долг, как следует храброму и расторопному офицеру, и приобрел уважение товарищей: вот величайшая награда для благородного человека! Несправедливости, ошибки случаются везде; но это не должно лишать тебя ревности к службе. Потерпи, придет и на тебя очередь правды: как ни стараются опутывать и запутывать ее сетями интриг, она всегда возьмет свое.

Чрез несколько недель после того армия наша остановилась на позиции противу всей силы неприятельской, укрывавшейся в укрепленном лагере, защищаемом выгодным

местоположением. Положено было дать генеральное сражение. Главнокомандующий приехал в авангард, в то самое время, когда турецкие наездники фланкировали с нашими гусарами и казаками. Вся кавалерия нашего авангарда была в боевом порядке, а пехота под ружьем, и все смотрели на единоборство турецких наездников с нашими гусарами и казаками, как на драматическое представление. Главнокомандующий, с целым штабом своим и множеством иностранных офицеров, бывших при нем волонтерами, остановился, чтоб полюбоваться этим, истинно восхитительным зрелищем, где ловкость и мужество имели обширное поприще к отличию. Надобно отдать справедливость турецким наездникам: они превосходят всех почти кавалеристов в управлении лошадью, в употреблении оружия и в наездничестве, или единоборстве, хотя пылкая их храбрость никогда не может противостоять нашему постоянному мужеству и твердости в общих атаках. Более всех отличался один турецкий наездник, в богатом убранстве, на белом коне. С удивительною дерзостью напирал он на наших фланке-

ров и уже свалил с лошади нескольких из самих лучших наших гусар. Главнокомандующему было неприятно это торжество азиатского наездничества в глазах иностранцев, и он с досадою сказал полковнику:

— Неужели у вас нет никого равного этому смельчаку, чтоб наказать его за дерзость?

Услышав слова эти, я тотчас пересел на мою горскую лошадь, распустил мой киргизский аркан и выпросил у полковника позволение переведаться с турецким наездником. Он позволил мне; но я приметил в глазах его сострадание, обнаружившее любовь ко мне.

— Выжигин! — сказал он. — Я знаю, что ты не трус; но здесь надобно искусство, а ты не мог выучиться наездничеству в гражданской службе. Мне жаль тебя!

— Увидите! — сказал я, надел фуражку вместо кивера, пришпорил коня — и понесся вперед.

Мне чрезвычайно хотелось взять наездника живого. Я сперва выстрелил из пистолета в другого турка, потом наскакал на наездника, выстрелил из другого пистолета наудачу, повернул лошадь и бросился в сторону, как буд-

то заряжать пистолеты. Турецкий наездник, приметив, что я отдалился от своих, кинулся на меня опрометью, заехал с левой моей стороны и ринулся на меня, чтоб одним ударом ятагана отрубить мне голову. В это решительное мгновение я подвернулся под лошадь, и турок от сильного размаха потерял равновесие и зашатался на седле. Я вскочил опять на седло и, прискакав сзади к турку, бросил ему аркан на шею, дернул и — турок упал на землю. Это нечаянное падение навзничь, на всем скаку, его оглушило. Поводья его жеребца были закинуты на руку за локоть, и он остановился при падении всадника. Я соскочил с лошади, обезоружил наездника, опутал его арканом, поднял с земли и как бесчувственного перевалил чрез седло на брюхо, сам вскочил сзади на лошадь, взял за поводья турецкого жеребца и полетел во всю конскую прыть к полку. Толпа турок с криком бросилась отбивать своего начальника; но главнокомандующий велел податься вперед, на рысях, двум эскадронам, и турки поворотили коней. Когда я прискакал к полку, в рядах раздался шум и говор. Главнокомандующий с своею свитою

подъехал ко мне, слез с лошади и велел мне подойти к себе. Я соскочил с коня, снял своего пленника, развязал его и представил главнокомандующему, который поцеловал меня, пожал мне руку и сказал:

— Благодарю вас за этот подарок и в память дарю вас взаимно.

При сих словах он велел своему адъютанту отвязать Владимирский крест с бантом и своими руками привязал его к шнуркам моего доломана.

— Я вас не забуду! — примолвил главнокомандующий и удалился.

Офицеры нашего полка окружили меня, поздравляли, обнимали, и каждый радовался, как собственному торжеству. Полковник прижал меня к сердцу и с чувством сказал:

— Спасибо за поддержание чести полка!

Я был в восхищении и в жизни моей не ощущал подобной радости.

— Отдай Петрову моего турецкого жеребца и вели под-весть мою фрунтовую лошадь, — сказал я унтер-офицеру.

— Я здесь! — раздался голос позади меня. Слезы текли из глаз Петрова, но на устах бы-

ла улыбка: он хотел поцеловать мою руку, но я прижал его к груди. Петров не мог произнесть ни одного слова: он был растроган до глубины сердца. Взяв мою добычу, он пошел тихими шагами за фрунт, крестясь и шевеля губами. Добрый мой Петров молился за меня!

В этот день не было ничего важного. К вечеру войска возвратились на позицию, и полковник поехал к главнокомандующему, который расположился с главным отрядом в двух верстах за авангардом. Чрез час после отъезда полковника прискакал вестовой с повелением, чтоб я немедленно явился к главнокомандующему. Полковник ожидал меня в адъютантской палатке, и, лишь только я слез с лошади, он повел меня в палатку главнокомандующего. Я застал там множество генералов и штаб-офицеров. За мною вошел и Пустомелин — без шпаги.

— Г<осподин> корнет Выжигин! — сказал главнокомандующий. — Почтенный ваш полковник рассказал мне о вашем подвиге, при взятии в плен турецкого пехотного отряда. Славу этого подвига и награду за него присвоил себе вот этот г<осподин> офицер (и при

этом он указал на Пустомелина), который, по несчастью, принадлежит к моей фамилии. Меня ввели в заблуждение и заставили быть несправедливым люди, которые не знают меня и думали сделать мне угождение, доставляя случай к награждению родственника. Но у меня в армии нет других кровных, кроме храбрых воинов: они родные мои братья; они дети мои и племянники! Кто хочет верно служить государю и отечеству, тот должен быть справедлив с подчиненными и награждать одну заслугу, ибо ничто так не вредит службе, как пристрастие, предпочтение из видов родственных или по связям. Одна несправедливость вредит более, нежели сто наград могут принесть пользы. Помните это, г<оспода> начальники! Итак, поздравляю вас поручиком, г<осподин> Выжигин; а вы, г<осподин> Пустомелин, извольте немедленно возвратиться в Петербург, под крылышки своих тетушек и бабушек, и не смейте являться ко мне на глаза. Для вас довольно места на лощеных паркетах, а на ухабистом поле битв вовсе не нужно полотеров, низкопоклонников и балагуров. Прощайте!

Мы вышли из палатки, я с радостью, а Пустомелин потупив взоры. Он мне казался жалок, и я даже хотел было утешить его, но боялся оскорбить его самолюбие. Товарищи мои собрались в кружок, выпили за мое здоровье и провозгласили имя мое, с троекратным повторением *ура*!

На другой день было генеральное кровопролитное сражение, в котором дрались, с обеих сторон, с величайшим ожесточением. Турки были вдвое многочисленнее; но русская храбрость, подкрепляемая дисциплиною, восторжествовала. Укрепленный лагерь взят был приступом: артиллерия, обозы, множество знамен, бунчуков и пленных достались победителям. Турецкое войско было разбито и рассеяно. Слава увенчала новыми лаврами русское оружие.

Полк наш был в деле и отличился более других. Но мы много потеряли убитыми и ранеными, сражаясь с отборными неприятельскими войсками. В свалке с спагами я немножко погорячился и врезался с моими гусарами в самую средину густой их толпы, которая не могла бежать от нас, потому что

дефилея занята была янычарами. Суматоха была ужасная! Янычары стреляли в нас с боков дефилеи и из оврага; спаги рубились, как отчаянные: от крику и выстрелов нельзя было слышать команды; трубы гремели атаку, и мы рвались вперед чрез ряды неприятельские. Я попал в такую тесноту, что едва мог владеть саблею. Удары посыпались со всех сторон, и я наудачу рубил направо и налево. Но вскоре я почувствовал, что кровь заливает мне глаза и что левая рука не в силах держать лошади. В это время кто-то схватил мою лошадь за поводья и потащил насильно назад. Выбравшись из толпы на дорогу, я протер глаза и увидел, что это был — Петров.

Я получил две раны в голову, одну в левую руку и одну в правое плечо. Кровь текла ручьями, и я ослабевал ежеминутно. Отъехав с версту от места сражения, Петров снял меня с лошади, вынул из своего чемодана готовые бинты, компрессы и корпию, обмыл раны мои водою с уксусом, перевязал их, потом посадил на лошадь, сел сзади седла и, держа меня в своих объятиях, повез в вагенбург, привязав свою лошадь к моему стремени.

Раны мои были не опасны, но болезненны. Опасались только, чтоб от излишней потери крови слабость моя не превратилась в истощение. Я едва мог передвигать ноги и воспользовался первым случаем, чтоб отправиться в Россию.

Петров не отходил от меня ни на одну минуту и даже спал при мне. Ни одна нежная мать не может иметь такого попечения о единородном, любезном ей сыне, какое имел обо мне отставной солдат. Добрый Петров сам варил для меня пищу, давал лекарство, перевязывал раны, водил под руки прогуливаться; днем, во время сна, отгонял мух, ночью вскакивал, лишь только услышит, что я стонаю или кашляю. Он жил только для одного меня, и когда я хотел благодарить его, он всегда морщился и говорил:

— Когда вы благодарите меня, ваше благородие, мне что-то неловко и нехорошо, как будто стыдно чего. Ведь я должен служить моему командиру: за что же благодарить! Выздоравливайте. Иван Иванович, вот этим так потешите меня.

Приехав в Каменец-Подольск, я написал

письмо к Ми-ловидиыу в Киев, намереваясь отправиться к нему, если он находится в этом городе. Я адресовал письмо к знакомому мне коменданту, который уведомил меня, что Миловидин помирился с дядею и уехал с ним вместе в Петербург. Это поразило меня, потому что денег было у меня весьма мало и я не мог доехать с ними до Москвы.

— Худо, брат, без денег, — сказал я Петрову.

— Правда, сударь, только нам нельзя на это жаловаться.

— Как, да у меня всего тридцать червонцев!

— Немного поболее, — сказал Петров, вышел в другую комнату и принес два тяжелые череса.

— Это что значит? — воскликнул я с удивлением.

— Ваши деньги, сударь, — отвечал Петров. — Здесь счетом полторы тысячи полновесных турецких червонцев, да вот, кроме того, алмазное перо.

— Откуда же ты взял это?

— Взяли вы, а я только припрятал. Когда

ночью вы забрали в плен пехотинцев, я снял с их начальника чалму и кушак, чтоб они не достались другому, а когда вы в глазах целого полка подцепили этого удалого агу, я поскакал на то место, где он свалился как сноп, и также подобрал его чалму, зная, что турки прячут в ней свои червонцы. Кроме того, в седле я нашел горсти две золота, и вот из этого и составилась у нас казна. Я не говорил вам прежде, опасаясь, чтобы вы не вздумали отдать деньги назад туркам, а еще более, чтобы не проиграли их, потому что вы уже начали проигрывать на биваках, от скуки.

— Послушай, Петров, это твои деньги, и я не соглашусь иначе взять их, как взаймы.

— Отчего же они мои, когда вы добыли их, жертвуя жизнию? Добыча в сражении не грех и не стыд, а грешно и стыдно обирать своих да выгадывать на провианте, на фураже да на гошпиталях! Но Бог с ними, а денежки-то наши! Берите как угодно, взаймы или на сохранение, только возьмите: они ваши.

Я продал моих лошадей и оставил у себя турецкое оружие и конский прибор, в памяти моего торжества. Купив покойную коляску, я

отправился для излечения ран в Москву, куда и прибыл благополучно в конце осени.

Глава XXXI
Отставка. Отъезд в Петербург. Разница между петербургским и московским обществом Злодейский умысел. Несчастная Олинька. Я заключен в тюрьму Можно быть счастливым и в бедствии

Приехав в Москву, я тотчас полетел в монастырь к матушке, которая едва не лишилась чувств от радости, увидев меня с знаком отличия. Но бледность моя и слабость привели ее в беспокойство, и она советовала мне выйти в отставку, опасаясь, чтоб военная служба не расстроила вовсе моего здоровья. Мир был заключен; добрый мой полковник произведен в генералы и полк отдан другому полковнику. Мне самому хотелось отдохнуть и насладиться жизнью, и я, собрав мои атте-

статы, подал прошение и получил отставку с повышением в чине и позволением носить военный мундир. Навестив всех моих знакомых и покровительниц, которые уже знали из реляций о моих подвигах и приняли меня благосклонно, я стал лечиться и два месяца не выходил из дому. Матушка посещала меня ежедневно, и я в совещаниях с нею решил, чтоб мне отправиться в Петербург и, имея теперь право на покровительство, просить о каком-нибудь покойном месте, которое могло бы доставить мне пропитание. Кроме того, любопытство влекло меня в знаменитую столицу, где я надеялся также найти Миловидина и кузину Анету, которая наконец соединилась с своим мужем и переселилась в Петербург. Поправившись в здоровье и запасшись рекомендательными письмами, я в конце зимы отправился в путь.

Я приехал ночью и остановился в Демутовом трактире. На другой день поехал я по городу, чтобы ознакомиться с положением улиц, которые знал по плану. Повсеместная чистота, порядок, какая-то милая простота в самом великолепии произвели во мне прият-

ное впечатление и вселили высокое мнение об образованности жителей. Здесь я не встречал ни готических экипажей, как в Москве, ни арлекинской ливреи; не нашел ни грязных московских переулков, ни пестрых домов с уродливыми изваяниями, ни неопрятных лавок, ни полуразрушенных хижин рядом с пышными и пустыми палатами. Доселе я не имел никакого понятия о европейском городе и теперь только понял, отчего петербургские жители называют Москву огромною деревней. Правда, что Москва имеет преимущество пред Петербургом своим местоположением, древностями и историческими воспоминаниями. Москва есть сердце России, а Петербург голова. Москва есть то же для русских, что был Рим для потомков Ромула, когда Константин Великий перенес престол в прелестную Византию. Москва есть колыбель всех древних русских фамилий и могущества России, и как ни мил русскому Петербург, сей памятник величия Петра Великого и его преемников, но сердце его всегда сильнее бьется при воспоминании о Москве. Подобно Мухаметанину, которому вера повеливает посетить

Мекку хотя однажды в жизни, русский почитает за священный долг посетить Москву. Вид Кремля и храмов Божиих, где сосредоточивались желания, надежды, радости и скорби наших предков, питает душу и возвышает любовь к отечеству.

Я отыскал кузину Анету, которая чрезвычайно мне обрадовалась. Она познакомила меня с своим мужем, огромным и толстым человеком с татарскою физиономиею, который жил своим чередом, не заботясь о жене, играл в вист, ел и пил за десятерых и занимался поставкою вина в казну. Он поклонился мне довольно сухо, просил посещать его и, оставив наедине с женою, отправился — есть устрицы. Кузина Анета сказала мне, что Миловидин был с женою и с дядею в Петербурге, для уничтожения духовного завещания, разных записей и векселей, которые Авдотья Ивановна заставила его подписать, когда он находился в ее когтях. Окончив все дела благополучно, Миловидин решился навсегда отречься от общества большого света, который ему наскучил; он купил себе прелестное имение в Крыму, на южном берегу, и поселился там,

вместе с своим дядею, который все свои прежние привычки заменил страстью к гран-пасциянсу и чтению «Московских ведомостей». Он сделался великим политиком и, по прорицаниям Мартина Задека, Великого Альберта и по Брюсову календарю, предсказывал великие перемены в мире. Миловидин и жена его положили правилом слушать его два часа в сутки, и за это он отдал им все свое имение.

Кузина Анета познакомила меня в некоторых домах лучшего общества; кроме того, я имел ко многим значащим людям письма из Москвы, и так вскоре я составил себе большой круг знакомства. Петербургское общество гораздо холоднее московского, и в каждом доме стараются перенимать этикет и приличия сверху. Присутствие иностранных послов сообщает обществам дипломатическую важность и какую-то воздержность, которые чрезвычайно стесняют человека в обращении. Здесь не любят ни рассказчиков, ни весельчаков, ни людей, занимающих общество своими дарованиями, которых так честят в московских беседах. В петербургском обществе каждый человек должен говорить

по нотам, ходить по плану и являться в дом по востребованию, как в комедии. Здесь каждое знакомство рассчитано и ведется по значению, по связям, по родству. Каждый почитает своих знакомых ступенями в лестнице к своему возвышению или выгодам и набирает их столько, сколько нужно, чтоб добраться доверху. Одних принимают для того, что они нужны, других для того, чтоб они служили для забавы нужных людей. Забава — игра в карты; итак, кто может играть в большую игру, тот принимается в обществах, чтоб составлять партию важных лиц. Петербург слывет музыкальным городом, или, сказать справедливее, городом, где много поют и играют на разных инструментах. Это правда, но из этого не должно заключать, чтоб здесь было много истинных знатоков и любителей музыки. Играют в карты для того, чтоб менее говорить; слушают музыку для той же причины; за обедом говорят о погоде. Здесь не любят разговаривать, потому что каждый чего-нибудь ищет или надеется, а в таком случае опасно проговориться. Московская откровенная болтливость, непринужденность в обхождении, ста-

ринное русское хлебосольство почитаются здесь грубостью и старинною дикостью. Здесь не просят так, как в Москве, с первого знакомства каждый день к обеду и на вечер, но зовут из милости, и в Петербурге, где все люди заняты делом или бездельем, нельзя посещать знакомых иначе, как только в известные дни, часы и на известное время. В Москве составлен какой-то причудливый язык из французских и русских слов, в Петербурге вы не услышите по-русски ни одного слова; должно говорить по-французски с такою чистотою произношения, как в Париже; сделать ошибку против правил французского языка почитается невежеством. В Москве *иногда* говорят о русской литературе, о русских журналах, о писателях; а в Петербурге это почитается дурным тоном. Высокое воспитание полагается в том, чтоб судить о французской литературе по курсу Лагарпа, по статьям из журнала прений (journ. des Debats) и читать английские романы в подлиннике. Ни одного прославленного писателя, ни одного знаменитого русского артиста не примут в высшее общество, если он не пользуется особенным покровительством

какого-нибудь значащего человека. Одно исключение из правила, а именно уважение к московским связям: хозяин или хозяйка, представляя нового человека, *не значащего* в свете, извиняется тем, что это *знакомый по Москве*. Петербургское общество в молодых летах приобретает навык к холодности в обращении, которая делает молодых людей несносными и скучными. Они дружатся не по сходству вкуса и образа мыслей, но по значению и связям их родственников. Каждый человек, который не может им ничего сделать, не в состоянии помочь, пособить к возвышению ни собственным влиянием, ни связями, почитается у них лишним в обществе; они обходятся с ним гордо и даже избегают его знакомства. Женщины милы, как везде, когда они хороши собою и обходительны. Но женщины здесь также подчинены всеобщему духу искательства, как и мужчины, холодны в обращении и слишком, слишком смиренны, по крайней мере — на вид. Нежность и сострадание в такой моде, как шляпки. Московские барыни бранятся, ветреничают, но помогают от души. Здесь вздыхают, прекрасно го-

ворят о нравственности — и разыгрывают лотереи для бедных. Петербургский бал кажется устроен комитетом из французского балетмейстера, церемонийместера китайского, немецкого рыцаря печального образа и итальянского декоратора. Все на своем месте, всего довольно, а более всего скуки. В Москве, напротив того, иногда танцуют не в такт, иногда музыканты разногласят, иногда в числе восковых свечей находятся сальные, иногда полы скрипят в танцевальной зале; за *сытным* ужином иногда с избытком льется шампанское; иногда на бале бывает более шуму, нежели на Красной плащади: но там веселятся не из приличий, а от чистого сердца; приезжают нарочно в город, чтобы потанцевать и повеселиться... Но я слишком заговорился и позабыл сказать, что нет правила без исключения, и все, что здесь говорится в общем смысле, должно брать только в частности.

Я играл в вист в большую игру, танцевал, говорил чисто по-французски, пел и играл на фортепиано в домашних концертах, ездил в карете четверкою и имел связи *по Москве*, то

есть мог с полчаса говорить с хозяйкою о московской ее родне и знакомых, следовательно, меня везде принимали и приглашали в домы. Но, привыкнув в Москве к дружескому и ласковому со мною обхождению, я скучал в обществах, где хозяева едва удостаивали меня взглядом и вопросом о здоровье или о погоде. Я не был никому *нужен*, и потому, принимая меня, думали, что мне делают *одолжение*. Я приметил даже, что в обществах составилась против меня враждебная партия из злых старых и молодых людей, надутых несносною гордостью.

Дружба кузины Анеты и небольшой, но отличный круг ее знакомства вознаграждали меня за скуку в большом свете, где кузина Анета появлялась только для приличий.

Наступило лето, город опустел, все разъехались по дачам, и я еще ничего для себя не сделал. Кузина Анета советовала мне приобресть прежде милость какого-нибудь значащего вельможи, а после стараться о месте. Вельможи были со мною чрезвычайно ласковы за карточными столами и в разговорах о погоде; но лишь только я намекал о желании

моем быть полезным службою, об усердии моем к общему благу, лицо вельможи принимало такой холодный вид, что мороз пробегал у меня по жилам. Я скорее бы решился броситься в толпу спагов, чем из ледяного сердца извлекать искру соучастия к моей судьбе. Женщины просили только за свою родню, и так я решился подождать благоприятных обстоятельств.

Однажды, выехав поутру со двора и возвратясь домой, чтоб переодеться к званому обеду, я нашел письмо следующего содержания, писанное по-французски женскою рукой:

«Я знаю, что вы столь же скромны, как и любезны.
Приезжайте сегодня в 12 часов вечера, в деревню Емельяновку, за Екатерингофом. Оставьте экипаж за деревней и ступайте пешком, один, по взморью. Там, в уединенном домике, над окнами которого увидите венок из свежих ветвей, ожидает вас особа, которая принимает живейшее участие в судьбе вашей. Обстоятельства принуждают ее скрываться и быть другом вашим

втайне.
Приезжайте — вы все узнаете».

«Любовная интрига», — подумал я. Итак, и здешние скромницы, которые едва поднимают глаза в присутствии чужого мужчины, любят уединенные загородные домики! О, эти дачи — прелестное изобретение! Можно жить рядом, сходиться на прогулках в уединенном домике, нанятом на имя какого-нибудь чиновника, ездить к колонистам кушать сливки и т. п. «Прекрасно, прекрасно! — думал я. — Это меня рассеет, вознаградит за скуку». Я решился ехать на место свидания.

В двенадцать часов я был в условленном месте, нашел уединенный домик, постучался в калитку, старуха крестьянка отперла ее, и я вошел в избу. В первой комнате я не нашел никого, кроме лакея, который стоял у дверей; он тотчас защелкнул их и вышел в сени, лишь только я переступил чрез порог. В сию самую минуту вышли три незнакомые мне человека из другой комнаты, и один из них подошел ко мне, просил присесть рядом с ним на скамье и выслушать его. Я был несколько встревожен этою внезапною и

неожиданною сценою, но решился терпеливо дождаться конца.

— Иван Иванович! — сказал мне незнакомец. — Вы находитесь теперь в таком положении, что от вас единственно зависит погибнуть невозвратно или быть навсегда счастливым. По рождению, хотя незаконному, вы принадлежите к фамилии, которая хочет устроить судьбу вашу. Если вы согласитесь подписать бумагу и сознать ее здесь же, в маклерской книге, то этим поступком вы загладите несправедливость одного из членов этой почтенной фамилии, получите тотчас двадцать тысяч рублей наличными деньгами и, сверх того, будете всю жизнь пользоваться покровительством весьма важных лиц; достанете место, какого сами пожелаете; будете иметь чины, ордена; женитесь богато; словом, будете счастливы. В противном случае погибель ваша неизбежна. Противу вас собраны показания к обвинению в важных преступлениях, и вам не миновать Сибири, а может быть, еще чего-нибудь худшего. Вы человек одинокий, безродный, без покровительства: знакомые ваши оставят вас при первом

несчастии, и женщины, которые помогали вам в малых ваших делах, откажутся от преступника, против которого будут действовать люди сильные, богатые. Решайтесь, вот бумаги и чернила: подпишите — и с Богом! Деньги, если угодно, возьмите прежде: вот оне!

Пока один из незнакомцев говорил, другой положил на стол два листа гербовой бумаги, исписанные кругом, и большую книгу, а третий считал ассигнации. Помолчав немного, я отвечал:

— Милостивый государь! если дело ваше чистое, то вам надлежало бы отнестись ко мне с предложениями прямо, без всяких таинств. Сначала прошу вас растолковать мне, какая фамилия требует от меня очищения несправедливости одного из ее членов? Знаю, что я обязан рождением на свет князю Ивану Александровичу Милославскому, последнему в роде. Он умер от ран, не зная даже о моем существовании, ибо оставил мать мою беременною. Имение его разделено на четыре части между его двоюродными племянниками, которых я даже вовсе не знаю, потому что они воспитывались где-то за границею и те-

перь служат при Миссиях. Я не был никогда в связях с родными покойного моего отца и не имел с ними никаких сношений по делам. Итак, позвольте мне прежде прочесть бумаги, которые я должен подписать, после раздумать хорошенько и, наконец, решиться на что-нибудь. Вы напрасно стращаете меня Сибирью и мнимыми моими преступлениями. Знаете, что я нетрусливого десятка, имею свои заслуги и найду себе покровительство в законах моего отечества. — Сказав это, я встал и подошел к столу, чтоб взять бумаги; но один из незнакомцев тотчас схватил их и спрятал за пазуху.

— Итак, вы не хотите подписать? — спросил меня прежний незнакомец.

— Я ничего не подписываю, не читая, — отвечал я.

— Это последнее ваше слово?

— Последнее.

— Так пеняйте на себя, — сказал незнакомец. Он велел подавать карету. Несколько минут мы провели в молчании; вдруг четвероместная карета подъехала к крыльцу, и я, взглянув в окно, увидел, что в карете сидела

женщина. Три незнакомца взяли книгу, вышли поспешно из избы, сели в карету и поехали. Я остался один в доме.

Крестьянин хозяин и старуха, мать его, вошли в комнату и спросили, не угодно ли мне здесь ночевать?

— Кто здесь нанимает квартиру? — спросил я.

— Да не знаем, батюшка, — отвечал крестьянин, — домишка у нас стоит пустой целое лето, а вчера господа приехали, наняли на одне сутки, пообедали здесь, да вот и уехали. Ведь вам-то лучше знать, кто они.

Я вышел из дому и пошел поспешно к моей карете, размышляя об этом необыкновенном происшествии. Спустясь вниз к морскому берегу и проходя мимо кустов, я услышал шорох. Я оглянулся, и в то же мгновение раздался выстрел: пуля просвистела мимо моей головы. Ночь была ясная, как день; вдруг из кустов поднялся человек, и я узнал — Воровати-на!

Он пустился бежать из всей силы, между кустами, и на бегу заряжал ружье. Будучи безоружен, я не осмелился его преследовать и

побежал к тому месту, где оставил свою карету. Но я не нашел ее и, на песке увидев следы поворота ее, догадался, что она, вероятно, отправлена в город злоумышленниками. Я поднял с земли дубину для моей защиты и пошел по берегу моря, в Екатерингоф.

Я шел быстрыми шагами, часто оглядываясь, в опасении погони или засады. На половине дороги я услышал шелест в лесу. Сохранив все мое хладнокровие, я решился устремиться навстречу опасности, которой избегнуть было невозможно, зная, что в решительную минуту смелость торжествует всегда над расчетливостью. Подняв на плечо мою дубину, где мелькало что-то, я бросился вперед и встретил — женщину.

— Пощадите меня! ах, пощадите меня! — воскликнула она. — Я и так уже несчастна.

Я остановился, как громом пораженный. Этот голос был знаком моему сердцу; он тронул меня и привел кровь мою в движение. Мне казалось, что я слышу голос Груни. Я взял женщину за руку, в безмолвии вывел из лесу, взглянул ей в лицо, глаза наши встретились, и внезапный трепет пробежал по всем

моим жилам. Девица в самом цвете юности, прелестная, как ангел, стояла передо мною и, сложив руки на груди, взорами умоляла о сострадании. Я смотрел на нее и не мог вымолвить слова. Темно-каштановые ее волосы были в беспорядке и небрежно лежали на плечах. Длинные ресницы омочены были слезами; темно-голубые глаза, припоминающие мне очаровательные глаза Груни, выражали страх и надежду; прелестные уста были полуоткрыты и, казалось, готовы были умолять меня о жалости. Она была в белом платье и прикрыта темным плащом.

— Что вы делаете здесь в лесу, одни и в такую пору? — спросил я наконец.

— Я бежала от измены, от предательства, от разврата и не знаю, где укрыться; боюсь одна возвратиться в город; не имею убежища, где приклонить голову!

— Пойдемте, я буду вашим провожатым, защитником. Здесь я также нашел измену, предательство, убийц.

Не ожидая ответа прелестной девицы, я взял ее за руку и потащил за собою. Рука ее трепетала в моей руке; она с беспокойством

поглядывала на меня и поспешно следовала за мною. Я остановился.

— Вы боитесь меня, — сказал я. — Клянусь Богом и честью русского офицера, что я не имею никакого злого умысла противу вас: я готов пожертвовать жизнью для защиты вашей чести, и пока я жив, никто не осмелится прикоснуться к вам.

— Я верю вам, — сказала девица. — Будьте моим ангелом-хранителем: я несчастна, очень несчастна!

Я был в таком смущении, что не мог более говорить и шел в безмолвии, держа девицу за руку. На конце деревни, примыкающей к Екатерингофу, я увидел мою карету. Наемный лакей спал на траве, кучер и форейтор дремали. Я разбудил их.

— Зачем ты оставил место, где я велел тебе дождаться меня? — спросил я лакея.

— Мне велели вашим именем, отъехать в Екатерингоф.

— Кто?

— Какой-то лакей в ливрее с галунами.

Догадка моя подтвердилась. Я просил девицу сесть в карету. Она повиновалась в молча-

нии.

— Где вы поместите меня? — сказала она, заливаясь слезами, когда я велел гнать в город, во всю конскую прыть. — Я вам сказала, что не имею убежища. Я бедная сирота, брошенная судьбою на свет, без пристанища.

— Будьте спокойны, я холост и не осмеливаюсь везти вас к себе. Я вам доставлю убежище у одной почтенной дамы; но прошу вас, не скрывайтесь предо мною и расскажите мне свои несчастия.

— Без сомнения, я должна вам рассказать все случившееся со мною; но дайте мне слово не преследовать людей, ввергнувших меня в то положение, в котором вы нашли меня.

— Даю вам слово!

— Итак, слушайте. — Отец мой был чиновник штаб-офицерского чина, из бедных дворян. Он служил секретарем при начальнике, который был женат на богатой вдове, имевшей дочь от первого брака: эта дочь моя матушка. Секретарь любил падчерицу своего начальника и был любим взаимно. Любовники, не надеясь получить согласие гордого вотчима, обвенчались тайно. Скажу коротко: брак

был открыт, дочь выгнана из дому и лишена наследства, которое утверждено за детьми от второго замужества. Отец мой исключен из службы.

Батюшка мой, снискивая пропитание тяжкими трудами, умер за пять лет пред сим. Матушка сама занималась воспитанием моим, учила меня иностранным языкам, музыке, женским рукоделиям и снискивала пропитание трудами рук своих и преподаванием уроков в женском пансионе. Вот уже два года, как она скончалась, оставив меня бесприютною сиротой!.. — При сих словах девица горько заплакала. Помолчав немного, она продолжала: — Пансион, в котором матушка моя преподавала уроки, не существовал более. Я никого не знала в городе, кроме француженки, содержательницы модного магазина, куда я носила на продажу работу маменькину. Я пошла к француженке и со слезами просила принять меня в работницы. Она исполнила мою просьбу и дала мне почетное место между швеями; ласкала меня, одевала очень хорошо и вообще обходилась со мною лучше, нежели с другими швеями. Я писала к моей

бабушке Москву, изобразила ей несчастное мое положение, но не получила ответа. Два года я прожила спокойно в магазине. Вчера мне исполнилось шестнадцать лет.

Хозяйка подарила мне новое платье в день моего рождения, ласкала более обыкновенного, посадила с собою за стол к обеду, возила прогуливаться за город и под вечер, призвав в свою комнату, сказала:

— Олинька! возьми этот короб с бальным платьем и отвези в моей карете на дачу, по Петергофской дороге, к этому старику, который так часто бывает здесь и так ласков с тобою. Это платье для его дочерей. С нынешнего дня ты должна заступить место моей помощницы и исполнять мои комиссии. Господа любят, когда к ним являются такие миленькие магазинщицы, и гораздо лучше платят, нежели нам, старухам. Будь вежлива, друг мой, не дичись, знай и помни, что ты не дурна собою, и умей пользоваться своею красотой — юность не приходит два раза в жизни.

Не смея ослушаться хозяйки, я взяла короб, села в карету и поехала, куда кучер повез меня. Я очень знала в лицо старика, к которо-

му послала меня хозяйка, но не знала, как зовут его. Он много покупал и заказывал в нашем магазине, дарил швей конфетами и обходился с нами очень ласково и вежливо. Я приехала к нему на дачу довольно поздно. Лакей ввел меня в залу и просил следовать за собою во внутренние комнаты. Думая, что он проведет меня к барышням, я смело шла за ним и очутилась в кабинете старика. Он сидел в халате на софе, перед которой стоял столик с плодами, вареньями и вином.

— Присядь здесь, мой ангел, — сказал он.

— Но где барышни? — спросила я в смущении, сама не зная причины.

— Они тотчас придут. Да присядь же, не упрямься!

Я села на стуле, но старик насильно посадил меня на софе и стал потчевать плодами и вином. Я отказалась от вина, но из вежливости должна была отведать плодов. Старик стал гладить меня по лицу, и я, извиняя его летам, не обращала на это внимания; но когда он начал позволять себе вольности, неприличные ни ему, ни мне, я с негодованием вскочила с места и хотела выйти из ком-

наты. Старик удержал меня за руку и сказал:

— Послушай, милая, не ребячься и не будь упряма. Полюби меня — и ты будешь навеки счастлива!

Я посмотрела на него с презрением и не могла вымолвить ни слова от избытка негодования. Старик продолжал:

— У меня старая и злая жена, и если ты захочешь усладить жизнь мою своею любовью, я с первого дня подарю тебе тридцать тысяч рублей и формальною судебною сделкой обещаю тебе платить в год по десяти тысяч. Ты еще так молода, что чрез десять лет найдешь себе мужа, а если будешь любить меня в течение этого времени, то я обещаю тебе на десятом году еще тридцать тысяч рублей.

Терпение оставило меня.

— Как вы смеете предлагать мне позор и разврат? — воскликнула я. — Видно, что вы не знали в жизни ни одной честной женщины, когда смеете предполагать, что любовь можно купить за деньги. И не стыдно ли вам, в ваши лета, будучи женатым, развращать бедную девушку?

— Но твоя мадам, душенька, уж продала

мне тебя. Ты ей должна за одежду, за содержание...

— Хозяйка моя такое же гнусное существо, как и вы! — сказала я, выдернула руку и, когда он хотел заступить мне дорогу, толкнула его так, что он присел на софу. — Бесчестный искуситель! — сказала я, остановясь посреди комнаты и взяв нож в руки. — Выпусти меня, или я научу тебя, как оскорблять русскую дворянку. Знай, что я дочь надворного советника Александра Уральского и генеральской дочери Евгении Славиной. Я равна тебе по роду и не хочу сравнивать себя с тобою по чувствам. Выпусти меня, злодей! — Лишь только я назвала моих родителей, старик закрыл глаза руками и, воскликнув: «Боже мой!», убежал в другую комнату.

Не будучи в состоянии отпереть двери и не осмеливаясь идти в ту комнату, куда скрылся старик, я отворила окно, выскочила в сад, а из саду чрез калитку выбежала на дорогу. В соседней даче я спросила, кто живет в этом доме, и узнала, что мой искуситель Грабилин, муж моей бабушки, изверг, лишивший наследства мою матушку.

— Грабилин! — воскликнул я. — Этот развратник знаком мне от детства. Боже мой, какая странная судьба!

Ольга продолжала:

— В ужасе, в негодовании я не знала, где укрыться. Я боялась идти в город, чтоб злодей не велел догонять меня, и пошла в противуположную сторону. Увидев дорогу направо, я пошла по ней, не рассуждая, куда она приведет меня, и наконец очутилась в лесу. Мне надобно было отдохнуть. Я села под деревом и принялась горько плакать: это облегчило мое сердце. Не зная, куда деваться, и страшась показаться одна на дороге, в лесном месте, я ожидала случая, пока какой-нибудь добрый человек пройдет мимо. Несколько карет проехало по дороге, и больше никого не появлялось. Я начала отчаиваться и решилась ночевать в лесу, как вдруг появились вы и прямо пошли ко мне. Мне было страшно, но когда вы посмотрели мне в глаза, боязнь исчезла и я почувствовала, право, не знаю, не страх, но что-то страшное и вместе утешительное. Я боялась мужчины; но сердце мое шептало мне, что я нашла великодушного защитника. В ва-

ших глазах я вычитала, что вы меня не обидите.

— Сердце ваше угадало, Ольга Александровна: отныне я ваш отец, брат, защитник! Положитесь во всем на Бога и на меня. Пока я жив, вы ни в чем не будете иметь нужды, и я ничего не требую от вас, ничего, кроме одной милости, чтоб вы верили мне, что я готов жертвовать для вас жизнью без всяких видов. Верите ли мне?

Она сжала мою руку и сказала сквозь слезы:

— Верю, благородный человек: Бог наградит вас! Я велел кучеру ехать к доброй кузине Анете.

Уж было три часа утра. В доме все спали, но я требовал непременно, чтоб разбудили хозяйку. Она вышла ко мне, трепеща от страха, думая, что со мною сделалось что-нибудь необыкновенное. Я умолчал о происшествии со мною в уединенном домике, потому что кузина Анета не знала тайны моего рождения, но рассказал ей приключение Олиньки. Милая, добрая Анета с радостью приняла ее к себе в дом и благодарила меня за то, что я при-

вез несчастную к ней, как за оказанное ей самой благодеяние. Благородная женщина! Я возвратился домой в совершенном расстройстве.

Разумеется, что я не мог спать. Я был влюблен. Олинька возбудила во мне любовь, не ту пламенную, пожирающую страсть, которую зажгла в сердце моем очаровательная Груня, а любовь нежную, сладостную, которая не знает другого желания, кроме счастья возлюбленной, не порождает ни одной земной мысли, при воспоминании о красоте. Олинька, казалось мне, была несколько похожа на Груню, но таким образом, если б Груня велела написать портрет свой в виде ангела, с выражением скромности, которой ей недоставало. Красота Груни была блистательная, Олиньки — умилительная. Взгляды Груни пожирали сердце и приводили кровь в лихорадочное движение; взоры Олиньки проливали в душу тихое наслаждение. Мне казалось, что я оттого полюбил Олиньку так сильно, что она была несколько похожа на Груню, но я чувствовал, что если б она была похожа на Груню совершенно, то я не мог бы любить ее так

страстно. Олинька казалась мне идеалом красоты, который давно существовал в моем воображении и которого я искал сердцем. Не оттого ли я полюбил Груню, что она несколько приближалась к тому подлиннику моей фантазии, который я наконец нашел в Олиньке?

Выбившись из сил, я заснул: странные сновидения тревожили меня. Мне снилось, что ужасной величины змеи хотят пожрать меня. Я проснулся в четыре часа пополудни, в тревоге и беспокойстве: сердце мое сильно билось, и в эту минуту Петров вошел в комнату и сказал:

— Ваше благородие! Полицейские офицеры требуют, чтобы вы немедленно изволили одеваться. Вот они.

Полицейский офицер объявил мне, что он имеет приказание опечатать мои бумаги и отвезти меня в городскую тюрьму.

— Сказано ли вам, в чем меня обвиняют?

— Нет, но вы это скоро узнаете.

Догадываясь, откуда этот удар, я поспешно оделся и, оставив двух других чиновников хозяйничать в моей квартире, велел Петрову отправиться к кузине Анете, рассказать слу-

чившееся со мною, и ожидал в ее доме окончания этого происшествия.

В тюрьме мне отвели особую комнату и объявили, что если я имею деньги, то могу жить, как мне угодно, но только не выходя за ограду. Чрез час явилась кузина Анета с Олинькою. Петров был с ними. Им позволили видеться со мною в приемной комнате, в присутствии чиновников. Лицо Анеты показывало состояние ее души; Олинька не могла удержать слез своих; Петров был угрюм и важен.

— Что вы сделали? — спросила меня Анета.

— Это адская родственная интрига, которой я не понимаю совершенно, но несколько догадываюсь. Клянусь вам честью, что я ни. в чем не винен. Потерпим! Без суда меня не накажут, и тогда я узнаю, в чем меня обвиняют, и без сомнения оправдаюсь.

Я взял у Петрова несколько денег и просил Анету не ездить ко мне в тюрьму, чтоб не повредить своей доброй славе.

— Вы не знаете женщин, когда говорите таким образом, — отвечала Анета. — Женская дружба познается там, где кончится мужская,

то есть в несчастии, в опасностях. Приличия удерживают женщину только в обыкновенном течении светской жизни; но где надобно спасти, утешить, помочь, там приличия исчезают, и сердце свободно летит к сердцу несчастного. Нет, любезный друг, я вас не оставлю.

— И я также! — сказала сквозь слезы Олинька. — Вы мой спаситель, благодетель... — Она не могла более говорить: рыдания пресекли ее речь.

Должно было расстаться, чтоб освободить чиновника от тягостной для него обязанности, быть свидетелем излияния нашей дружбы.

— Ваше благородие! — сказал Петров. — Я не оставлял вас на поле сражения и никогда не покину, что бы с вами ни случилось. Пусть злодеи ваши бьют тревогу — Петров останется при вас, пока смерть не пробьет для него вечернюю зорю! Русский солдат не сходит с часов во время опасности!

Три недели я провел в заключении, в обществе с виновными и злополучными. Видел унижение человечества и несчастную добро-

детель; видел пороки и слабости и не хочу их описывать. Пусть мрачная завеса покрывает это убежище горести. Я не хочу растравлять сердечных ран моих воспоминаниями и исчислениями злодейств и пороков, которые, как ядовитые зелия, оскверняют нравственную природу человека. Предоставляю человеку с сердцем, закаленным на поприще опыта, с душою, охлажденною от соткновения с пороком, представить в живой картине внутренность тюрьмы. Верное изображение нравов существ, исторгнутых из общества, может быть поучительным, но оно всегда будет отвратительно, и я не хочу возбуждать ни в ком омерзения к человечеству; я не в состоянии этого выполнить. Я был бы несчастнее тех злополучных, которых хотел бы представить на позор. Даже чужое злодейство лежит, как камень, на сердце!

Кузина Анета ежедневно посещала меня с Олинькою. Петров только на ночь оставлял меня одного. Я узнал, что в обществах даже боялись произносить мое имя и что все упрекали себя за то, что были со мною знакомы. Только некоторые добрые женщины вступа-

лись за меня и не хотели предварительно обвинять в преступлениях, о которых никто ничего не знал.

Однажды Анета, будучи нездорова, не могла приехать ко мне и прислала Олиньку одну. Чиновник, которому получено было сторожить нас при свиданиях, удостоверившись, что в наших речах не заключается ничего предосудительного, позволял нам наконец говорить наедине и удалялся в угол, а на этот раз вовсе вышел из комнаты. Я воспользовался случаем, чтоб испытать Олиньку в ее чувствах ко мне.

— Ольга Александровна! — сказал я. — Вы не презираете меня в этом униженном положении? — Она посмотрела на меня значительно.

— Презирать вас! Но называйте меня просто Олинькою; мне как-то досадно, когда вы обходитесь со мною слишком вежливо, как будто с незнакомкою.

— Вы чувствуете ко мне сострадание, милая Олинька! Но, может быть, нам придется разлучиться навеки... Я должен признаться вам, что не могу жить без вас, что я умру, ес-

ли меня разлучат с вами!

— Расстаться с вами — никогда! — воскликнула Олинька и вдруг покраснела и потупила взоры.

— Меня преследуют люди сильные и богатые, — сказал я, — а я бесприютный сирота, как и вы. Мне угрожают даже ссылкою в Сибирь...

— Я последую за вами: буду трудиться и не оставлю вас, как вы не оставили меня!

— О, Боже, как я счастлив! Олинька, милая Олинька! я люблю тебя более жизни — и ты...

Олинька бросилась мне на шею и залилась слезами.

— Я твоя, твоя навеки! — воскликнула она, рыдая. — Может быть, я дурно делаю, что открываюсь; но я не в силах преодолеть чувства мои: я люблю тебя!

Я никогда не был так счастлив, как в эту минуту. Тюрьма мне показалась храмом блаженства. Я ничего не мог говорить, только пожимал руку Олиньки — и проливал слезы.

Вошел чиновник, и нам должно было расстаться. Я пошел в мою комнату, заперся и не показывался целый день. При избытке сча-

стья нужно уединение.

Наконец мне предложили вопросные пункты. Первое обвинение состояло в том, будто я бежал из России в киргизскую степь, разбойничал, нападал на русские пределы и грабил караваны. В оправдание мое я описал все, приключившееся со мною от выезда из Москвы, предательство Вороватина, болезнь мою, и сослался на Миловидина, Петрова и, наконец, на самого Гаюка и целый киргизский аул. Меня обвиняли, будто я в степи переменил веру. Я сослался на священников в Москве, пред которыми совершал обряды нашей церкви, после возвращения из степи. Меня обвиняли в самозванстве, будто я назвался дворянином и чрез это получил чины в гражданской службе. Я признался, что Миловидин называл меня дворянином, чтоб ввести в общество, но что в моем формуляре не сказано, из какого я звания, а просто означено, что я из вольноопределяющихся. При этом я прибавил, что я кровью приобрел личное дворянство, заслужив чин штабс-ротмистра и орден Св. Владимира. Меня обвиняли в участии с ложными игроками к обыгранию Дуринди-

ных. Я сознался, что был с ними в связях по знакомству с Груней, но объявил, что я не участвовал в этом деле, и сослался на отсутствие мое из Москвы. В заключение я описал происшествие мое в уединенном домике на Емельяновке и покушение Вороватина убить меня.

Прошла неделя от подписания мною вопросных пунктов, и я с нетерпением ожидал решения моей участи. Олинька почти не оставляла меня. Я открылся в любви моей к ней кузине Анете, которая благословила нас и взялась ходатайствовать по моему делу.

Глава XXXII
Избавитель. Не место, а преступление бесчестит человека. Праведное наказание злодея. Тайна открывается. Духовное завещание. Любовь и дружба. Процесс. Ходатаи. Секретари. Посещение судей. Везде есть добрые люди

Прошло десять дней от моего счастья, от объяснения моего с Олинькою. Утром, одиннадцатого дня, я прохаживался большими шагами по коридору, ожидая Олиньку или Петрова с письмом от нее, как вдруг вбежал чиновник, запыхавшись, в коридор, чуть не сбил меня с ног и, опамятовавшись, воскликнул:

— А, это вы, а я за вами! Пожалуйте к его превосходительству!

Не дав мне вымолвить слова, он побежал вниз, повторяя:

— Ох, мне эта чистота! беда с этими генералами!

Вошед в приемную, я увидел человека в богатом шитом мундире, с лентою чрез плечо и двумя звездами. Я поклонился и ожидал приказаний.

— Вы не узнаете меня, Иван Иванович? — сказал он. Я всматривался ему в лицо и боялся ошибиться.

— Вы не узнаете *беспокойного человека*! — примолвил он с улыбкою.

— Это вы, Петр Петрович? — воскликнул я, протянул руку и остановился. Он бросился ко мне на шею и прижал к сердцу.

— Помните ли слова мои, — сказал Петр Петрович, — что правда всплывает наверх, как елей? Вот видите, я теперь осыпан почестями, которых не искал, а клеветники мои лишились средств вредить и обогащаться, чего они добивались всеми подлостями. Но пойдем в вашу комнату, переоденьтесь и поезжайте со мною. Вы свободны, оправданы, и вся тайна вашего преследования открылась!

Не стыдитесь и не смущайтесь тем, что я нашел вас в тюрьме. В утешение ваше, я вам повторю надпись, которая находится над тюрьмою в Варшаве: «Не место, а преступление бесчестит человека».

Я полетел в мою комнату, и едва Петр Петрович успел войти в двери, я уже был одет.

— Расскажите, ради Бога, расскажите, Петр Петрович, за что меня гонят, в чем и пред кем я виноват?

— Вы все узнаете, но теперь не время. Поедемте ко мне, я вам объясню все дело.

Дорогою Петр Петрович расспрашивал меня о моей службе, о Москве, о Миловидине; но я так был занят желанием узнать тайну, что отвечал ему сбивчиво и отрывисто. Приехав к Петру Петровичу, мы заперлись с ним в кабинете, и он рассказал мне следующее:

— Дело ваше поручено было мне к исследованию. Лишь только я прочел ваши ответы на вопросные пункты, тотчас догадался, что это продолжение той же интриги к погублению вас, которая едва не лишила вас жизни в Оренбурге. Вороватин давно был известен мне как человек безнравственный, способ-

ный на всякое злодеяние. Я велел взять его под стражу. В квартире у него нашли связки поддельных ключей, инструменты для делания фальшивых ассигнаций, ложные паспорты, подорожные, множество краденых вещей, одним словом, все признаки сношений и участия с злодеями и ворами. Я велел допросить некоторых из них, содержащихся под стражею, и они признались, что Вороватин был их покровителем, брал их на поруки, скрывал у себя их воровские орудия и краденые вещи, выдавал паспорты, подорожные и указывал, где надлежало красть. Вороватина замешали даже в нескольких смертоубийствах. Я обещал ему облегчить его участь, ежели он будет искренен в показаниях, особенно на ваш счет. Этот злодей так струсил, что наговорил даже более, нежели от него требовали. Он присужден к лишению своего звания и к ссылке в каторжную работу. Вот что я узнал об вас от Вороватина.

Отец ваш, князь Иван Александрович Милославский, был человек честный и благородный. Отправляясь на войну, он сделал духовное завещание, в котором назначил 250 000

рублей младенцу, который родится от крестьянской девушки Авдотьи Петровой. Деньги и завещание лежат поныне в Опекунском совете. Исполнителем завещания назначил он друга своего, графа Безпечина, и поручил ему отыскать несчастные жертвы его слабости. В завещании между прочим сказано, что законные наследники тогда только могут воспользоваться этою суммою, когда представят ясные доказательства о смерти младенца, и в таком случае должны платить его матери, по смерть, по 6000 рублей в год. Когда же в течение тридцати лет не явятся ни крестьянка Авдотья Петрова, ни рожденное от нее дитя, тогда наследники имеют право взять сумму в свое распоряжение.

Граф Безпечин посылал своего поверенного отыскивать вашу матушку, но поиски его остались без успеха, и он не возобновлял их, а вскоре вовсе позабыл об этом деле. После смерти вашего отца огромное имение разделили между двоюродными его племянниками, двумя графами Ничтожиными и двумя Честинскими, детьми двоюродных братьев князя. Мать графов Ничтожиных, родом ита-

льянка или, как некоторые утверждают, перотка, явно кричала против завещания, но не смела ничего предпринять потому, что граф Безпечин был в силе и что фамилия Честинских не хотела нарушать воли завещателя. Прошло много времени, пока наконец Вороватин познакомился с вами. Зная все обстоятельства дела, по связям своим с графинею Ничтожиною, и видав часто покойного вашего отца, он, по сходству вашему с князем и по вашему рассказу, стал догадываться, что вы сын князя Милославского и что Аделаида Петровна есть та самая Авдотья Петрова, которую тщетно отыскивал граф Безпечин. Подкупив служителя вашей матушки, он с графинею Ничтожиною пересмотрел, во время ее отсутствия из дому, все ее вещи и бумаги, и они нашли портреты князя Милославского и некоторые его письма, которые удостоверили в истине догадок Вороватина. Опасаясь, чтоб известие о духовном завещании не дошло со временем до вас, она решилась удалить вас из Москвы. Вороватин представил ей к услугам известного злодея, Ножова, который взялся убить вас и матушку вашу. Графиня, при

всей превратности своего характера, не согласилась на это злодеяние; но, желая воспользоваться вашими деньгами, обещала Воровати-ну пятьдесят тысяч, если он выманит у вас отречение от наследства, квитанцию или что-нибудь подобное. Вороватин привязался к вам, как змея, чтоб вползть в ваше сердце и, снискав доверенность, обмануть вас. Он воз-намерился поселить в вас страсть к игре, раз-вратить вас и после выманить отречение за безделицу. Любовь ваша к Груне подала ему новые надежды, и когда вы согласились от-правиться с ним в Оренбург, он уже не сомне-вался в успехе, тем более что вам исполни-лись совершенные лета для подписки всяких сделок. Ножов послан был графинею для по-мощи Вороватину и для привезения ей ожи-даемой сделки. Им велено было поспешить делом, потому что в Москву ожидали графа Безпечина и опасались, чтоб он случайно не узнал Аделаиды Петровны.

Внезапная болезнь ваша расстроила их планы, и злодеи решились умертвить вас, подписаться под вашу руку и получить день-ги от графини. Провидение спасло вас от

смерти. Подделка квитанции, в получении будто бы вами денег от графини, и передача ей права к наследству также не удались. Хотя они искусно подписались под вашу руку, но не нашли в Оренбурге маклера к ложному сознанию этого документа, без личного вашего присутствия. Притом же злодеи поссорились между собою, и Вороватин предал Ножова в руки правосудия, а сам ускользнул от мести своего сообщника, поселился в Петербурге, притворился святошею и снискал дружбу и покровительство равного ему злодея, хотя в другом роде, Притягалова, того самого, который погубил меня и о котором я вам расскажу после. Графиня между тем уехала за границу и жила в Италии с детьми своими, до вашего приезда в Петербург. Услышав ваше имя в одном обществе и узнав вас по вашему сходству с покойным князем, она снова вознамерилась попытаться лишить вас наследства, которое теперь возросло за миллион. Злые встречаются между собою скорее, нежели добрые. Вороватин отыскал графиню и предложил ей свои услуги. Не надеясь теперь выманить у вас отречение от наследства хит-

ростью, они решились прямо предложить вам, не читая, подписать бумагу, угрожая доносом и преследованием и привлекая деньгами. Намерение дерзкое и довольно глупое; но злодеев иначе нельзя было бы изобличать и наказывать, если б от излишней дерзости они не делали глупостей. Он подобрал сообщников между выгнанными из службы подьячими, нашел услужливого маклерского помощника, и они сыграли с вами неудачную драму в уединенном домике, на Емельяновке. Когда же вы отказались от подписания бумаг, то озлобленный Вороватин, опасаясь, чтоб вы не отыскали его случайно в Петербурге, решился убить вас и выстрелил из кустов. Между тем донос на вас уже был приготовлен и подан одним из сообщников Вороватина. Для исследования столь важных преступлений, в каких вас обвинячи, надлежало приступить к мерам решительным и скорым. Вас задержали, и дело поручили мне. Я не хотел видеться с вами, чтоб не подать подозрения в пристрастии по причине нашего знакомства. Впрочем, я исследовал дело по всей строгости законов, и вы оправданы потому только, что вы

правы, а не потому, что исследовал дело Виртутин, который вас любит. Если б вы были родной мой сын, а виновны, то я бы подписал ваш приговор. Вот развязка тайны. Графиня подала просьбу об уничтожении духовного завещания, ссылаясь на земскую давность и на то, что деньги, завещанные вам, были не благоприобретенные князем Милославским, а полученные в наследство; и таким образом, вдобавок к своим преследованиям, навязала вам процесс, который едва ли не тягостнее плена у киргизов. Вы должны защищаться, но я вам не советую вводить в дело показаний Вороватина, потому что для обвинения графини в участии с ним нет никаких письменных доказательств, а фамилия Ничтожиных чрезвычайно сильна и многочисленна, следовательно, не должно касаться ее чести. К тому ж это ни к чему не послужит в тяжбе о законности духовного завещания и навяжет вам более хлопот. Теперь прощайте; займитесь своим делом, найдите знающего поверенного, а я буду вам советовать в досужное время. На меня навалили столько дел, по разным поручениям и комитетам, что я едва

имею свободное время отдохнуть и, при всем моем желании быть полезным, большую часть дел должен обслуживать поверхностно. Беда, когда кого объявят человеком способным к делам: тогда заставляют одного работать за целые десятки неспособных!

Поблагодарив Петра Петровича за все его благодеяния, я поспешил к доброй кузине Анете или, справедливее сказать, к Олиньке. Она уже знала от Петрова о моем освобождении и стояла у окна, с нетерпением поглядывая на все стороны.

Тайне моей надлежало скоро обнаружиться процессом, и так я вознамерился предуведомить обо всем Анету и Олиньку. Признаюсь, мне было тягостно сознаться в проступках моих родителей и в происхождении моей матери. Но Анета приняла дело в настоящем его виде и даже поздравляла меня, что княжеская кровь течет в моих жилах. Она уверяла меня, что с первого нашего знакомства открыла во мне признаки высшего происхождения. Об Олиньке ни слова. Ей было бы все равно, если б я был сыном кучера князя Милославского, потому что она любила меня ис-

кренно, а истинная любовь никогда не заглядывает в родословную. Я просил кузину Анету, чтоб она разгласила в обществах о моем приключении, происхождении и процессе.

— Если вы хотите, чтобы это сделалось гласным, — сказала Анета, — то должно просить меня не о том, чтоб я разглашала, но чтоб сказала *за тайну* нескольким женщинам: тогда весть разнесется скорее, нежели посредством газет. Слово *тайна* заставит каждую женщину рассказать происшествие своим приятельницам также *за тайну*, и эта тайна обойдет кругом город, и все будет повторяться на ушко. Женщины думают, что тайна есть не что иное, как *весть*, которую надобно разглашать вполголоса, с форменным предисловием: «Я скажу тебе за тайну, я слыхала под секретом» и пр. Вы видите, что я не щажу себя — это дань дружбе.

Взяв с собою Петрова, я возвратился в Демутов трактир, чтоб снова нанять в нем квартиру. Дворник сказал мне, что приезжие сейчас из Москвы спрашивали о моей квартире и о Петрове. Я послал его узнать, кто таковы мои московские знакомые, и сам остался под

воротами. Вдруг услышал я крик на лестнице. Выбегает Миловидин и бросается в мои объятия.

— Ты откуда и зачем здесь? — спросил я.

— Из дому, из Крыма, из объятий жены и сына, к тебе, друг мой, к тебе на помощь! — воскликнул Миловидин.

Он потащил меня за руку на лестницу, сказав:

— Пойдем к матушке.

— Как, она здесь?

— Разумеется, здесь. Она ничего не знала о твоем несчастии, потому что ты в письмах своих ничего не упоминал об этом, а она не хотела верить слухам...

— Понимаю.

— Но я, получив известие от кузины Анеты, тотчас полетел к тебе, заехал в Москву к твоей матушке, и когда сказал ей о твоем заключении, она упросила меня взять ее с собою.

Я пожал руку Миловидина и ни одним словом не поблагодарил его за такое нежное участие в моей судьбе. Истинное чувство — не богато на слова.

Между тем мы уже были в комнатах, и слезы доброй моей матери оросили мое лицо. Поплакав, порадовавшись, я рассказал подробно все случившееся со мною и объяснил тайну моего преследования. Когда дошло дело до духовного завещания, матушка растрогалась и сказала:

— Я не обманулась в его душе! Он думал обо мне, думал о несчастном залоге нашей любви. Но я сделалась недостойною его сердца и памяти...

Она залилась слезами, и нам стоило большого труда успокоить ее. Я не хотел скрываться в моей любви и во всем признался матушке и моему другу. Они мне не противоречили, но только просили, чтоб я не поспешал женитьбою и узнал Олиньку покороче.

Прошло две недели от моего освобождения. Матушка выезжала только в церковь, но кузина Анета и Олинька ежедневно ее навещали. Миловидин пребыл верным своей клятве и не показывался в обществах. Он проводил утро в чтении газет и журналов, прогуливался, бывал только у кузины Анеты и у Петра Петровича и для развлечения ходил в

театр. По совету Петра Петровича, я выслал его дворецкого в Белоруссию, чтоб отыскать мою метрику и узнать, каким образом я попал в дом г-на Гологордовского. Между тем он дал мне одного опытного чиновника из своей канцелярии, чтоб познакомить меня с характером и поведением каждого ходатая по делам, из которых я выбрал известнейших и назначил им в моей квартире свидание со мною, каждому в особый час. Я должен был вытерпеть несносную скуку от 6 часов пополудни до полуночи, но это был только первый мой опыт на поприще процесса: я не знал еще, что в этом лабиринте на каждом шагу родятся огорчения, точно так, как во времена недуга, когда тело покрыто ранами, каждый поворот, каждое движение производит нестерпимую боль.

Чиновник этот, Федосей Савельич Кавыкин, начал службу с детства, знал все ябеднические происки и помнил наизусть биографию каждого чиновника и каждого ходатая. Голова Кавыкина была лексикон ябеды. Он был человек веселого нрава и занимался собиранием приказных сплетней и анекдотов

для своей забавы. Он был очень рад, что мог при этом случае выказать свои познания и быть полезным приятелю своего начальника.

Из числа приглашенных ходатаев сначала явился г. Дурачинский, человек средних лет с огромными бакенбардами, одетый щегольски. Он хотел играть роль франта, ловкого, воспитанного, светского человека, но согнутая его шея, полу-фамилиярный тон и образ изъяснения обнаруживали низкое его происхождение.

— Извините, если опоздал. Я нахожусь в службе, в самом почетном месте, и занят делами. Кроме того, частные дела, связи, знакомства! Я теперь прямо из Английского клуба, где меня ожидает партия в вист с тремя сенаторами. Я член Английского клуба, а у нас это дело важное! У нас выбаллотировывают самых честных и благородных людей, известных, с репутацией — так можете вообразить себе, какая честь быть членом Английского клуба! Я там всякий день играю с важными людьми в большую игру, решаю дела по-приятельски в газетной, собираю запас новостей и разглашаю кое-что под рукою. Я вам сове-

тую поинтриговать, чтоб попасть в Английский клуб. Это будет вам весьма полезно. Там знакомятся, потчевают шампанским, зовут к себе обедать, делают дела... Правда, я не рожден заниматься частными делами: происхожу из графской фамилии... но обстоятельства! Дурачинский продолжал бы говорить несвязно до вечера; но я дал ему записку о деле, просил его прочесть наедине и вышел в третью комнату, где, по условию, ожидали меня Кавыкин и Миловидин.

— Каков вам кажется этот удалец? — спросил Кавыкин.

— Просто сумасшедший фанфарон, — отвечал я.

— Это отрасль литовского мещанства, облагороженная одеждою, — сказал Кавыкин. — Он был мальчиком, то есть слугою у графа Пьяноти, который выучил его грамоте и по особой, непостижимой милости сделал впоследствии своим поверенным. Обманывая бедных литовских дворян своим значением в Петербурге, а чиновников своим значением в провинции, Дурачинский выкарабкался из грязи, втерся в службу и продолжает ходатай-

ствовать, то есть обманывать, брать деньги с имеющих дела и не давать никому. Он так глуп, что не в состоянии написать письма ни на одном языке, но играет в вист, проигрывает, хвастает, что имеет большие имения, оттого терпим между порядочными людьми. Выгоните его, без обиняков.

Я вышел к Дурачинскому, взял записку и просил его оставить меня, сказав, что я теперь занят и дам ему ответ после.

Вслед за Дурачинским явилась другая фигурка, олицетворенная ябеда. Маленький, грязный, сухощавый старичишка, обвязанный тряпками. Он с четверть часа раскутывался, кашлял и наконец расшаркался и объявил, белорусским наречием, что он шамбелян бывшего польского двора, пан Крючкотворский.

— Уже коли хоцице выиграць ваше дзело, — сказал он, прикашливая, — то возмице меня. Все несправедливые дзела у меня на руках; если я не выиграю, то уж так поволочу ваших процивников, что они сами отказуцся от процесса и дадуц вам, что сами захоцице.

Я всучил ему записку, усадил в креслах и

пошел к Кавыкину, который мне сказал:

— Это знаменитый ябедник, который уже пятьдесят лет, как язва, свирепствует во всех судах, и на старость переселился в Петербург. Несмотря на то, что он одет, как нищий, он богат, имеет недвижимое имение и капиталы. Поверите ли, что этот кощей воспользовался имением трех жен, которых он пережил? Сватаясь, он всегда делал условную запись с каждою женой, чтоб имение досталось тому, кто переживет. Как он тридцать лет носит в груди чахотку, то разумеется, что молодые женщины погибают жертвою его заразительного недуга. Он, как баснословный Пифон, отравляя добычу, пожирает ее. Прочь его! прочь, чтоб он своим присутствием не заразил воздуха!

Я отделался от Крючкотворского таким же образом, как от Дурачинского.

После Крючкотворского явился толстый, огромный, пожилой человек. Он, как дикий кабан, ввалился в комнату, устремил на меня волчьи глаза и проревел приветствие таким тоном, что я почел его ругательством.

— Ну что, в чем дело? Давайте, я сейчас

вам скажу, что начать. Да главное, есть ли деньги?

Я подал ему записку и просил прочесть; но он отказался.

— Я даром не стану трудиться и читать чужие вздоры. Денежки, денежки, вот документы!

Я просил его подождать и вышел к Кавыкину. Лишь только я произнес имя ходатая, как Миловидин воскликнул:

— Ба, да это знаменитый пленипотент г-на Гологордовского, пан Струкчаший[39] Хапушкевич, известный плут, который несколько раз переменял веру, был в ссылке за многоженство и по суду лишен права ходатайствовать по делам.

— Он уже был несколько раз высылай из Петербурга, — возразил Кавыкин, — и всегда прокапывается в столицу, как лисица в курятник. Вон плута! вон!

— Но скажите, пожалуйста, отчего здесь такое множество ходатаев из поляков, — спросил я, — и почему вы их так дурно аттестуете?

— Помещик с именем и состоянием не пе-

реселится в чужой город, чтоб жить ходатайством, — отвечал Кавыкин. — Честные и искусные адвокаты в польских провинциях имеют дома достаточные средства, не только к своему содержанию, но и к обогащению, и кроме того, пользуются всеобщим уважением. Итак, на ходатайство выезжают канцелярские чиновники, помощники адвокатов и всякого рода искатели счастья, потому что это самое легкое и прибыльное ремесло, которого главное основание во лжи и обмане верителей. Они берут деньги от помещиков, будто бы для раздачи чиновникам, никому не дают, а только клевещут на правого и виноватого. Эти-то ходатаи долгое время пятнали честь целого польского народа, потому что русские чиновники, не бывавшие в польских провинциях, судили обо всех по этим гнилым образчикам. Теперь это переменилось. Многие воспитанные и благонравные люди из поляков вступили в службу в Петербурге и своим поведением очистили дурное мнение о своих единоземцах. Есть и между ходатаями очень добрые и почтенные люди (хотя весьма немного), и они, бедные, должны терпеть за

других! Но подите и выгоните пана Струкчашаго.

Я поступил с ним так же, как с двумя первыми.

За ним вошел титулярный советник Загадченко, родом малороссиянин. После первого приветствия он сказал:

— Мы, малороссияне, люди простые, нехитрые, хохлы, любим правду, идем прямым путем. Я вам скажу откровенно, что добре, а что не добре.

Я дал ему записку и возвратился к Кавыкину.

— Этого человека ни я, ни сам черт не знает, — сказал он. — Об нем одни говорят очень дурно, другие называют его сведущим и прилежным ходатаем. Он выиграл много дел.

Я повторил ему слова Загадченки.

— Это обыкновенная малороссийская уловка принимать на себя вид простоты. Я знаю между ними много весьма честных и добрых людей, знаю многих, которые никого и никогда не обманывали и не оскорбляли; но не знаю ни одного, которого бы обманули и который бы простил нанесенное ему

оскорбление. Вы знаете, что есть немецкая пословица, применяемая к людям смышленым: «*Он слышит, как трава растет*»[40]. Не стану объясняться, а скажу только, что в Малороссии подслушали, «как трава растет». Русские, поляки, богемцы и другие славянские племена любят, при случае, похвастать и блеснуть умом. Одни только малороссияне хвастают своею простотой и дикостью. Об ком говорят, что он «тонок» и ловок, тот уже не может пользоваться этими качествами. Тонкость состоит в том, чтоб вас почитали простым и грубым. Помните, что в Турции богатые рай притворяются бедными, именно для того, чтоб пользоваться богатством: то же бывает и с умом. Но довольно об этом: отошлите Загадченку; мы увидим после, что делать. Я порасспрошу об нем. Авось-либо мы разгадаем его когда-нибудь!

Наконец пришел русский ходатай, Пафнутий Сидорович Рубоперин, и решительно объявил, что иначе не возьмется за дело, как пересмотрев документы и сделав со мною условие в рассуждении награды за ходатайство. Я дал ему записку и возвратился к Кавы-

кину, который мне сказал:

— Это делец, знает законы, мастер писать и неутомим; но не давайте ему денежных поручений и объясняйтесь с ним тогда только, когда он явится натощак, потому что он, по старинному обычаю, скрапливает свой талант! Советую взять Рубоперина. Лучшего достать негде.

Я сказал Пафнутию Сидоровичу, чтоб он написал условие и доверенность, и, в ожидании прибытия моего посланного из Белоруссии, занялся сочинением просьбы и записки. Мы расстались, и я так был измучен, что едва успел раздеться — и заснул.

Миловидин, невзирая на все мои убеждения, не хотел возвратиться домой и решился подождать, по крайней мере, начала процесса. Мне уже велено было представить доказательства моего рождения, и я с нетерпением ожидал возвращения посланного. Наконец, через два месяца, возвратился дворецкий Петра Петровича и привез метрику и свидетеля, жида Иоселя, бывшего арендатора г-на Гологордовского. Иосель из богатого откупщика сделался на старость нищим и учил грамоте

детей нового корчмаря. Контрабанда разорила его, а новые плутни довели до тюрьмы. Вот каким образом попал я из рук убийц в дом г-на Гологордовского:

Когда повивальная бабка и жид-лекарь узнали о бегстве моей матери и уведомились, что она нашла защитника, то, собрав пожитки, бежали, взяв и меня с собою. Они не хотели убить меня, полагая, что, в случае открытия их убежища, они могут отпереться от обвинений моей матери и, возвратив меня, замять все дело. Жид-лекарь поехал к двоюродному брату своему, Иоселю, и, пробыв у него неделю, отправился далее, не открыв причины своего путешествия, а выдумал сказку, будто его приглашает какой-то богатый пан, в звании деревенского врача. Он сознался, однако ж, что один офицер поверил ему младенца, прижитого с крестьянской девушкой, которая умерла в родах, и просил Иоселя отдать меня какой-нибудь поселянке, заплатив за год вперед. Повивальная бабка сама свезла меня к русскому священнику и велела окрестить, дав имя Ивана. Когда я начал ползать, бедная поселянка, моя кормилица, лишилась

своего мужа и, нанявшись в работницы в другой деревне, подкинула меня, по совету Иоселя, в доме г-на Гологордовского. Дело было ясное, подкрепленное выпискою из метрической книги, в которой именно написано было, что я незаконнорожденный сын князя Ивана Александровича Милославского и Авдотьи Петровой. Иосель сказал мне, что жид-лекарь утонул с целым семейством и повивальною бабкой при переправе чрез реку на ветхом пароме.

— Ваша тяжба справедливая, — сказал мне Рубоперин, увидев метрику. — И вы выиграете ее, если будете стараться и хлопотать. Без этого нельзя.

С секретарем сладил я посредством приказной арифметики, которой научился в Москве, у секретаря, приятеля Мошнина. Мой секретарь обнял меня, расцеловал и даже прослезился от сострадания, выслушав о гонениях, которым я подвергался. Ни одна наука не смягчает сердца так, как эта практическая арифметика! Секретарь уверил меня, что я непременно дело выиграю, и клялся жизнью, честью, детьми, что он скорее согласится

умереть на пороге присутственного места, чем скрепить резолюцию против меня.

Петр Петрович советовал мне раздать записки всем судьям и стараться каждому из них объяснить мое дело. Рубоперин отличился в сочинении записки: изложил дело ясно, кратко и основался на законах. Наняв карету, я пустился с утра странствовать с записками.

Вошед в переднюю к первому судье, я должен был повторить лакею десять раз, чтоб он доложил обо мне, и едва мог добиться ответа. Слуга проворчал, что это не его дело и что я должен подождать камердинера. Невзирая на мой гусарский мундир, пред которым трепетали турки и которому отдавали честь храбрые русские солдаты, — челядинцы судьи едва удостоивали меня взглядом и не хотели даже говорить со мною. Наконец, когда я объявил, что пойду в кабинет без докладу, камердинер пошел тихими шагами к своему барину и, возвратясь, сказал грубо: «Ступайте!»

Судья, г. Дремотунов, был человек пожилой и, по старинному обычаю, еще прикрывал пудрою свои седые волосы и носил косу. Он сидел в белом пудермантеле перед зерка-

лом, а парикмахер, в серой засаленной куртке, причесывал его голову.

— Садитесь, батюшка, — сказал мне судья. Я подал ему записку и присел.

— Потрудитесь сами прочесть, а я послушаю, — сказал судья. Я опять сделал ему поклон и стал читать громко, внятно и протяжно.

— Хорошо, хорошо, справедливо! — приговаривал судья. — Сенька, чеши на маковке, вот так, хорошо, легче! Ваше дело, сударь, кажется справедливым.

Вдруг Сенька дернул его как-то неосторожно за волосы, и судья закричал:

— Мошенник! ты вырвал мне тупей!

Потом, обратясь ко мне, примолвил, покраснев от боли и досады:

— Ябеда, сударь, одна ябеда! все ваши резоны никуда не годятся... Ах, злодей Сенька, как он больно меня дернул!

Между тем я прекратил чтение.

— Что ж вы не читаете?

Я снова принялся за чтение.

— Хорошо, Сенька, вот так, легохонько, почеши еще на правом виске. Прекрасно, пре-

красно! — примолвил он, обращаясь ко мне. — Дело ясное, чистое, справедливое, законы за нами... Сенька, плут Сенька, ты режешь меня — это грабли, а не гребень!.. Крючки, сударь, привязки, дело ябедническое! — воскликнул он снова, и я опять остановился. Судья толкнул Сеньку под бока и, отдохнув, велел ему продолжать ческу, а мне чтение. По счастью, Сенька благополучно кончил причесывание, и судья, встав довольный со стула, обтер пудру с лица и сказал:

— Оставьте записку; я посмотрю подлинные бумаги в суде. Кажется, дело ваше справедливо.

От радости я дал 10 рублей Сеньке, в передней, и заставил этим других слуг раскаиваться в грубости. Г. Дремотунов был из числа разбогатевших подьячих; он некогда ворочал делами, а на старости служил из одного честолюбия и имел в своем распоряжении несколько голосов своих старых приятелей.

Другой судья, г. Формин, которого я знал в обществах, принял меня вежливо; но когда я вручил ему записку, он улыбнулся, покачал головою и сказал: «Зачем это? Ведь мы не ста-

нем судить по словам просителей. Я *двадцать пять лет* нахожусь при делах и знаю, что все просители говорят вздор в своих записках».

— Дело мое изложено здесь с ссылками на законы и на подлинные документы, — отвечал я. — Вероятно, и противница моя сделала то же. Итак, благоволите поверить наши ссылки в подлинном деле и в законах и тогда увидите, кто прав, кто виноват.

— Да я *двадцать пять лет* занимаюсь делами и знаю, что такое записки! — воскликнул судья.

— Записки у нас заменяют голоса адвокатов, — возразил я.

— Мне кажется даже, что, не прочитав частной записки по делу, нельзя никак понять его. Просителя надобно выслушать, как больного. И точно так же, как искусный врач, соображая слова больного с признаками болезни, узнает ее причину и качество, судья, сверив показания сторон, узнает все слабые и сильные стороны дела.

— Теории, сударь, теории! — воскликнул судья. — Я *двадцать пять лет* занимаюсь тяжебными делами и знаю *все*, что мне знать

нужно. Не просители, а канцелярия изложит все обстоятельства дела и откроет слабые и сильные стороны.

— Но канцелярия, при множестве дел может иное упустить и представить не в том виде: а сверх того, в канцеляриях не ангелы, а люди...

— Что вы под этим разумеете? — сказал с гневом судья. — Я *двадцать пять лет* знаю течение канцелярских дел и удостоверился опытом, что просители всегда напрасно жалуются на канцелярии! Но будьте благонадежны, — примолвил он, успокоившись. — Мы рассмотрим ваше дело прилежно.

Я, однако ж, оставил на столе записку, примолвив:

— Не читайте, но возьмите: это облегчает сердце просителя. Я не могу предполагать, чтоб вы были так жестокосердны, чтоб отказались выслушать несчастного. Не читать записки значит прогнать нищего от дверей. — Сказав это, я откланялся и вышел. В передней слышал я восклицания судьи: «*Я двадцать пять лет*!..»

Лукавый слуга судьи, подавая мне шинель,

сказал с усмешкою:

— Барин все сбивается в счете: вот уже 15 лет минуло, как он остановился на двадцати пяти годах своей судейской должности!

Этот судья был добрый и честный человек; но он всю жизнь занимался не тем, чем должно. В суде думал о книгах, за книгами о суде; в гостях говорил о делах, а в присутственном месте о забавах в гостях. Он говорил всегда хорошо — и ничего не делал, и если б он исполнил хоть тысячную часть того, о чем рассуждал так прекрасно, то был бы полезным человеком. Он любил честных и умных людей и знался с ними, а управляли им плуты, которых он презирал и ненавидел, но не имел твердости выгнать их или ослушаться. Добрый человек, но настоящий *нуль*, который имел значение только с цифрою.

От него поехал я к г-ну Чувашину, к человеку, *слывшему* великим дельцом и гигантом правоты. Он также был не злой и даже не глупый человек: но, достигнув заслугами отца высоких степеней в самых молодых летах, он помешался от самолюбия и верил от чистого сердца, что поглотил всю человеческую муд-

рость. Воспитанный с иностранцами и живя всегда в высшем кругу, черпая сведения о разных предметах из иностранных книг, он не знал России и смотрел на нее во всех отношениях чрез призму иностранного просвещения. На старости в голове его слились в одну массу все теории, все иностранные законы и уложения, вместе с тем что он узнал понаслышке о России, и из этого вышел такой хаос, что добрый старик, при самых лучших намерениях, беспрестанно делал глупости. Долгое время в свете не знали его, и добрые намерения принимали за великие дела. Наконец узнали, что это не что иное, как опрокинутый шкаф с недочитанными книгами!

Он принял меня ласково и дружелюбно: дай Бог ему здоровья и за то! Но когда пришло до объяснения дела, то он едва не свел меня с ума своими суждениями. По правилам его строгого правосудия, женщины и дети всегда были правы, хотя бы отец или муж их сам сознался в несправедливости дела, и как Чувашии уже был напрошен графинею Ничтожиною и ее подругами, то он никак не хотел уверить себя, что я могу быть правым. Ко-

гда я ссылался на законы, он говорил, что должно в делах подобного рода судить по совести; когда я доказывал, что по совести я должен получить деньги, назначенные мне по воле моего отца, он утверждал, что по законам признает меня неправым. Я показывал ему законы, гласящие в мою пользу, а он, в удостоверение, что знает законы, разложил предо мною целые кипы выписок из Бентама и других английских законоискусников и теоретиков. Желая показать свое познание в законах, он стал передо мною щеголять памятью и, вместо указов, приводил пандекты; вместо английских законов Уложение царя Алексея Михайловича и т. п. Я сократил мое посещение и уехал от него с сокрушительным сердцем. До тех пор, не имея с ним никакого дела, я сам почитал его великим мужем и теперь удостоверился, что общее мнение так же может обманываться, как и частный человек. Чувашии был явным покровителем всех *семейных* взяточников и защищал их, где мог и как мог. Многие взяточники нарочно женились, чтоб пользоваться его покровительством, и за то писали для него мнения,

которые он выдавал за свои. О люди, люди!.. Чувашин, имея доброе сердце, делал зло из одного тщеславия и желания — прослыть Публиколою!

Большая часть судей безмолвно приняла записки, и наклонением головы дали знать, чтоб я ретировался. Иные заставили меня рассказывать о пребывании моем в киргизской степи и моих похождениях и не хотели слушать о деле. Некоторые извинялись, что они заняты своими собственными делами. Иные жаловались на свою бедность, на трудность достать взаймы денег и поздравляли меня с претензией на миллион. В нескольких местах меня приняли весьма грубо, в других — с такою гордостью и высокомерием, что я потерял терпенье и даже отказался от тягостной обязанности просителя. Правда, я нашел благородных и умных судей, которые утешили меня своим ласковым приемом и которых известная правота успокоила меня насчет их товарищей. В неделю я объездил почти по всем моим судьям, измучился более, нежели в целую кампанию против турок, и даже заболел от огорчения. Боже, если твоею

святою волей суждено будет, чтоб я претерпел испытание в жизни, пошли мне недуг, плен, нищету, но избавь — от тяжбы!

Между тем Миловидны получил известие от жены своей, что единородный сын его болен. Я упросил друга моего, чтоб он возвратился домой, обещая прибыть к нему тотчас по окончании тяжбы, которая, против обыкновения, долженствовала решиться весьма скоро, потому что противная сторона, сильная и богатая, желала этого столь же усердно, как и я.

Когда дело уже было готово к докладу, секретарь тайно показал мне докладную записку, в удостоверение, что она составлена в мою пользу, и проект решения. Я чуть было не попал в силки от этой лишней откровенности, но Рубоперин спас меня. Приятель его, повытчик, показал ему другую докладную записку и другой проект решения в пользу графини Ничтожиной, которые секретарь намеревался представить судьям. Я сказал об этом Петру Петровичу, и он, влиянием своим, устранил откровенного секретаря в самый день доклада. Дело мое попалось в руки доброго челове-

ка.

— Государь мой! — сказал он мне. — Я человек бедный, но не продам совести. Ничтожина предлагает мне 25 000 рублей: признаюсь, грешный человек! я взял бы деньги, если б дело ее было правое; но обманом не возьму ни копейки. Вы сами теперь не богаты, а когда вас Бог наградит, тогда, может быть, и вы вспомните о моих детях.

Хотя, по строгой справедливости, можно бы сказать многое вопреки этого рода честности, но, снисходя к обстоятельствам, я радовался, что нашел такого доброго человека. Наконец дело мое поступило в доклад.

Глава XXXIII
Ростовщики. Окончание тяжбы. Дополнение к рассказу Петра Петровича. Участь литераторов. Беда от ханжей. Выслужники. Брак. Милость вельможи. Ход дела. Набег родственников. Отставка. Хороший конец всему делу венец

Казна моя истощилась; я не хотел продавать бриллиантового пера, которое Петров снял с чалмы взятого мною в плен Аги, ибо почитал это собственностью моего верного слуги-друга и при деньгах намеревался купить у него эту вещь, чтоб сохранить в память моего торжества. Я мог бы занять деньги у Петра Петровича, у кузины Анеты или у Миловидина, но мне не хотелось обременять их, и я решился заложить перо. Рубоперин повел меня к ростовщикам. Мы вошли в неболь-

шую лавочку, в квадратную сажень пространством, уставленную сверху донизу старыми, разрозненными книгами, на всех языках, древних и новых, покрытыми пылью и паутиною. В задних углах этой конуры дремали, один против другого, тощий кот и мальчик-сиделец. Рубоперин разбудил сонного стража щелчком в нос и спросил, где Тарасыч.

— Да ведь по утрам он таскается по судам да палатам, как вам известно, а теперь уж наступает час, в который он возвращается в лавку.

— Неужели у хозяина этого нищенского короба есть деньги? — спросил я у Рубоперина.

— Тысяч триста наличных, не более, — отвечал Рубоперин. — Эта лавочка есть не что иное, как *притин*, угол для свидания и условий, вывеска местопребывания Тараса Тарасовича Кащеева. Жаль, что сегодня не суббота — день расчета и уплаты недельного долга между купцами; вы бы увидели, как купчики, хозяева богатых лавок и магазинов, увиваются возле этой лавочки, как они мигают Тарасу

Тарасовичу и нежными взглядами вызывают его к себе в лавки. Кащеев человек снисходительный и добрый: он берет только по три копеечки с рубля в месяц, под залог вещей с незнакомых, а людям верным дает даже на вексель. Но пойдем к другому, посмотрим, что он будет давать и как оценит вашу вещь.

Мы пошли на толкучий рынок и в будке, сплоченной из старых досок, застали человека средних лет, который занимался чтением *Истории Ваньки Каина*. На полках в будке лежали старые гвозди, медные пряжки, пуговицы, помадные и аптекарские банки, куски мелу, купороса, ремни, битые чашки и тарелки, одним словом, все принадлежности помойной ямы.

— Здорово, Пафнутьич! — сказал Рубоперин, потрепав по плечу сидящего в лавке купчину.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Что, есть деньги?

— Какие ныне деньги, сударь. Торговля идет плохо!

Я не мог удержаться от смеха при этой жалобе: Пафнутьич повторил ее, в подражание

купцам, которые, обогащаясь беспрестанно, жалуются на упадок торговли.

— Помилуй, любезный, — сказал я, — когда же твой товар был в ходу? Неужели и ты станешь жаловаться на тарифы и таможни?

— А почему не жаловаться мне, когда богатые жалуются? Ведь мелкая торговля тянется по следам за большою. Большая вперед, и малая за ней; большая назад, и малая туда же.

— Полно рассуждать, Пафнутьич, — сказал Рубоперин. — Вот алмазное перо; бриллиантщики оценили его в 15 000 рублей; сколько дашь под залог этой вещи?

— Бриллиантщики оценили! — воскликнул Пафнутьич. — А подите-ка продавать им, так увидите, что не дадут и половины. Но мне нужно знать, во-первых, на сколько времени изволите брать деньги; ведь от этого зависит у нас цена вещи, то есть по соразмерности процентов.

— На месяц, много на два, — отвечал я.

— Мал срок, — отвечал Пафнутьич, — не могу дать более трех тысяч рублей.

Я рассердился.

— Ты хуже всякого жида! — воскликнул

я. — И стоишь, чтоб тебя бросить в Неву и с твоею западней.

— За что изволите гневаться? — сказал хладнокровно Пафнутьич. — Вольному воля, спасенному рай. Не угодно, извольте идти к другому или заложить в ломбарде.

Я взял Рубоперина за руку и с досадою отошел.

— Не надобно горячиться, — сказал мне Рубоперин, — ведь это только торг. Если он с первого слова посулил три тысячи, то, верно, дал бы восемь или девять. Ростовщики рады сами давать более денег, чтоб содрать более процентов, но торгуются по непреодолимой привычке, чтоб показать, будто они дают из одного снисхождения. Этот Пафнутьич дьявол, не человек. Он уже несколько раз увертывался от Уголовной палаты.

Разговаривая с Рубоперинным, мы возвратились к лавочке Кащеева и застали его перебирающего векселя и расписки.

— Ну, Тарасыч, — сказал Рубоперин, — развертывайся, нам надобно 50 000; отсчитывай, а мы тебе дадим целый мешок бриллиантов.

— Откуда взять такие большие деньги? —

возразил Ка-щеев, вздыхая и поглядывая на меня исподлобья, — ныне времена плохие! Но если у вас есть вещи, то, пожалуй, можно собрать у приятелей.

— Пошутил, пошутил! — сказал Рубоперин. — За то, что всегда прикидываешься нищим. Дело вот в чем: у нас вещь, ценою в 15 000 рублей, а нам надобно 10 000.

— Это много — но посмотрим. Не угодно ли со мною на дом; вы знаете, что я живу отсюда близко.

Мы пошли в дом к Кащееву. Он был человек холостой, и только старая кухарка и отставной инвалид оберегали его квартиру, не смея отлучаться вместе ни на шаг за двери. Три комнаты убраны были довольно чисто; в спальне целая стена украшена была образами в золоченых и серебряных окладах; пред нами теплилась лампада. Возле постели стоял огромный железный комод. Кащеев попросил нас показать вещь, вертел и переворачивал в руках алмазное перо, долго торговался и наконец дал 9 000 рублей с процентами, по три копейки с рубля в месяц, и с условием, чтоб я взял деньги на полгода и дал расписку

следующего содержания:

> *«Я, нижеподписавшийся, „продал“ куп-цу Кащееву алмазное перо за 10 620 рублей, которое имею право выкупить за сию сумму по истечении шести ме-сяцев; а буде в срок не выкуплю, то ни-какого права на сию вещь не имею».*

Я сперва соглашался написать, что я «про-дал» вещь, но Рубоперин уверил меня, что это только форма и что Кащеев человек верный.

— Нас, сударь, не извольте опасаться. На-живете беды, как свяжетесь с чиновными, ко-торые занимаются нашим ремеслом. Распис-ка нужна для того, чтоб «включить процен-ты» и чтоб оправдаться в случае жалобы. Бы-вает иногда, что как придется платить, так явится жалоба о лихоимстве. Вам надобно ж каждому беречь себя.

Если б я гневался на моих читателей и хо-тел наказать их, то описал бы подробно, в нескольких томах, ход моего процесса, кото-рый в несколько месяцев чуть не вогнал меня в чахотку, а читателей моих, верно бы, заста-вил бросить книгу. Удивляюсь, как люди пе-реносят подобные мучения в течение многих

годов; а еще более удивляюсь, что есть охотники к тяжбам! Но странности человеческой природы непостижимы! Есть люди, которые, будучи здоровы, всю жизнь лечатся и, от излишней привязанности к жизни, теряют здоровье и погибают. Так точно люди, думающие обогатиться тяжбами, истрачивают последнее имущество и кончат свое поприще в нищете. Но тяжба так же иногда невольно приходит, как и болезнь; тогда рассудок велит отражать законами ябеду и лекарствами изгонять недуг. Счастье, если средства помогут, а не доведут до истощения!

Невзирая на все пронырства графини Ничтожиной и на ходатайство ее приятелей и приятельниц, Провидение спасло меня: дело решено в мою пользу — и я вдруг получил более миллиона рублей.

Я любил общество от того, что не знал, что делать дома. К тому же меня ласкали в Москве, и я некоторым образом был обязан являться в домах, в которых был причислен ко всегдашним посетителям. Искательством я сам никогда не занимался: Миловидин и кузина Анета работали всегда в мою пользу. Но

в Петербурге кузина Анета, уже отцветшая, не имела большого влияния; советника моего при мне не было, и я вовсе отстал от общества, отчасти из ложного стыда, отчасти, чтоб не подать вида, будто я ищу покровительства, которого в правде сыскать не надеялся. Большая часть людей, занимающих почетные места в обществах, находится в дружбе или в связях с чиновниками, и ничего нет несноснее, оскорбительнее для чувствительного человека, имеющего тяжбу, как, появляясь в обществах, испытывать общую холодность, которая находит на каждого при одном имени *просителя*. Каждый избегает быть наедине с человеком, имеющим тяжбу, опасаясь, чтоб он не стал утруждать просьбою о помощи или о ходатайстве. Каждый бежит от него, как от прокаженного, страшась, чтоб он не стал рассказывать о своем деле или говорить дурно о судьях и жаловаться на неправосудие. Видев это прежде на других, я не хотел играть роль Лазаря в обществах и отказался от них. Я был счастлив в нашем маленьком кругу, которого украшением была Олинька. Матушка моя так полюбила ее, что не могла

провесть без нее ни одного дня. Олинька находилась при матушке с утра до вечера и только на ночь возвращалась к кузине Анете.

Когда я выиграл процесс, то в течение трех дней получил столько визитных билетов и приглашений к обеду и на вечер, что в три месяца не мог бы удовлетворить всем желаниям и отплатить личными визитами. Пересматривая билеты, я, к удивлению, увидел имя Грабилина! Я каждый день собирался начать визиты и каждый день не находил на то времени, которое так быстро летело при Олиньке, что я не мог щедро располагать им.

Петр Петрович пригласил меня на вечер, чтоб поговорить наедине о моих планах и надеждах. Он знал уже о любви моей к Олиньке и советовал мне жениться поскорее, если только я уверен во взаимной любви.

— Любезный друг! — сказал он. — Счастье нисходит с неба росою, горе — проливным дождем. Пользуйся благоприятным временем для счастья и освежи душу чистою любовью. Нет выше наслаждения в мире, как истинная любовь и дружба. Душа, которая может вмещать их, способна ко всему доброму и велико-

му. Но не всякому дано в удел наслаждаться этими благами, даже при способностях души к этим ощущениям. И я любил, и я был любим, но смерть лишила меня счастья: теперь я уже стар, не могу помышлять о любви и в одной дружбе ищу наслаждения.

В это время вошел доктор и, сказав несколько слов Петру Петровичу, перешел во внутренние комнаты.

— У вас есть больные в доме? — спросил я. — И я удивляюсь, что вы призвали этого доктора, который слывет в свете хотя *искусным*, но *несчастным*.

Петр Петрович улыбнулся.

— Мое правило советоваться именно с врачами, которые слывут *искусными и несчастными*, а избегать тех, которых называют *счастливыми*, хотя *неученьми*. У нас обыкновение, в начале болезни призывать первого встречного врача или держать годового доктора *подешевле*, а прибегать к славному и опытному медику в последней крайности, когда надобен не доктор, а священник. От того чаще всего случается, что лучшие медики должны быть только свидетелями смерти

больного, а между тем родственники всю вину сваливают на докторов.

— Кто же болен у вас? Я думал, что вы живете один.

— Я взял к себе на воспитание сироту одного дальнего моего родственника; он нездоров теперь. Этот юноша одарен большими способностями, но он сокрушает меня несчастною своею страстью к поэзии и литературе. Он хочет быть сочинителем!

— Помилуйте, Петр Петрович, вам ли сокрушаться об этом? Признаюсь, и у меня есть страстишка к авторству, и я никак не думал, чтоб такой просвещенный человек, как вы, Петр Петрович, почитали несчастием способность и страсть авторству! Скажите, кем прославляются государства, народы, если не сочинителями? Что бы сталось с победами, со всеми мудрыми учреждениями, если б писатели не сохранили их для потомства? Они провозглашатели народной славы наставники целых поколений, представители своего отечества в собрании мужей, избранных из целого рода человеческого к утверждению прав разума и добродетели! Где имена, где по-

двиги этих надутых чванством любимцев счастья, которые в жизни пользовались богатством и властью? Они исчезли в забвении. А имена писателей, которых гордые баловни фортуны презирали в жизни и даже гнали, — эти имена сохранились с уважением, сделались достоянием народа, его славою. Исчислите, Петр Петрович, имена всех великих мужей, которые, не будучи сами писателями, не перестали жить в потомстве: вы увидите, что они потому только всплыли на поверхность Леты, что, при других занятиях, любили и покровительствовали науки, художества и словесность. Это первое условие к славе, ибо науки, художества и словесность есть *дар слова славы*. Без них она нема.

Петр Петрович сидел, облокотясь на стол, и погружен был в задумчивость. Наконец он сказал:

— Все это правда, любезный Выжигин; но ты исчислил одно будущее, а не заглянул в настоящее. Сам я волен броситься на утлой ладье в бурное море, но другому советовать не имею права и должен показать ему опасность. Осмотрись кругом: что значат в свете

авторы? Одно название сочинителя, а особенно поэта, вреднее дурного аттестата в службе. Писатель есть синоним неспособного к делам человека, и у нас еще привыкли ставить писателя на одну точку с комедиянтами, скоморохами и другими забавниками. Если писатель плох, он делается посмешищем толпы; если посредствен, предается забвению; если одарен умом и дарованием необыкновенным, то становится предметом зависти, клеветы и преследований, потому именно, что люди все охотно прощают, кроме превосходства в уме, к которому каждый имеет притязание, и чем кто глупее, тем более. Долг писателя — говорить правду, а печатная правда колет глаза больнее изустной. Перебери ты, в свою очередь, всех писателей, которые осмелились говорить правду пред ослепленным человечеством: ты увидишь, что все они более знамениты своими несчастиями, нежели творениями. Отчужденные от общества, в котором их также боятся, как школьники страшатся присутствия строгого учителя; непричастные к делам, к которым их не допускают, как неспособных, — они проводят дни и ночи в тяжком

умственном труде, чтоб приобресть неблагодарность соотечественников и едва хлеб насущный! Никто не считает доходов взяточника, но всякий удивляется, если писатель не ходит по миру. Правда, случается иногда, что мощная рука охраняет некоторых из счастливых писателей и что некоторые из них, по родству или по связям, вовсе чуждым литературе, имеют самостоятельность и голос в обществе; но это исключения, которых не должно ставить в пример. Даже значащий в свете писатель, принятый в лучшем кругу, подвергается чрезвычайным неприятностям. Он бы хотел отдохнуть в свете и забыть кабинетные труды: но нет! каждый неуч, которому случилось прочесть хотя одну книгу в жизни, душит его и томит своими суждениями о словесности, чтоб высказать свои познания! Нет, любезный Выжигин, не советую тебе вступать на поприще словесности: оно самое скользкое и опасное. А писать вздоры, лесть, славить лень и переливать из пустого в порожнее недостойно человека с умом и душою.

Я не хотел спорить и просил Петра Петровича рассказать мне причину претерпенно-

го им гонения и, наконец, освобождения из ссылки. Он исполнил мое желание и рассказал мне следующее:

— Во всяком звании и состоянии есть лицевая сторона и изнанка. Во всех государствах на поприще службы свирепствует заразительная болезнь, которая называется: *желание выслужиться*. От этой болезни происходит множество зла и большая часть несправедливостей; она обнаруживается признаками ложного усердия к службе и беспредельной *преданности к особе* начальника. Человек, одержимый этим недугом, старается представлять дурным все, что не им выдумано, и каждого человека, вышедшего из толпы своими дарованиями или усердием и непокорного его видам, изобразит злонамеренным. Обезображивая и черня других, *выслужник* думает, что сам украшается и убеляется чужими заслугами; представляя всех виновными, полагает, что сам будет казаться правым. Чтоб действовать смелее, эти господа *выслужники* прикрываются личиною добродетели. Набожность, любезный друг, есть потребность души тихой и добродетельной: ис-

тинная набожность не ищет гласности, точно так же, как истинная добродетель. Но ханжи, вопия громогласно о тихих обязанностях христианина, употребляют священнейшее чувство, как орудие, для исполнения своих замыслов. Из всех нравственных чудовищ самое опасное есть ханжа, которого бессмертный Мольер еще слабо обрисовал в своем Тартюфе. Ханжа Мольеров стремится только к разрушению счастья одного семейства; но есть ханжи, которые разрушают спокойствие всего гражданского общества.

У нас был некто Притягалов, который, всю жизнь проповедуя вольнодумство, якобинство и представляя собою образец разврата, вдруг объявил себя святошею и, подобно лжепророку Магомету, устремился с мечом и пламенем, или, что еще хуже, с клеветою и извет-ами, на пагубу всех честных и умных людей, следовательно, своих противников, чтоб, низвергнув их, стать самому на высоте. Проповедуя смирение, он жаждал почестей; провозглашая о небе, он требовал для себя земных сокровищ. Подобно гиене, он грыз и живых, и мертвых; ему надобно было жертв, надобно

было виновных, и, по несчастью, он напал на меня в то самое время, когда я пламенным и нерассудительным моим стремлением к общей пользе нажил себе врагов. Клевреты Притягалова и он сам, опасаясь, чтоб я не обнаружил их замыслов и не сорвал с них личины, огласили меня *беспокойным человеком* и, оклеветав, успели сослать туда, где ты меня встретил.

Притягалов обманами и притворством успел ослепить на время некоторых добрых и благородных людей, которые верили его усердию и преданности к общему благу. Но торжество пророка кратковременно — и Провидение для того только возносит злых, чтоб на высоте показать явственнее их гнусность и сделать падение их разительнее, а тем самым поучительнее. Правосудие постигло Притягалова и наказало самым жестоким образом, то есть у него отняли *средство вредить*; а это значит то же, что вырвать у змеи жало, без которого она не может существовать. Мщение и клевета Притягалова обратились мне в пользу: дело мое исследовали, нашли меня правым, открыли даже малые мои заслуги и

чистоту моих намерений и наградили выше моих надежд: мне дали *средство делать добро*!

Я обнял доброго Петра Петровича, который, прощаясь со мною, сказал мне, пожимая руку:

— Верь Провидению, друг мой, и не отчаивайся никогда в правосудии. Оно, рано или поздно, проглянет, как солнце из туч. Ты, кажется, уверился в этом опытами. Теперь ты появишься в свете с миллионом денег и женою красавицей. Это новая школа для опытов. К тебе будут льнуть, как к магниту, все ржавые опилки общества. Берегись! ржавчина сообщается.

Я нанял небольшую, но спокойную квартиру, с малой кухнею и еще меньшею столовою, по совету Петра Петровича. Завел экипаж и, дав денег кузине Анете, просил ее сделать приданое для Олиньки. Добрая Анета непременно хотела снарядить часть приданого от себя, но я никак не согласился на это. Все эти распоряжения мы скрывали от Олиньки, и только в день нашей свадьбы она увидела свой гардероб и свои бриллиянты. Она благо-

дарила нас не за вещи, но за внимание.

— Друг мой! — сказала она. — Ты полюбил меня бедною, и я открылась тебе в любви моей, когда ты был в тюрьме. Теперь ты богат, и я радуюсь за тебя перемене твоей судьбы; но, признаюсь, мне было бы приятнее любить тебя бедного.

Петр Петрович был приглашен мною в посаженые отцы, и, кроме его и семейства кузины Анеты, мы никого не али. Муж Анеты отказался на этот раз от партии виста в Английском клубе и остался на свадьбе ради страсбургского паштета, который для него купила жена, чтоб удержать дома. Когда мы собирались в церковь, я получил пакет на мое имя: распечатал и нашел в нем на сто тысяч рублей ломбардных билетов, при следующем письме:

«М. Г. Иван Иванович!
Непокорность матери вашей невесты заставила мать ее, а мою жену, лишить ее наследства. Невзирая на все мои просьбы и представления, жена моя не хотела возвратить своей внучке наследства ее матери потому, что

до нас дошли ложные слухи, будто бы она дурно ведет себя. Я нарочно испытал *ее добродетель и удостоверился, что она сохранила благородные чувства и не совратилась с истинного пути. Это заставило меня снова прибегнуть с просьбами к жене моей, и она наконец согласилась исполнить мое желание. Деньги, следующие вашей невесте, при сем препровождаю и прошу числить меня между искренними вашими друзьями и почитателями.*
Имею честь быть и проч.
Имею честь быть и проч.
Еремей Грабилин».

Я не мог опомниться от удивления и подал письмо Петру Петровичу, который улыбнулся и, вынув из кармана другое письмо, просил прочесть. Вот его содержание:

«М. Г. Петр Петрович!
Покровительство и особенная дружба, оказываемая вашим превосходительством Ивану Ивановичу Выжигину, который женится на внучке моей жены, заставили меня ходатайствовать в пользу приятного вам человека, и я успел испросить согласие жены моей

на возвращение его невесте наследства ее матери. Примите это как знак особенного моего к вам уважения и преданности и как доказательство, что я не „корыстолюбив“, но оклеветан злыми людьми, от которых вы также много претерпели. Не из видов честолюбия или корыстолюбия я желал бы снова войти в службу, но для того только, чтоб показать свету, что я не таков, каким враги мои изображают меня, и чтоб руководствовать детей моих на поприще службы. Я могу быть полезным моею опытностью в делах и буду всегда стараться заслуживать вашу благосклонность. Знаю, что одно ваше слово доставит мне желаемое. Я бы хотел получить местечко почетное и такое, где бы представлялось „много выгод“, которые я обратил бы в пользу казны, будучи человеком достаточным и бескорыстным, как вы можете усмотреть из поступка моего с покровительствуемым вами Выжигиным.
За сим честь имею и проч.
Еремей Грабилин».

— Плут! — сказал я.

— И вместе с тем глупец, — возразил Петр Петрович, — только одни глупцы могут полагать, что они в состоянии всех обманывать и скрываться от взоров умного человека. Если б они были умны, то удостоверились бы, что собственная польза каждого повелевает быть честным. У плутов есть смышленость, род инстинкта для обманов, как у хищных зверей; но нет ума. Плут всегда сам открывается. Не то ли случилось с Грабилиным?

Когда я рассказал Олиньке о содержании письма и отдал ей билеты, она сказала мне:

— Я не знаю, должна ли возвратить деньги бабушке, хотя это собственность моей матушки; но мне хотелось бы, чтоб я вовсе ничего не имела и была б всем обязана тебе одному. Возьми эти деньги и делай с ними, что хочешь: они мне не нужны, когда ты их имеешь.

Я уже два месяца был счастлив и все еще не мог собраться выехать с визитами. Олинька решительно отказалась от всякого знакомства.

— Воля твоя, милый друг! — сказала она. — Но мне кажется странным этот обычай моло-

дых супругов разъезжать на третий день после свадьбы с визитами, искать знакомств, как запаса от предстоящей скуки, показывать на гульбищах новый экипаж, а в обществах бриллианты и шали, как будто бы это было принадлежность супружеского счастья. Подождем: знакомства составятся сами собою, случайно, по взаимному выбору, а я теперь довольна беседою с тобою, с матушкою и благодетельницею моею, Анетой.

Петр Петрович так привык быть с нами, что ежедневно обедал у нас и проводил большую часть вечера. Мы любили и уважали его, как отца. Однажды он привел с собою незнакомого нам, пожилого человека, здорового и румяного, в физиономии которого выражалась веселость и добродушие. Незнакомец, увидев меня, остановился, хотел улыбнуться по своему обыкновению, но вдруг прижал меня к сердцу и залился слезами, воскликнув:

— Какое сходство! это он, точно он! — Потом, успокоившись, он примолвил: — Я друг отца твоего, школьный его товарищ и даже дальний родственник. Ты, может быть, слыхал о графе Безпечине?..

— Это вы, душеприкащик моего отца!

— Которому, однако ж, не удалось исполнить его желания и осталось только радоваться, что само Провидение тебя защитило.

Граф хотел видеть мою жену и матушку, просидел с нами до поздней ночи, был весел, любезен и без дальних околичностей объявил, чтоб я почитал его вторым отцом и что он каждый день будет видеться с нами.

Граф был человек отменно добрый, образованный, но, привыкнув от детства, чтоб другие трудились для него и вместо его, он проводил время в чтении, в приятных беседах и в путешествиях и не любил заниматься делами, хотя принужден был служить, отчасти по причине расстройства своего состояния. Родство, связи, долговременная служба, прямодушие и честность графа и, наконец, невольно приобретенная опытность в делах очистили ему путь к важному месту, которое он приехал занять. Однажды, вечером, за чайным столиком, он сказал:

— Выжигин! я пришел к тебе с тем, чтобы предложить место правителя моей канцелярии.

— Помилуйте, граф! я вовсе неопытен в делах и могу быть более вредным, нежели полезным. Будучи беден, я искал места из куска хлеба; но теперь я не возьмусь за то, чего не понимаю. Когда б надобно было командовать эскадроном, и я был бы холост, тогда решился бы в одну минуту. Но дела так мне чужды, как китайская грамота.

— Пустое, друг, — возразил граф, — дельцов я найду более, нежели мне нужно. Но мне надобен честный человек, в котором я был бы уверен, что он не обманет меня и не позволит подкупить себя.

— А если этого честного человека будут обманывать? — спросил я.

— Он должен быть также умный и прилежный: тогда скоро приучится к ходу дел.

Я хотел возражать и отказываться, но Петр Петрович убедил меня, сказав, что в общем балансе чиновников необходимо нужны честные и бескорыстные люди, для равновесия с дельцами. Я согласился.

По странному стечению обстоятельств, я занял место брата московского квартального надзирателя, Архипа Архипыча, и поселился

в квартире Пантелеймона Архипыча, в которой он не мог дать пристанища своему бедному брату. Пантелеймон Архипыч отставлен был от службы и отдан под суд, разумеется, *за напраслину*, как он говорил. Но как он имел жену и детей, то не сомневался оправдаться, возбуждая сострадание к семейному человеку. Он нашел сильного покровителя в особе Чувашина.

Пантелеймон Архипыч так распорядился в казенном доме, что двадцать с лишком комнат занимал сам, около тридцати были отданы любимым его чиновникам, а канцелярия помещалась только в четырех малых комнатах. На лошадях, назначенных для рассылок, ездил он сам; сторожа служили ему, а курьеры перевозили вещи из модных магазинов и развозили письма его дочерей и жены по городу и приглашения на балы. Чиновники, не имея места для работы, толпились возле окон и проводили время в чтении газет и в пустых разговорах, и только интересные дела *обрабатывались* по приказанию Пантелеймона Архипыча. Три части чиновников служили только для того, чтоб получать награды по

связям их родных с начальником, а четвертая часть работала за всех, из куска насущного хлеба, и в надежде будущих благ. Дел нерешенных было такое множество, что страшно было заглянуть в шкафы. Разумеется, что все надлежало переменить и устроить по новому порядку. Сперва я думал посоветоваться с кем-нибудь, как взяться за это дело, но наконец решился начать своим умом и стал переделывать все напротив, как было прежде. Я назначил для канцелярии двадцать комнат, для себя взял шесть, а остальные отдал чиновникам, оставив их такое только число, какое необходимо нужно было для исправления канцелярской работы. Всех искателей наград я удалил, посоветовав им искать почестей на поле брани, если они не имеют охоты к перу; но объявил притом, что прежде не выдам аттестата, пока они не кончат нерешенных дел.

В нашей канцелярии был один чиновник, Софрон Софронович Законенко, слывший большим дельцом, которого хотя не любил мой предместник, но держал при себе по нужде. Я призвал его однажды к себе, обласкал и просил растолковать мне ход дел канцеляр-

ских и научить средствам скоро обрабатывать огромные дела, которые кипами привозили в канцелярию. Вот что мне сказал Г. Законенко:

— Только в присутственных местах, где составляются решения по тяжебным делам, с формулою по указу и прочее, секретарь обязан просматривать целое дело для извлечения записки и приготовления решения. Взглянув на огромную кипу, состоящую из нескольких тысяч листов, покажется всякому, будто надобно иметь премудрость Соломонову и силу Самсонову, чтоб выпутаться из этой письменной топи. Но во всем нужна сноровка. Стоит только прочесть первые прошения тяжущихся сторон, по которым началась тяжба; потом первое следствие или решение присутственного места, далее апелляционную жалобу, решение второй инстанции, поверить ссылки на законы — и вы дома. Все прочее лишнее и одна болтовня. По последнему решению вы заключите, что должно оставить во всей силе, что уничтожить, что прибавить, и резолюция ваша готова. В канцеляриях же, которые не имеют права решать, а

только обязаны пересматривать дела и просьбы для представления на заключение начальнику, который, в свою очередь, отсылает их в другое место для решения или пропускает решения к исполнению, в этих канцеляриях совсем другой порядок. Здесь все уменье в том, чтоб искусно *переполоскать* бумагу, то есть, чтоб бумага, перешед чрез несколько столов, вышла из канцелярии в другом виде, но в том же самом существе, как и вошла. На это надобны только сметка и привычка, чтоб рапорт переделать в отношение или сообщение и, включив те же обстоятельства дела, передать в другое место. Для этого не нужно даже беспокоить его сиятельство, который, как вы знать изволите, не очень любит заниматься бумагами. Что же касается до дел, на которых графу должно надписывать свои заключения, то в этом случае надобно поступать весьма осторожно. Его сиятельство человек совестный и не захочет подписывать бумаг, которых не читал, и заключать о деле, которого вовсе не знает: он станет откладывать, дел накопится, а из этого разнесется дурная слава о графе, об вас и о целой канцелярии. Дея-

тельность же и исправность наша измеряется числом нумеров исходящих бумаг. Итак, есть средство успокоить совесть графа и дать быстрый ход делам составлением форм для заключений, которые ни помогут, ни повредят делу, какого бы то ни было рода. Вот, например, некоторые из этих всеобщих решений: *Сделать справку и доложить в свое время; поступить по существующему порядку; препроводить в надлежащее место для пояснения всех обстоятельств и после того доложить; представить высшему начальству на благоусмотрение; дать надлежащий ход; обратить в надлежащее место для заключения по законам и выставления на вид всех обстоятельств дела; потребовать мнения от места, где производилось дело, и препроводить куда следует; принять к сведению и т. п. На частные жалобы отвечать еще легче; например: просить по порядку, буде имеет право; приобщить к делу; препроводить куда следует; ожидать окончания дела; справившись, доложить; испросить мнения местного начальства; подтвердить прежнее заключение*; а лучше всего: *по неимению уважительных*

причин, отказать, отказать, отказать — это и коротко и ясно!

При множестве дел, я невольно должен был прибегнуть к средствам, которым научил меня Софрон Софронович Законенко. Дела летели, нумера сходили тысячами, и я вскоре прослыл самым исправным и деятельным человеком. Правда, что некоторые важнейшие дела я обработывал, то есть давал надежным чиновникам для прочтения и составления краткой выписки с заключением, основанным на существе дела и на законах; а чтоб при выборе дела соблюдать порядок, я списывал нумера на особых билетах и велел жене выбирать, как в лотерее. Какой нумер выдергивался, такое дело поступало в ход, и это придавало мне вид беспристрастия. Между тем другие бумаги докладывались по очереди, с заключениями по методе Софрона Софроновича. Граф Безпечин был чрезвычайно доволен мною и благодарил за то, что я поправил невыгодное об нем мнение. Из ленивого он вдруг прослыл деятельным. Чтоб более утвердить это мнение в публике, он назначил один день приемный в неделе, а в

другие дни никого не принимал по утрам. Швейцар говорил всегда одно и то же: занят, а граф, запершись в кабинете, лежал на софе и читал газеты и новые романы. Вечером он приходил к моей жене пить чай и в это время подписывал бумаги. Он верил мне совершенно, потому что я никогда его не обманывал. Если мы с ним не делали много добра, то по крайней мере не делали зла с умыслу и защищали правых, как могли, когда доискивались правды случайно или по чьему-либо внушению. Петр Петрович помогал нам весьма много, сообщая краткие записки о правых и неправых делах, поступающих к нам на рассмотрение; мы буквально следовали его мнению и никогда не ошибались.

Бог дал мне сына, к увеличению нашего семейного счастья, и граф Безпечин еще более привязался к нашему семейству, беспрестанно нянчил дитя на руках и, посматривая с умилением на Олиньку, сожалел, что он остался холост. Злые языки хотели представить дружбу графа в другом виде, и даже многие, не довольные мною, верили, что граф — любовник моей жены; но те, которые знали

графа ближе, были уверены в несправедливости этих заключений, а я так был спокоен на этот счет, что даже сам смеялся и шутил перед графом и Олинькою.

Петр Петрович, пользуясь властию, делал добро, вызвал всех честных людей, которых он знал прежде, и между прочим доброму Штыкову доставил место губернатора, а купцу Сидору Ермолаевичу — звание коммерции советника. Я последовал примеру Петра Петровича и также извлек из несчастного положения много добрых людей, и в числе других честному квартальному надзирателю, Архипу Архипычу, дал место частного пристава в Петербурге, что составляло единственную цель его желаний.

Все знали, что я один управляю делами и что граф Безпечин имеет ко мне неограниченную доверенность, итак, невзирая на старание наше с женою отклонить от себя знакомства, множество искателей с своими семействами втерлись насильно к нам в дом, чтоб при случае похлопотать о дельце или при представлениях к наградам замолвить словечко за роденьку. Кроме того, появилось

множество родни, о которой я прежде вовсе не слыхал. Родственники жены моей по отцу и матери до четвертого поколения, родственники моего отца, а в том числе и Ничтожины, составили заговор противу моего спокойствия, и напали на меня родственным ополчением — в 358 человек, и, называя меня *любезным дядюшкою*, требовали мест, чинов, орденов и несправедливых решений по делам, в их пользу. К этому числу родственников присоединилась родня моей матушки, трое двоюродных моих братьев, дети дяди моего Алексея Петровича, который по смерти моего деда переписался в купцы в Витебск и нажил порядочное состояние. Детям его казалось стыдно оставаться в купеческом звании, когда двоюродный брат их в силе и значении. Шамбелян Крючкотворский состряпал им какое-то свидетельство о шляхетстве, и они также требовали от меня мест и чинов. Кроме того, все те московские дамы, которые помогали мне и принимали благосклонно в своем доме, высылали под моим адресом целые дюжины своих внуков и племянников, чтоб я открывал им путь к почестям и хлопотал о

камер-юнкерстве. Меня мучили, терзали и заваливали просьбами и объяснениями, дома, в канцелярии, в гостях, в театре и на гульбищах. Даже зимою я должен был выезжать за город, чтоб прогуляться спокойно пешком, по большой дороге, не смея показаться на улицах. Три года провел я в таком мучительном положении; наконец, не имея времени ни заниматься делом, ни наслаждаться семейным счастьем, отправился в отпуск в Москву, на 28 дней, и оттуда подал просьбу об отставке, при убедительных письмах к графу Безпечину и Петру Петровичу, чтоб они сжалились надо мною и избавили меня от несносного для меня ига. Ожидая в Москве решения моей участи, я узнал от одного из моих знакомых, возвратившегося из чужих краев, что бедная Груня кончила свое шумное поприще в гошпитале Св. Лазаря, в Париже. Я искренно оплакал ее кончину. Несчастная! с ее умом и красотою она была бы украшением своего пола, если б в юности позаботились об образовании ее сердца. Здесь же узнал я, что Скотинко сошел с ума, а детки его промотали неправедно нажитое имение и находятся в нищете. Савва

Саввич спился с кругу и сгорел во время пожара, бывшего в питейном доме. Зарезин умер от побоев; другие игроки пропали без вести, а Удавич в это время разделывался с Уголовною палатою. Как кто постелет, так и выспится!

После долгой переписки мне наконец прислали отставку. В это время узнал я от Миловидина, с которым находился всегда в сношениях, что в версте от него, на берегу моря, продается небольшое, но прекрасное имение, в живописном местоположении, с большим садом и виноградником. Я тотчас послал деньги, чтоб купить его на имя моей жены, и немедленно отправился к Миловидину с моим семейством и с матушкою. Миловидин и Петронелла приняли нас, как родных, и я решился навсегда поселиться на южном берегу Тавриды.

Заключение

Вот уже десять лет, как я живу счастливо в кругу моего семейства, в объятиях любви и дружбы. У меня три сына и одна дочь; у Миловидина только один сын. Мы сами занимаемся первоначальным воспитанием детей, услаждаем время приятною беседою, музыкою, чтением; прогуливаемся, обрабатываем наши поля. Веселы, спокойны оттого, что ничего не ищем и делаем столько добра, сколько можем. Матушка моя проводит время с дядею Миловидина, гадает с ним на картах и играет в тентере. Петров нянчит детей и делает им игрушки; мальчикам рассказывает о сражениях и учит их маршировать.

Испытав многое в жизни, быв слугою и господином, подчиненным и начальником, киргизским наездником и русским воином, ленивцем и дельцом, мотом, игроком по слабости, а не по страсти, испытав людей в счастии и несчастии, — я удалился от света, но не погасил в сердце моем любви к человечеству. Я уверился, что люди более слабы, нежели злы, и что на одного дурного человека,

верно, можно найти пятьдесят добрых, которые от того только неприметны в толпе, что один злой человек делает более шуму в свете, нежели сто добрых. Радуюсь, что я русский, ибо невзирая на наши странности и причуды, неразлучные с человечеством, как недуги телесные, нет в мире народа смышленее, добрее, благодарнее нашего. Ни в одном иностранном государстве нельзя так безопасно путешествовать, как в малонаселенной, лесной или степной нашей России; нигде так охотно не помогут несчастному, как в нашем отечестве, которое по справедливости почитается образцом веротерпимости, гостеприимства и спокойствия.

Дядя Миловидина в глубокой старости, едва разбирая буквы в Брюсовом календаре и Зерцале Великого Алберта, предсказывает: что скоро, весьма скоро благодетельное просвещение озарит все концы России и разольет свои дары на все сословия; что русские вельможи и дамы станут говорить по-русски, читать русские книги и смеяться над приверженностью своих отцов к чужеземному; что литература наша возвысится до той степени,

на какой находится английская, французская и немецкая; что молодые люди станут учиться для того, чтоб быть полезными отечеству службою, а не для получения аттестатов к штаб-офицерскому чину; что купцы, просвещаясь более и более, не станут переходить в дворянство, но составят почтенное значащее сословие; что на основании, водворенном просвещением, возникнет правосудие повсюду, от нижней до верхней инстанции, и наступит черный год для всех взяточников и злоупотребителей. Сии-то предсказания заставили меня приняться за перо, вопреки советам Петра Петровича, и описать мои приключения, чтоб сохранить в предании таких героев, каковы Скотинко, Савва Саввич и подобные им, которых существованию не станут со временем верить, как ныне не верят в существование Недоросля Митрофанушки. Если рукопись моя со временем сделается известною, то каждый, прочитав ее внимательно, удостоверится, что все зло в мире происходит от недостатка нравственного образования, а все доброе от истинного просвещения. Критики простят мне недостатки ради благой цели,

удостоверясь, что дурное выставлено мною на вид для того только, чтоб придать более блеска хорошему.

Коментарии

Печатается по тексту: Сочинения Фаддея Булгарина. Спб., 1839, том 1.

Булгарин принялся за сочинение «Выжигина» еще в 1825 году. Первые отрывки из будущего романа появились в журнале Булгарина «Северный архив» в 1825–1827 годах под заголовком «Иван Выжигин, или Русский Жиль Блаз».

Отдельное издание романа «Иван Иванович Выжигин», вышедшее в 1829 году, носило уже другой подзаголовок: «Нравственно-сатирический роман», намекая на иную идеологическую направленность сочинения. Прежний подзаголовок, «Русский Жиль Блаз», предполагающий жанровую и идейно-тематическую связь булгаринского романа с романом Лесажа «Жиль Блаз» и «Российским Жильблазом, или Похождениями князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Нарежного, автор снял, хотя в структуре «Выжигина» остались следы, восходящие к традиции романов Лесажа, Чулкова, Нарежного и других представителей «авантюрной» романистики XVIII–XIX веков.

Нравоописательная традиция, прочно соединившаяся в романе с авантюрным началом, восходит, по-видимому, к очеркам Булгарина в «Северной пчеле».

Примечания

1

Князь Кантемир… — Антиох Дмитриевич Кантемир (1673–1723), просветитель-рационалист, один из основоположников русского классицизма и новой сатирической поэзии. Его обращение к просторечию, народным пословицам и поговоркам во многом определило стиль русской классической поэзии 2-й половины XVIII века.

[^^^]

2

См. часть 1, с. 9. Выписка сия напечатана курсивом и в подлиннике. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания Ф. В. Булгарина.)

[^^^]

3

«Недоросль»... Фонвизина.... — Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) создавал произведения сатирического жанра, опираясь на традиции русской басни и сатиры.

«Ябеда» Капниста.... — Василий Васильевич Капнист (1758–1823), поэт и драматург, близкий к Г. Р. Державину, Н. А. Львову. Комедия «Ябеда», переделанная из сатирического стихотворения «Ябедник», запрещенная с момента создания в 1798 году по 1805 год, высмеивала продажность русского суда.

«Вельможа» Державина... опубликован в 1798 году. Наряду со стихотворением «Властителям и судиям» осуждал общественные пороки, обличал высокопоставленных лиц. В одах Г. Р. Державина (1743–1816) блестяще отразились важнейшие черты, характеризующие царствование Екатерины II: рост русской государственности, героика военных побед, национальный патриотизм и власть произвола, фаворитизм, развращенность вельмож, процветание лести и ханжества.

[^^^]

4

Когда Белоруссия принадлежала Польше... — Кревская уния 1385 года Польши с Великим княжеством Литовским открыла для польских магнатов возможность эксплуатации белорусских и украинских земель, частью входивших в то время в состав Литовского государства. В 1569 году Польша и Литва образовали одно государство — Речь Посполитую. Люблинская Уния способствовала еще более жесткой эксплуатации польскими феодалами белорусских земель, находившихся прежде в составе Великого княжества Литовского.

[^^^]

5

Польская мера. Гарнец имеет четыре кварты; кварта — две полукварты или четыре кватерки, то есть осьмушки.

[^^^]

6

Польские жиды не имеют слов для песен. Они напевают только мелодию, и то — подгулявши в шабаш. Веселый напев называется маиофис.

[^^^]

7

Так жиды называют христиан; это синоним турецкого слова гиаур, и значит: неверный.

[^^^]

8

Это, исковерканная в смысле и в произношении, немецкая фраза: horst du? слышишь ли ты?

[^^^]

9

Так жиды бранят слуг и мужиков.

[^^^]

10

Ребе значит то же, что господин, monsieur.

[^^^]

11

То есть уловили, увернулись.

[^^^]

12

Жареное тесто в гусином жире.

[^^^]

Лапша.

[^^^]

14

Морковь с медом, жиром и пряными кореньями.

[^^^]

15

Вороватин. — Так называемые «говорящие фамилии» в романах Булгарина критиковал Пушкин в статье 1831 года «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (увидевшей свет под псевдонимом Феофилакт Косичкин): «...что может быть нравственнее сочинений г-на Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца у него назван Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч.» (См.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 9. С. 207.)

[^^^]

16

...философами XVIII века... — Имеются в виду так называемые «просветители». Просвещение — прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму. Послужило идеологической подготовкой ряда революций, особенно Великой Французской революции. В ряде стран Западной Европы получает расцвет в XVIII веке, в Англии — со 2-й половины XVII века. Крупнейшие представители: Дж. Локк — в Англии, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, П.-А. Гольбах, К.-А. Гельвеции, Д. Дидро — во Франции, Г.-А. Лессинг, И. Г. Гердер, Ф. Шиллер, И.-В. Гете — в Германии, Т. Джефферсон, Б. Франклин, Т. Пейн — в США. В России идеологами Просвещения выступают Н. И. Новиков, А. И. Радищев.

[^^^]

17

Лафатер (1741–1801) Иоганн Каспар. — Швейцарский писатель. Автор романа «Понтий Пилат, или Малая Библия» (1782–1785), драмы «Абрахам и Исаак» (1776) религиозного характера, трактата по физиогномике «Физиогномические фрагменты...» (1775–1778). Прославился созданием учения о физиогномике — умению распознавать характер человека по чертам его лица.

[^^^]

18

Я выбежал как бешеный из кустов и предстал изумленным любовникам... — Некоторые сцены романа М. Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» ориентированы на булгаринского «Выжигина». Грушницкий «эпиграмматически» обращен к главному герою романа «Иван Иванович Выжигин». (См.: Турбин В. Н. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1978. С. 144.)

[^^^]

19

...у киргизцев. Киргизия. В VI–XII веках входила в Тюркский каганат, в государства тюргешей, калуков, караханидов. В XIII — первой половине XVI века находилась под властью татаро-монголов, ойратов. Во второй половине XV века сложилась киргизская народность.

[^^^]

20

Это одно из средств, которыми лечатся киргизсцы.

[^^^]

21

Птица, похожая на куропатку.

[^^^]

22

Бакса, то же, что сибирский шаман: гадатель и лекарь.

[^^^]

23

Род гудка, или скрипки, без верхней доски. Струны на нем из конских волос. Играют на нем смычком, как на виолончеле. Баксы употребляют этот инструмент при своих гаданиях.

[^^^]

24

Степная трава, употребляемая для произведения испарины.

[^^^]

25

Длинное ружье без замка. Стреляют из него картечью, посредством фитиля.

[^^^]

26

Крепкий напиток из кобыльего молока, приведенного в брожение.

[^^^]

27

Дудка из дерева, или из камыша, около аршина длины.

[^^^]

28

Полярная звезда.

[^^^]

Венера.

[^^^]

30

Плеяды.: эти звезды прячутся зимою, а появление их весною означает появление новой травы.

[^^^]

31

Самый простой и дешевый чай, употребляемый более в Сибири монгольскими поколениями. Он продается в кусках, наподобие кирпича, и в пограничных китайских городах служит вместо монеты. Количеством сих кусков чаю оценивают вещи.

[^^^]

32

Константинополь (Царьград) — столица Византийской империи, основан Константином I в 324–333 годах на месте города Византии. В 1204 году стал столицей Латинской империи. Отвоеван византийцами в 1261 году. В 1453 году взят турками, переименован в Стамбул.

[^^^]

33

Областное выражение, которого нет в словарях.

[^^^]

34

Крупер сидит возле банкира, записывает выигрыш и рассчитывается с понтёрами.

[^^^]

35

Мотиянт — половинщик в игре.

[^^^]

36

Кум, или партнер, называется один из трех сговорившихся в вист или другой коммерческой игре, к обыгранию четвертого. Иногда играют на подмеченные, то есть на «свои» карты.

[^^^]

37

Банкир входит в половину со многими лицами и, сговорившись с одним из своих приятелей, подтасовывает колоду известным образом или дает знать приятелю, которая карта выигрывает, а тот срывает банк.

[^^^]

38

Древний предрассудок между шляхтичами.

[^^^]

39

Старинный польский чин.

[^^^]

40

Erhort das Gras wachsen.

[^^^]